А. Чехов

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/anyexob0000unse_x6l0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двенадцати томах

Под общей редакцией
*В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА*

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1962

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том седьмой

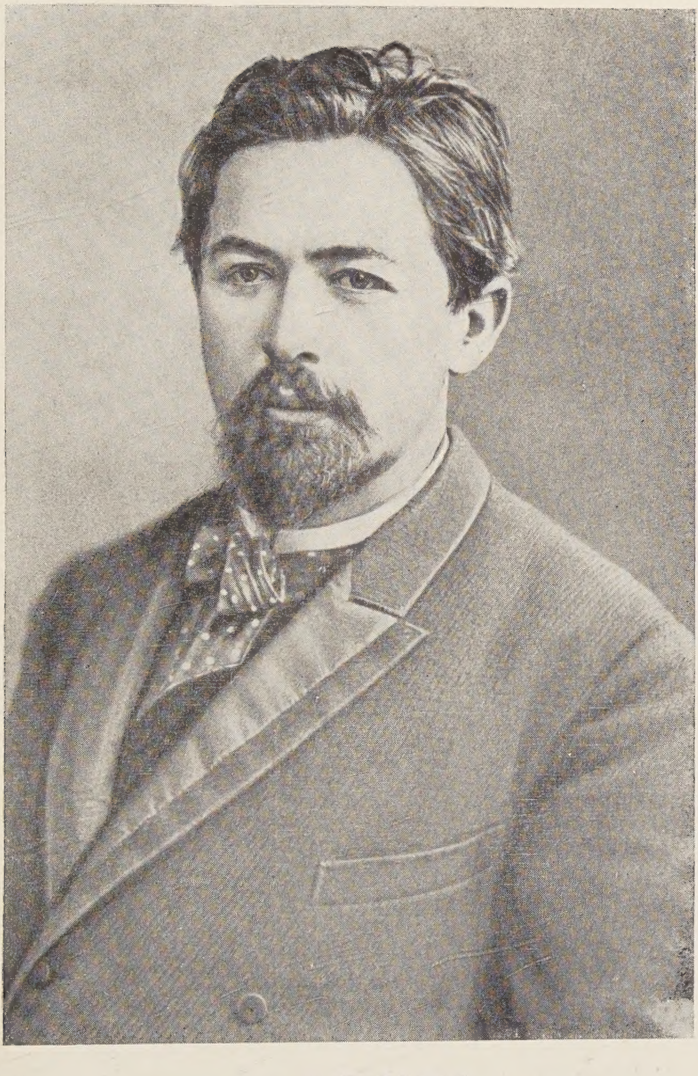
ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

1892—1895

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1962

Примечания
К. Д. Муратовой

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



А. П. ЧЕХОВ.

1894.

ЖЕНА

I

Я получил такое письмо:

«Милостивый государь, Павел Андреевич! Недалеко от вас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, все теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа; все буквально больны. Фельдшерица говорит: придешь в избу и что́ видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель. Фельдшерица и Соболь (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель».

Очевидно, писала сама фельдшерица или этот доктор, имеющий звериную фамилию. Земские врачи и фельдшерицы в продолжение многих лет изо дня в день убеждаются, что они *ничего* не могут сделать, и все-таки получают жалованье с людей, которые питаются одним мерзлым картофелем, и все-таки почему-то считают себя вправе судить, гуманен я или нет.

Обеспокоенный анонимным письмом и тем, что каждое утро какие-то мужики приходили в людскую кухню и становились там на колени, и тем, что ночью из амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломав предварительно стену, и общим тяжелым настроением, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой,— обеспокоенный всем этим, я работал вяло и неуспешно. Я писал «Историю железных дорог»; нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щелкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щелкать и думать; но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохом вставал из-за стола и начинал ходить по большим комнатам своего пустынного деревенского дома. Когда надоедало ходить, я останавливался в кабинете у окна и, глядя через свой широкий двор, через пруд и голый молодой березняк, и через большое поле, покрытое недавно выпавшим, тающим снегом, я видел на горизонте на холме кучу бурых изб, от которых по белому полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о котором писал мне анонимный автор. Если бы не вороны, которые, предвещая дождь или снежную погоду, с криком носились над прудом и полем, и если бы не стук в плотницком сарае, то этот мирок, о котором теперь так много шумят, казался бы похожим на Мертвое озеро,— так все здесь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мешало мне беспокойство; я не знал, что это такое, и хотел думать, что это разочарование. В самом деле, оставил я службу по министерству путей сообщения и приехал сюда в де-

ревню, чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам. Это была моя давнишняя, заветная мечта. А теперь нужно было проститься и с покоем и с литературой, оставить все и заняться одними только мужиками. И это было неизбежно, потому что, кроме меня, как я был убежден, в этом уезде положительно некому было помочь голодающим. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, в громадном большинстве нечестные или же честные, но взбалмошные и несерьезные, как, например, моя жена. Положиться на таких людей было нельзя, оставить мужиков на произвол судьбы было тоже нельзя, значит, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведением мужиков в порядок.

Начал я с того, что решил пожертвовать в пользу голодающих пять тысяч рублей серебром. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоял у окна или ходил по комнатам, меня мучил вопрос, которого раньше не было: как распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлеба, пойти по избам и раздавать — это не под силу одному человеку, не говоря уже о том, что второпях рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чем голодному. Администрации я не верил. Все эти земские начальники и податные инспектора были люди молодые, и к ним относился я недоверчиво, как ко всей современной молодежи, материалистической и не имеющей идеалов. Земская управа, волостные правления и все вообще уездные канцелярии тоже не внушали мне ни малейшего желания обратиться к их помощи. Я знал, что эти учреждения, присосавшиеся к земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мне приходило на мысль пригласить к себе соседей-помещиков и предложить им организовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования и откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения; такая организация, допускавшая частые совещания и широкий свободный контроль, вполне отвечала моим взглядам;

но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и дурной тон, какие неминуемо внесла бы в мой дом эта пестрая уездная компания, и спешил отказаться от своей мысли.

Что касается моих домашних, то ждать от них помощи или поддержки я мог меньше всего. От моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцелела одна только гувернантка m-lle Marie, или, как ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лет семидесяти, одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидела в гостиной и читала книгу. Когда я проходил мимо нее, она, зная причину моего раздумья, всякий раз говорила:

— Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это так будет. Вы по нашей прислуге можете судить.

Моя вторая семья, то есть жена Наталья Гавриловна, жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты. Обедала, спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуясь тем, как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и не натянуты, но холодны, бессодержательны и скучны, как у людей, которые давно уже далеки друг другу, так что даже их жизнь в смежных этажах не походила на близость. Любви страстной, беспокойной, то сладкой, то горькой, как полынь, какую прежде возбуждала во мне Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежних вспышек, громких разговоров, попреков, жалоб и тех взрывов ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены поездкой за границу или к родным, а с моей стороны — посылкой денег понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбие жены. (Моя гордая, самолюбивая жена и ее родня живут на мой счет, и жена при всем своем желании не может отказаться от моих денег — это доставляло мне удовольствие и было единственным утешением в моем горе.) Теперь, когда мы случайно встречались внизу в коридоре или на дворе, я кланялся, она приветливо улыбалась; говорили мы о погоде, о том,

что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы и что кто-то со звонками по плотине проехал, и в это время я читал на ее лице: «Я верна вам и не порочу вашего честного имени, которое вы так любите, вы умны и не беспокоите меня — мы квиты».

Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне и что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, увы! — я только думал так. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался к ее голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояле, я вставал и слушал. Когда ей подавали экипаж или верховую лошадь, я подходил к окну и ждал, когда она выйдет из дому, потом смотрел, как она садилась в коляску или на лошадь и как выезжала со двора. Я чувствовал, что у меня в душе происходит что-то неладное, и боялся, что выражение моего взгляда и лица может выдать меня. Я провожал жену глазами и потом ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно ее лицо, плечи, шубку, шляпку; мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось в ее отсутствие пройтись по ее комнатам, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорее бы решился сам собою, естественным порядком, то есть поскорее бы эта красивая двадцатисемилетняя женщина состарилась и поскорее бы моя голова стала седой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчик Владимир Прохорыч доложил мне, что пестровские мужики стали уже сдирать соломенные крыши, чтобы кормить скот, Марья Герасимовна смотрела на меня со страхом и недоумением.

— Что же я могу сделать? — сказал я ей.— Один в поле не воин, а я еще никогда не испытывал такого одиночества, как теперь. Я бы дорого дал, чтобы найти во всем уезде хоть одного человека, на которого я мог бы положиться.

— А вы пригласите Ивана Иваныча,— сказала Марья Герасимовна.

— В самом деле! — вспомнил я и обрадовался.— Это идея! C'est raison [1], — запел я, идя к себе в кабинет, чтобы написать письмо Ивану Иванычу.— C'est raison, c'est raison...

II

Из всей массы знакомых, которые когда-то, лет двадцать пять — тридцать пять назад, пили в этом доме, ели, приезжали ряжеными, влюблялись, женились, надоедали разговорами о своих великолепных сворах и лошадях, остался в живых только Иван Иваныч Брагин. Когда-то он был очень деятелен, болтлив, криклив и влюбчив и славился своим крайним направлением и каким-то особенным выражением лица, которое очаровывало не только женщин, но и мужчин; теперь же он совсем постарел, заплыл жиром и доживал свой век без направления и выражения. Приехал он на другой день по получении от меня письма, вечером, когда в столовой только что подали самовар и маленькая Марья Герасимовна резала лимон.

— Очень рад вас видеть, мой друг,— сказал я весело, встречая его.— А вы все полнеете!

— Это я не полнею, а распух,— ответил он.— Меня пчелы покусали.

С фамильярностью человека, который сам смеется над своею толщиною, он взял меня обеими руками за талию и положил мне на грудь свою мягкую большую голову с волосами, зачесанными на лоб по-хохлацки, и залился тонким, старческим смехом.

— А вы все молодеете! — выговорил он сквозь смех.— Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали.— Он, сопя и задыхаясь, обнял меня и поцеловал в щеку.— Мне бы дали...— повторил он.— Да вам, родной мой, есть сорок?

— Ого, уже сорок шесть! — засмеялся я.

От Ивана Иваныча пахло свечным салом и кухонным дымом, и это шло к нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тело было стянуто в длинный сюртук, похожий на кучерской кафтан, с крючками и

---

[1] Это верно *(франц.)*.

с петлями вместо пуговиц и с высокою талией, и было бы странно, если бы от него пахло, например, одеколоном. В двойном, давно не бритом, сизом, напоминавшем репейник, подбородке, в выпученных глазах, в одышке и во всей неуклюжей, неряшливой фигуре, голосе, смехе и в речах трудно было узнать того стройного интересного краснобая, к которому когда-то уездные мужья ревновали своих жен.

— Вы мне очень нужны, мой друг,— сказал я, когда мы уже сидели в столовой и пили чай.— Хочется мне организовать какую-нибудь помощь для голодающих, и я не знаю, как за это приняться. Так вот, быть может, вы будете любезны, посоветуете что-нибудь.

— Да, да, да...— сказал Иван Иваныч, вздыхая.— Так, так, так...

— Я бы вас не беспокоил, но, право, кроме вас, милейший, тут положительно не к кому обратиться. Вы знаете, какие тут люди.

— Так, так, так... Да...

Я подумал: предстояло совещание серьезное и деловое, в котором мог принимать участие всякий, независимо от места и личных отношений, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

— Tres faciunt collegium! [1] — сказал я весело.— Что, если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? Как вы думаете? Феня,— обратился я к горничной,— попросите Наталью Гавриловну пожаловать к нам наверх, если можно, сию минуту. Скажите: очень важное дело.

Немного погодя пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстречу и сказал:

— Простите, Natalie, что мы беспокоим вас. Мы толкуем здесь об одном очень важном деле, и нам пришла счастливая мысль воспользоваться вашим добрым советом, в котором вы нам не откажете. Садитесь, прошу вас.

Иван Иваныч поцеловал у Натальи Гавриловны руку, а она его в голову, потом, когда все сели за стол, он, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся к ней

[1] Трое составляют совет! *(лат.)*

и опять поцеловал руку. Одета она была в черное и старательно причесана, и пахло от нее свежими духами: очевидно, собралась в гости или ждала к себе кого-нибудь. Входя в столовую, она просто и дружески протянула мне руку и улыбалась мне так же приветливо, как и Ивану Иванычу,— это понравилось мне; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и резко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и эта неровность в речах и движениях раздражала меня и напоминала мне ее родину — Одессу, где общество мужчин и женщин когда-то утомляло меня своим дурным тоном.

— Я хочу сделать что-нибудь для голодающих,— начал я и, помолчав немного, продолжал: — Деньги, разумеется, великое дело, но ограничиться одним только денежным пожертвованием и на этом успокоиться значило бы откупиться от главнейших забот. Помощь должна заключаться в деньгах, но главным образом в правильной и серьезной организации. Давайте же подумаем, господа, и сделаем что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрела на меня и пожала плечами, как бы желая сказать: «Что же я знаю?»

— Да, да, голод...— забормотал Иван Иваныч.— Действительно... Да...

— Положение серьезное,— сказал я,— и помощь нужна скорейшая. Полагаю, пунктом первым тех правил, которые нам предстоит выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомер, быстрота и натиск.

— Да, быстрота...— проговорил Иван Иваныч сонно и вяло, как будто засыпая.— Только ничего не поделаешь. Земля не уродила, так что уж тут... никаким глазомером и натиском ее не проймешь... Стихия... Против бога и судьбы не пойдешь...

— Да, но ведь человеку дана голова, чтобы бороться со стихиями.

— А? Да... Это так, так... Да.

Иван Иваныч чихнул в платок, ожил и, как будто только что проснулся, оглядел меня и жену.

— У меня тоже ничего не уродило,— засмеялся он

тонким голосом и хитро подмигнул, как будто это в самом деле было очень смешно.— Денег нет, хлеба нет, а работников полон двор, как у графа Шереметьева. Хочу по шеям разгонять, да жалко как будто.

Наталья Гавриловна засмеялась и стала расспрашивать Ивана Иваныча об его домашних делах. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства. Наши отношения были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданным и смешным. Жена говорила с Иваном Иванычем и смеялась, нисколько не смущаясь тем, что она у меня и что я не смеюсь.

— Итак, господа, что же мы сделаем? — спросил я, выждав паузу.— Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорее, объявим подписку. Мы, Natalie, напишем нашим столичным и одесским знакомым и привлечем их к пожертвованиям. Когда же у нас соберется малая толика, мы займемся покупкой хлеба и корма для скота, а вы, Иван Иваныч, будете добры, займетесь распределением пособий. Во всем полагаясь на присущие вам такт и распорядительность, мы с своей стороны позволим себе только выразить желание, чтобы вы, прежде чем выдавать пособие, подробно знакомились на месте со всеми обстоятельствами дела, а также, что очень важно, имели бы наблюдение, чтобы хлеб был выдаваем только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницам, не лентяям и не кулакам.

— Да, да, да...— забормотал Иван Иваныч.— Так, так, так...

«Ну, с этой слюнявою развалиной каши не сваришь»,— подумал я и почувствовал раздражение.

— Надоели мне эти голодающие, ну их! И всё обижаются и всё обижаются,— продолжал Иван Иваныч, обсасывая лимонную корку.— Голодные обижаются на сытых. И те, у кого есть хлеб, обижаются на голодных. Да... С голоду человек шалеет, дуреет, становится дикий. Голод не картошка. Голодный и грубости говорит, и ворует, и, может, еще что похуже... Понимать надо.

Иван Иваныч поперхнулся чаем, закашлялся и весь затрясся от скрипучего, удушливого смеха.

— Было дело под По... Полтавой! — выговорил он, отмахиваясь обеими руками от смеха и кашля, которые мешали ему говорить.— Было дело под Полтавой! Когда года через три после воли был тут в двух уездах голод, приезжает ко мне покойничек Федор Федорыч и зовет к себе. Поедем да поедем,— пристал, как с ножом к горлу. Отчего ж? Поедем, говорю. Ну, взяли и поехали. Дело было к вечеру, снежок шел. Подъезжаем уже ночью к его усадьбе и вдруг из лесу — бац! и в другой раз: бац! Ах ты, шут тебя... Выскочил я из саней, гляжу — в потемках на меня человек бежит и по колена в снегу грузнет; я его обхватил рукой за плечи, вот этак, и выбил из рук ружьишко, потом другой подвернулся, я его по затылку урезал, так что он крякнул и в снег носом чкнулся,— здоровый я тогда был, рука тяжелая; я с двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьем верхом сидит. Задержали мы трех молодчиков, ну, скрутили им назад руки, чтоб какого зла нам и себе не сделали, и привели дураков в кухню. И зло на них берет и глядеть стыдно: мужики-то знакомые и народ хороший, жалко. Совсем одурели с перепугу. Один плачет и прощения просит, другой зверем глядит и ругается, третий стал на коленки и богу молится. Я и говорю Феде: не обижайся, отпусти ты их, подлецов! Он накормил их, дал по пуду муки и отпустил: ступайте к шуту! Так вот как... Царство небесное, вечный покой! Понимал и не обижался, а были, которые обижались, и сколько народу перепортили! Да... Из-за одного клочковского кабака одиннадцать человек в арестантские роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... В четверг у меня ночевал следователь Анисьин, так вот он рассказывал про какого-то помещика... Да... Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую бух прокурору, третью исправнику, четвертую следователю... Известно, кляузников боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасия. Две деревни обыскали.

— Позвольте, Иван Иваныч,— сказал я.— Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфиро-

вал губернатору. Я и в Петербург телеграфировал. Но это вовсе не из любви к кляузничеству, как вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дело я прежде всего смотрю с принципиальной стороны. Крадет ли сытый, или голодный — для закона безразлично.

— Да, да...— забормотал Иван Иваныч, смутившись.— Конечно... Так, да...

Наталья Гавриловна покраснела.

— Есть люди...— сказала она и остановилась; она сделала над собой усилие, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрела мне в глаза с ненавистью, которая мне была так знакома.— Есть люди,— сказала она,— для которых голод и человеческое горе существуют только для того, чтобы можно было срывать на них свой дурной, ничтожный характер.

Я смутился и пожал плечами.

— Я хочу сказать вообще,— продолжала она,— есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякого чувства сострадания, но которые не проходят мимо человеческого горя и вмешиваются из страха, что без них могут обойтись. Для их тщеславия нет ничего святого.

— Есть люди,— сказал я мягко,— которые обладают ангельским характером, но выражают свои великолепные мысли в такой форме, что бывает трудно отличить ангела от особы, торгующей в Одессе на базаре.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядела на меня так, как будто ей стоило больших усилий, чтобы молчать. Ее внезапная вспышка и затем неуместное красноречие по поводу моего желания помочь голодающим были по меньшей мере неуместны; когда я приглашал ее наверх, я ожидал совсем иного отношения к себе и к своим намерениям. Не могу сказать определенно, чего я ожидал, но ожидание приятно волновало меня. Теперь же я видел, что продолжать говорить о голодающих было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

— Да...— забормотал Иван Иваныч некстати.— У купца Бурова тысяч четыреста есть, а может, и

больше. Я ему и говорю: «Отвали-ка, тезка, голодающим тысяч сто или двести. Все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь». Обиделся. А помирать-то ведь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчание.

— Итак, значит, остается одно: мириться с одиночеством,— вздохнул я.— Один в поле не воин. Ну, что ж! Попробую и один воевать. Авось война с голодом будет более успешна, чем война с равнодушием.

— Меня внизу ждут,— сказала Наталья Гавриловна. Она встала из-за стола и обратилась к Ивану Иванычу: — Так вы придете ко мне вниз на минуточку? Я не прощаюсь с вами.

И ушла.

Иван Иваныч пил уже седьмой стакан, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Он сонно и вяло бормотал о чем-то, а я не слушал и ждал, когда он уйдет. Наконец, с таким выражением, как будто он приехал ко мне только затем, чтобы напиться чаю, он поднялся и стал прощаться. Провожая его, я сказал:

— Итак, вы не дали мне никакого совета.

— А? Я человек сырой, отупел,— ответил он.— Какие мои советы? И вы напрасно беспокоитесь... Не знаю, право, отчего вы беспокоитесь? Не беспокойтесь, голубчик! Ей-богу, ничего нет...— зашептал он ласково и искренно, успокаивая меня, как ребенка.— Ей-богу, ничего!..

— Как же ничего? Мужики сдирают с изб крыши, и уже, говорят, где-то тиф.

— Ну, так что же? В будущем году уродит, будут новые крыши, а если помрем от тифа, то после нас другие люди жить будут. И все равно помирать надо, не теперь, так после. Не беспокойтесь, красавец!

— Я не могу не беспокоиться,— сказал я раздраженно.

Мы стояли в слабо освещенной передней. Иван Иваныч вдруг взял меня за локоть и, собираясь сказать что-то, по-видимому, очень важное, с полминуты молча смотрел на меня.

— Павел Андреич! — сказал он тихо, и на его жирном застывшем лице и в темных глазах вдруг вспых-

нуло то особенное выражение, которым он когда-то славился, в самом деле очаровательное.— Павел Андреич, скажу я вам по-дружески: перемените ваш характер! Тяжело с вами! Голубчик, тяжело!

Он пристально посмотрел мне в лицо; прекрасное выражение потухло, взгляд потускнел, и он забормотал вяло и сопя:

— Да, да... Извините старика... Чепухенция... Да...

Тяжело спускаясь вниз по лестнице, растопырив руки для равновесия и показывая мне свою жирную громадную спину и красный затылок, он давал неприятное впечатление какого-то краба.

— Ехали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство,— бормотал он.— В Петербург или за границу... Зачем вам тут жить и золотое время терять? Человек вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эх, будь я помоложе, улепетнул бы, как заяц, и только бы в ушах засвистело!

III

Вспышка жены напомнила мне нашу супружескую жизнь. Прежде обыкновенно после всякой вспышки нас непреодолимо тянуло друг к другу, мы сходились и пускали в ход весь динамит, какой с течением времени скоплялся в наших душах. И теперь, после ухода Ивана Иваныча, меня сильно потянуло к жене. Мне хотелось сойти вниз и сказать ей, что ее поведение за чаем оскорбило меня, что она жестока, мелочна и со своим мещанским умом никогда не возвышалась до понимания того, что *я* говорю и что *я* делаю. Я долго ходил по комнатам, придумывая, что скажу ей, и угадывая то, что она мне ответит.

То беспокойство, которое томило меня в последнее время, в этот вечер, когда ушел Иван Иваныч, я чувствовал в какой-то особенной раздражающей форме. Я не мог ни сидеть, ни стоять, а ходил и ходил, причем выбирал только освещенные комнаты и держался ближе той, в которой сидела Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывал однажды на Немецком море во время бури, когда все боялись, что пароход, не имевший груза и балласта,

опрокинется. И в этот вечер я понял, что мое беспокойство было не разочарование, как я думал раньше, а что-то другое, но что именно, я не понимал, и это меня еще больше раздражало.

«Пойду к ней,— решил я.— А предлог можно выдумать. Скажу, что мне понадобился Иван Иваныч, вот и все».

Я спустился вниз и по коврам, не торопясь, прошел переднюю и залу. Иван Иваныч сидел в гостиной на диване, опять пил чай и бормотал. Жена стояла против него, держась за спинку кресла. На лице у нее было то тихое, сладкое и послушное выражение, с каким слушают юродивых и блаженненьких, когда в ничтожных словах и в бормотанье предполагают особое, скрытое значение. В выражении и позе жены, показалось мне, было что-то психопатическое или монашеское, и ее комнаты со старинною мебелью, со спящими птицами в клетках и с запахом герани, невысокие, полутемные, очень теплые, напоминали мне покои игуменьи или какой-нибудь богомольной старухи генеральши.

Я вошел в гостиную. Жена не выразила ни удивления, ни смущения и посмотрела на меня сурово и спокойно, как будто знала, что я приду.

— Виноват,— сказал я мягко.— Очень рад, Иван Иваныч, что вы еще не уехали. Забыл я у вас наверху спросить: не знаете ли, как имя и отчество председателя нашей земской управы?

— Андрей Станиславович. Да...

— Merci,— сказал я, достал из кармана книжку и записал.

Наступило молчание, в продолжение которого жена и Иван Иваныч, вероятно, ждали, когда я уйду; жена не верила, что мне нужен председатель земской управы,— это я видел по ее глазам.

— Так я поеду, красавица,— забормотал Иван Иваныч, когда я прошелся по гостиной раз-другой и потом сел около камина.

— Нет,— быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки.— Еще четверть часа... Прошу вас.

Очевидно, ей не хотелось оставаться со мной с глазу на глаз, без свидетелей.

«Что ж, и я подожду четверть часа»,— подумал я.

— А, идет снег! — сказал я, вставая и глядя в окно.— Превосходный снег! Иван Иваныч,— продолжал я, прохаживаясь по гостиной,— я очень жалею, что я не охотник. Воображаю, какое удовольствие по такому снегу гоняться за зайцами и волками!

Жена, стоя на одном месте и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, следила за моими движениями; у нее было такое выражение, как будто я прятал в кармане острый нож или револьвер.

— Иван Иваныч, возьмите меня как-нибудь на охоту,— продолжал я мягко.— Я буду вам очень, очень благодарен.

В это время в гостиную вошел гость. Это был незнакомый мне господин, лет сорока, высокий, плотный, плешивый, с большою русою бородой и с маленькими глазами. По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Соболем.

— Очень, очень рад познакомиться! — сказал доктор громко, тенором, крепко пожимая мне руку и наивно улыбаясь.— Очень рад!

Он сел за стол, взял стакан чаю и сказал громко:

— А нет ли у вас случаем рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля,— обратился он к горничной,— поищите в шкапчике, а то я озяб.

Я опять сел у камина, глядел, слушал и изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь слово. Жена приветливо улыбалась гостям и зорко следила за мною, как за зверем; она тяготилась моим присутствием, а это возбуждало во мне ревность, досаду и упрямое желание причинить ей боль. Жена, думал я, эти уютные комнаты, местечко около камина — мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выживший из ума Иван Иваныч или Соболь имеют на них больше прав, чем я. Теперь я вижу жену не в окно, а вблизи себя, в обычной домашней обстановке, в той самой, которой недостает мне теперь в мои пожилые годы, и, несмотря на ее ненависть ко мне, я скучаю по ней, как когда-то

в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде,— и поэтому мне хочется подойти к ней, покрепче наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться.

— Мосье Енот,— обратился я к доктору,— сколько у нас в уезде больниц?

— Соболь...— поправила жена.

— Две-с,— ответил Соболь.

— А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой больницы?

— Павел Андреич, мне нужно поговорить с вами,— сказала мне жена.

Она извинилась пред гостями и вышла в соседнюю комнату. Я встал и пошел за ней.

— Вы сию же минуту уйдете к себе наверх,— сказала она.

— Вы дурно воспитаны,— сказал я.

— Вы сию же минуту уйдете к себе наверх,— резко повторила она и с ненавистью посмотрела мне в лицо.

Она стояла так близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ее лица.

— Но что такое? — сказал я.— В чем я так вдруг провинился?

Подбородок ее задрожал, она, торопясь, вытерла глаза, мельком взглянула на себя в зеркало и прошептала:

— Начинается опять старая история. Вы, конечно, не уйдете. Ну, как хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.

Она с решительным лицом, а я, пожимая плечами и стараясь насмешливо улыбаться, вернулись в гостиную. Здесь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человек в очках. Не здороваясь с новыми и не прощаясь со старыми, я пошел к себе.

После того, что произошло у меня за чаем и потом внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», о котором мы стали уже забывать в эти последние два года, в силу каких-то ничтожных, бессмысленных причин возобновлялось опять, и что ни я,

ни жена не могли уже остановиться, и что завтра или послезавтра вслед за взрывом ненависти, как я мог судить по опыту прошлых лет, должно будет произойти что-нибудь отвратительное, что перевернет весь порядок нашей жизни. Значит, в эти два года, думал я, начиная ходить по своим комнатам, мы не стали умнее, холоднее и покойнее. Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы, заграница, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с каким-нибудь франтом, итальянцем или русским, надругается надо мной, опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через пять лет старость, седые волосы... Я ходил и воображал то, чего не может быть, как она, красивая, пополневшая, обнимается с мужчиною, которого я не знаю... Уже уверенный, что это непременно произойдет, отчего,— спрашивал я себя в отчаянии,— отчего в одну из прошлых давнишних ссор я не дал ей развода или отчего она в ту пору не ушла от меня совсем, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживал бы свой век покойно, работая, ни о чем не думая...

Во двор въехала карета с двумя фонарями, потом широкие сани тройкой. У жены, очевидно, был вечер.

До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышал, но в полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значит, ужин. Потом опять задвигали стульями, и мне из-под пола послышался шум; кричали, кажется, «ура». Марья Герасимовна уже спала, и во всем верхнем этаже был только я один; в гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, а в кабинете неприятно подмигивало отражение моей лампы в окне. И с завистливым, ревнивым чувством к тому, что происходило внизу, я прислушивался и думал: «Хозяин тут *я;* если захочу, то в одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию». Но я знал, что это вздор, никого разогнать нельзя и слово «хозяин» ничего не значит. Можно сколько угодно считать себя хозяином, женатым, богатым, камер-юнкером, и в то же время не знать, что это значит.

После ужина кто-то внизу запел тенором.

«Ведь ничего же не случилось особенного! — убеждал я себя.— Что же я так волнуюсь? Завтра не пойду к ней вниз, вот и все — и конец нашей ссоре».

В четверть второго я пошел спать.

— Внизу уже разъехались гости? — спросил я у Алексея, который раздевал меня.

— Точно так, разъехались.

— А зачем кричали «ура»?

— Алексей Дмитрич Махонов пожертвовали на голодающих тысячу пудов муки и тысячу рублей денег. И старая барыня, не знаю как их звать, обещали устроить у себя в имении столовую на полтораста человек. Слава богу-с... От Натальи Гавриловны вышло такое решение: всем господам собираться каждую пятницу.

— Собираться здесь внизу?

— Точно так. Перед ужином бумагу читали: с августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысяч восемь деньгами, кроме хлеба. Слава богу-с... Я так понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочут за спасение души, то много соберут. Народ тут есть богатый.

Отпустив Алексея, я потушил огонь и укрылся с головой.

«В самом деле, что я так беспокоюсь? — думал я.— Какая сила тянет меня к голодающим, как бабочку на огонь? Ведь я же их не знаю, не понимаю, никогда не видал и не люблю. Откуда же это беспокойство?»

Я вдруг перекрестился под одеялом.

«Но какова? — говорил я себе, думая о жене.— Тайно от меня в этом доме целый комитет. Почему тайно? Почему заговор? Что я им сделал?»

Иван Иваныч прав: мне нужно уехать!

На другой день я проснулся с твердым решением — поскорее уехать. Подробности вчерашнего дня — разговор за чаем, жена, Соболь, ужин, мои страхи — томили меня, и я рад был, что скоро избавлюсь от обстановки, которая напоминала мне обо всем этом. Когда я пил кофе, управляющий Владимир Прохорыч длинно

докладывал мне о разных делах. Самое приятное он приберег к концу.

— Воры, что рожь у нас украли, нашлись,— доложил он улыбаясь.— Вчера следователь арестовал в Пестрове трех мужиков.

— Убирайтесь вон! — крикнул я ему, страшно рассердившись, и ни с того ни с сего схватил корзину с бисквитами и бросил ее на пол.

IV

После завтрака я потирал руки и думал: надо пойти к жене и объявить ей о своем отъезде. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвечал я себе, но почему же и не объявить, тем более что это не доставит ей ничего, кроме удовольствия? К тому же уехать после вчерашней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсем тактично: она может подумать, что я испугался ее, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня из моего дома, будет тяготить ее. Не мешает также объявить ей, что я жертвую пять тысяч, и дать ей несколько советов насчет организации и предостеречь, что ее неопытность в таком сложном, ответственном деле может повести к самым плачевным результатам. Одним словом, меня тянуло к жене и, когда я придумывал разные предлоги, чтобы пойти к ней, во мне уже сидела крепкая уверенность, что я это непременно сделаю.

Когда я пошел к ней, было светло и еще не зажигали ламп. Она сидела в своей рабочей комнате, проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись к столу, что-то быстро писала. Увидев меня, она вздрогнула, вышла из-за стола и остановилась в такой позе, как будто загораживала от меня свои бумаги.

— Виноват, я на одну минуту,— сказал я и, не знаю отчего, смутился.— Я узнал случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающим.

— Да, организую. Но это мое дело,— ответила она.

— Да, это ваше дело,— сказал я мягко.— Я рад ему, потому что оно вполне отвечает моим намерениям. Я прошу позволения участвовать в нем.

— Простите, я не могу вам этого позволить,— ответила она и посмотрела в сторону.

— Почему же, Natalie? — спросил я тихо.— Почему же? Я тоже сыт и тоже хочу помочь голодающим.

— Я не знаю, при чем вы тут? — спросила она, презрительно усмехнувшись и пожав одним плечом.— Вас никто не просит.

— И вас никто не просит, однако же вы в *моем* доме устроили целый комитет! — сказал я.

— Меня просят, а вас, поверьте, никто и никогда не попросит. Идите помогайте там, где вас не знают.

— Бога ради, не говорите со мною таким тоном.

Я старался быть кротким и всеми силами души умолял себя не терять хладнокровия. В первые минуты мне было хорошо около жены. На меня веяло чем-то мягким, домовитым, молодым, женственным, в высшей степени изящным, именно тем, чего так не хватало в моем этаже и вообще в моей жизни. На жене был капот из розовой фланели — это сильно молодило ее и придавало мягкость ее быстрым, иногда резким движениям. Ее хорошие темные волосы, один вид которых когда-то возбуждал во мне страсть, теперь оттого, что она долго сидела нагнувшись, выбились из прически и имели беспорядочный вид, но от этого казались мне еще пышнее и роскошнее. Впрочем, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть может, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, с которой я когда-то жил и с которою жил бы до сего дня, если бы не ее несчастный характер; это был единственный на всем земном шаре человек, которого я любил. Теперь, перед отъездом, когда я знал, что не буду видеть ее даже в окно, она, даже суровая и холодная, отвечающая мне с гордою, презрительною усмешкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себе, что уехать от нее мне страшно и невозможно.

— Павел Андреич,— сказала она после некоторого молчания,— два года мы не мешали друг другу и жили покойно. Зачем это вдруг вам так понадобилось возвращаться к прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унизить,— продолжала она, возвы-

шая голос, и лицо ее покраснело, и глаза вспыхнули ненавистью,— но воздержитесь, не делайте этого, Павел Андреич! Завтра я подам прошение, мне дадут паспорт, и я уйду, уйду, уйду! Уйду в монастырь, во вдовий дом, в богадельню...

— В сумасшедший дом! — крикнул я, не выдержав.

— Даже в сумасшедший дом! Лучше! лучше! — продолжала она кричать, блестя глазами.— Сегодня, когда я была в Пестрове, я завидовала голодным и больным бабам, потому что они не живут с таким человеком, как вы. Они честны и свободны, а я, по вашей милости, тунеядица, погибаю в праздности, ем ваш хлеб, трачу ваши деньги и плачу вам своею свободой и какою-то верностью, которая никому не нужна. За то, что вы не даете мне паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, которого у вас нет.

Надо было молчать. Стиснув зубы, я быстро вышел в гостиную, но тотчас же вернулся и сказал:

— Убедительно прошу, чтобы этих сборищ, заговоров и конспиративных квартир у меня в доме больше не было! В свой дом я пускаю только тех, с кем я знаком, а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропией, пусть ищет себе другое место. Я не позволю, чтобы в моем доме по ночам кричали «ура» от радости, что могут эксплуатировать такую психопатку, как вы!

Жена, ломая руки и с протяжным стоном, как будто у нее болели зубы, бледная, быстро прошлась из угла в угол. Я махнул рукой и вышел в гостиную. Меня душило бешенство, и в то же время я дрожал от страха, что не выдержу и сделаю или скажу что-нибудь такое, в чем буду раскаиваться всю мою жизнь. И я крепко сжимал себе руки, думая, что этим сдерживаю себя.

Выпив воды, немного успокоившись, я вернулся к жене. Она стояла в прежней позе, как бы загораживая от меня стол с бумагами. По ее холодному, бледному лицу медленно текли слезы. Я помолчал и сказал ей с горечью, но уже без гнева:

— Как вы меня не понимаете! Как вы ко мне несправедливы! Клянусь честью, я шел к вам с чистыми

побуждениями, с единственным желанием — сделать добро!

— Павел Андреич,— сказала она, сложив на груди руки, и ее лицо приняло страдальческое, умоляющее выражение, с каким испуганные, плачущие дети просят, чтобы их не наказывали.— Я отлично знаю, вы мне откажете, но я все-таки прошу. Принудьте себя, сделайте хоть раз в жизни доброе дело. Я прошу вас, уезжайте отсюда! Это единственное, что вы можете сделать для голодающих. Уезжайте, и я прощу вам все, все!

— Напрасно вы меня оскорбляете, Natalie,— вздохнул я, чувствуя вдруг особенный прилив смирения.— Я уже решил уехать, но я не уеду, прежде чем не сделаю чего-нибудь для голодающих. Это — мой долг.

— Ах! — сказала она тихо и нетерпеливо поморщилась.— Вы можете сделать отличную железную дорогу или мост, но для голодающих вы ничего не можете сделать. Поймите вы!

— Да? Вы вчера попрекнули меня в равнодушии и в том, что я лишен чувства сострадания. Как вы меня хорошо знаете! — усмехнулся я.— Вы веруете в бога, так вот вам бог свидетель, что я беспокоюсь день и ночь...

— Я вижу, что вы беспокоитесь, но голод и сострадание тут ни при чем. Вы беспокоитесь оттого, что голодающие обходятся без вас и что земство и вообще все помогающие не нуждаются в вашем руководительстве.

Я помолчал, чтобы подавить в себе раздражение, и сказал:

— Я пришел, чтобы поговорить с вами о деле. Садитесь. Садитесь, прошу вас.

Она не садилась.

— Садитесь, прошу вас! — повторил я и указал ей на стул.

Она села. Я тоже сел, подумал и сказал:

— Прошу вас отнестись серьезно к тому, что я говорю. Слушайте... Вы, побуждаемая любовью к ближнему, взяли на себя организацию помощи голодаю-

шим. Против этого, конечно, я ничего не имею, вполне вам сочувствую и готов оказывать вам всякое содействие, каковы бы отношения наши ни были. Но при всем уважении моем к вашему уму и сердцу.. и сердцу,— повторил я,— я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и ответственное дело, как организация помощи, находилось в одних только ваших руках. Вы женщина, вы неопытны, незнакомы с жизнью, слишком доверчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которых совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названных условиях ваша деятельность неминуемо повлечет за собою два печальных последствия. Во-первых, наш уезд останется совершенно без помощи, и, во-вторых, за свои ошибки и за ошибки ваших помощников вам придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своею репутацией. Растраты и упущения, допустим, я покрою, но кто вам возвратит ваше честное имя? Когда вследствие плохого контроля и упущений разнесется слух, что вы, а стало быть и я, нажили на этом деле двести тысяч, то разве ваши помощники придут к вам на помощь?

Она молчала.

— Не из самолюбия, как вы говорите,— продолжал я,— а просто из расчета, чтобы голодающие не остались без помощи, а вы без честного имени, я считаю своим нравственным долгом вмешаться в ваши дела.

— Говорите покороче,— сказала жена.

— Вы будете так добры,— продолжал я,— укажете мне, сколько у вас поступило до сегодня на приход и сколько вы уже потратили. Затем о каждом новом поступлении деньгами или натурой, о каждом новом расходе вы будете ежедневно извещать меня. Вы, Natalie, дадите мне также список ваших помощников. Быть может, они вполне порядочные люди, я не сомневаюсь в этом, но все-таки необходимо навести справки.

Она молчала. Я встал и прошелся по комнате.

— Давайте же займемся,— сказал я и сел за ее стол.

— Вы это серьезно? — спросила она, глядя на меня с недоумением и испугом.

— Natalie, будьте рассудительны! — сказал я умоляюще, видя по ее лицу, что она хочет протестовать.— Прошу вас, доверьтесь вполне моему опыту и порядочности!

— Я все-таки не понимаю, что вам нужно!

— Покажите мне, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

— У меня нет тайн. Всякий может видеть. Смотрите.

На столе лежало штук пять ученических тетрадок, несколько листов исписанной почтовой бумаги, карта уезда и множество клочков бумаги всякого формата. Наступали сумерки. Я зажег свечу.

— Извините, я пока еще ничего не вижу,— сказал я, перелистывая тетради.— Где у вас ведомость о поступлении пожертвований деньгами?

— Это видно из подписных листов.

— Да-с, но ведь и ведомость же нужна! — сказал я, улыбаясь ее наивности.— Где у вас письма, при которых вы получали пожертвования деньгами и натурой? Pardon, маленькое практическое указание, Natalie: эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его в особую ведомость. Так же вы поступайте и со своими письмами. Впрочем, все это я буду делать сам.

— Делайте, делайте...— сказала она.

Я был очень доволен собой. Увлекшись живым, интересным делом, маленьким столом, наивными тетрадками и прелестью, какую обещала мне эта работа в обществе жены, я боялся, что жена вдруг помешает мне и все расстроит какою-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и делал над собою усилия, чтобы не придавать никакого значения тому, что у нее трясутся губы и что она пугливо и растерянно, как пойманный зверек, смотрит по сторонам.

— Вот что, Natalie,— сказал я, не глядя на нее.— Позвольте мне взять все эти бумаги и тетрадки к себе наверх. Я там посмотрю, ознакомлюсь и завтра

скажу вам свое мнение. Нет ли у вас еще каких бумаг? — спросил я, складывая тетради и листки в пачки.

— Берите, всё берите! — сказала жена, помогая мне складывать бумаги в пачки, и крупные слезы текли у нее по лицу.— Берите всё! Это все, что оставалось у меня в жизни... Отнимайте последнее.

— Ах, Natalie, Natalie! — вздохнул я укоризненно.

Она как-то беспорядочно, толкая меня в грудь локтем и касаясь моего лица волосами, выдвинула из стола ящик и стала оттуда выбрасывать мне на стол бумаги; при этом мелкие деньги сыпались мне на колени и на пол.

— Все берите...— говорила она осипшим голосом.

Выбросив бумаги, она отошла от меня и, ухватившись обеими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобрал деньги, положил их обратно в ящик и запер, чтобы не вводить в грех прислугу; потом взял в охапку все бумаги и пошел к себе. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ее спину и вздрагивающие плечи, сказал:

— Какой вы еще ребенок, Natalie! Ай-ай! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, как серьезно и ответственно это дело, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вам.

Придя к себе, я не спеша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницах нумеров нет. Записи сделаны различными почерками, очевидно, в тетрадках хозяйничает всякий, кто хочет. В списках пожертвований натурою не проставлена цена продуктов. Но ведь, позвольте, та рожь, которая теперь стоит 1 р. 15 к., через два месяца может подняться в цене до 2 р. 15 к. Как же можно так? Затем «выдано А. М. Соболю 32 р.». Когда выдано? Для чего выдано? Где оправдательный документ? Ничего нет, и ничего не поймешь. В случае судебного разбирательства эти бумаги будут только затемнять дело.

— Как она наивна! — изумлялся я.— Какой она еще ребенок!

Мне было и досадно и смешно.

V

Жена собрала уже восемь тысяч, прибавить к ним мои пять — итого будет тринадцать. Для начала это очень хорошо. Дело, которое меня так интересовало и беспокоило, находится, наконец, в моих руках; я делаю то, чего не хотели и не могли сделать другие, я исполняю свой долг, организую правильную и серьезную помощь голодающим.

Все, кажется, идет согласно с моими намерениями и желаниями, но почему же меня не оставляет мое беспокойство? Я в продолжение четырех часов рассматривал бумаги жены, уясняя их смысл и исправляя ошибки, но вместо успокоения я испытывал такое чувство, как будто кто-то чужой стоял сзади меня и водил по моей спине шершавою ладонью. Чего мне недоставало? Организация помощи попала в надежные руки, голодающие будут сыты,— что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, так что я не мог ни сидеть согнувшись, ни писать. Снизу изредка доносились глухие стоны — это рыдала жена. Мой всегда смирный, сонный и ханжеватый Алексей то и дело подходил к столу, чтобы поправить свечи, и посматривал на меня как-то странно.

— Нет, надо уехать! — решил я наконец, выбившись из сил.— Подальше от этих великолепных впечатлений. Завтра же уеду.

Я собрал бумаги и тетрадки и пошел к жене. Когда я, чувствуя сильное утомление и разбитость, прижал обеими руками к груди бумаги и тетради и, проходя через спальню, увидел свои чемоданы, то до меня из-под пола донесся плач...

«Вы камер-юнкер? — спросил меня кто-то на ухо.— Очень приятно. Но все-таки вы гадина».

— Все вздор, вздор, вздор...— бормотал я, спускаясь по лестнице.— Вздор... И то вздор, будто мною руководит самолюбие или тщеславие... Какие пустяки! Разве за голодающих дадут мне звезду, что ли, или сделают меня директором департамента? Вздор, вздор! И перед кем тут в деревне тщеславиться?

Я устал, ужасно устал, и что-то шептало мне на

ухо: «Очень приятно. Но все же вы гадина». Почему-то я вспомнил строку из одного старинного стихотворения, которое когда-то знал в детстве: «Как приятно добрым быть!»

Жена лежала на кушетке в прежней позе — лицом вниз и обхватив голову обеими руками. Она плакала. Возле нее стояла горничная с испуганным, недоумевающим лицом. Я отослал горничную, сложил бумаги на стол, подумал и сказал:

— Вот ваша канцелярия, Natalie. Все в порядке, все прекрасно, и я очень доволен. Завтра я уезжаю.

Она продолжала плакать. Я вышел в гостиную и сел там в потемках. Всхлипывания жены, ее вздохи обвиняли меня в чем-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминал всю нашу ссору, начиная с того, как мне пришла в голову несчастная мысль пригласить жену на совещание, и кончая тетрадками и этим плачем. Это был обычный припадок нашей супружеской ненависти, безобразный и бессмысленный, каких было много после нашей свадьбы, но при чем же тут голодающие? Как это могло случиться, что они попали нам под горячую руку? Похоже на то, как будто мы, гоняясь друг за другом, нечаянно вбежали в алтарь и подняли там драку.

— Natalie,— говорю я тихо из гостиной,— полно, полно!

Чтобы прекратить плач и положить конец этому мучительному состоянию, надо пойти к жене и утешить, приласкать или извиниться; но как это сделать, чтобы она мне поверила? Как я могу убедить дикого утенка, живущего в неволе и ненавидящего меня, что он мне симпатичен и что я сочувствую его страданию? Жены своей я никогда не знал и потому никогда не знал, о чем и как с нею говорить. Наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству, но ее душевный, нравственный мир, ум, миросозерцание, частые перемены в настроении, ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которою она иногда поражала меня, или, например, монашеское выражение, как вчера,— все это было мне неизвестно и непонятно. Когда в своих столкновениях с нею я пытался опре-

делить, что она за человек, то моя психология не шла дальше таких определений, как взбалмошная, несерьезная, несчастный характер, бабья логика — и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желание знать больше.

Плач прекратился. Я пошел к жене. Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками, и задумчиво, неподвижно глядела на огонь.

— Я уезжаю завтра утром,— сказал я.

Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал:

— Natalie, когда вы просили меня уехать, то сказали: прощу вам все, все... Значит, вы считаете меня виноватым перед вами. Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами.

— Я утомлена. После как-нибудь...— сказала жена.

— Какая вина? — продолжал я.— Что я сделал? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вас и ненавидим вами, но разве это вина? Я женился на вас не насильно. Ну, что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам вам волю. Идите, можете любить, кого вам угодно... Я и развод дам.

— Этого мне не надо,— сказала она.— Вы знаете, я вас любила прежде и всегда считала себя старше вас. Пустяки все это...— Вина ваша не в том, что вы старше, а я моложе, или что на свободе я могла бы полюбить другого, а в том, что вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник.

— Не знаю, может быть,— проговорил я.

— Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна, и больше ничего мне не нужно.

Жена хотела, чтобы я ушел, но мне не легко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неуютных, опостылевших комнат. Бывало, в детстве, когда у меня болело что-нибудь, я жался к матери или к няне, и, когда я прятал лицо в складках теп-

лого платья, мне казалось, что я прячусь от боли. Так и теперь почему-то мне казалось, что от своего беспокойства я могу спрятаться только в этой маленькой комнате, около жены. Я сел и рукою заслонил глаза от света. Было тихо.

— Какая вина? — спросила жена после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами.— Вы прекрасно образованны и воспитанны, очень честны, справедливы, с правилами, но все это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унизительное. У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов, вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых — за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли двадцать кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. Почва законности! — сказала жена и засмеялась.— На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре и за эти семь лет, пока женаты, вы и семи месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно, нет сил. В первые

годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно... Так и пропали лучшие годы. Пока воевала с вами, я испортила себе характер, стала резкой, грубой, пугливой, недоверчивой... Э, да что говорить! Разве вы захотите понять? Идите себе с богом.

Жена прилегла на кушетку и задумалась.

— А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь! — тихо сказала она, глядя в раздумье на огонь.— Какая жизнь! Не вернешь теперь.

Кто живал зимою в деревне и знает эти длинные, скучные, тихие вечера, когда даже собаки не лают от скуки и, кажется, часы томятся оттого, что им надоело тикать, и кого в такие вечера тревожила пробудившаяся совесть и кто беспокойно метался с места на место, желая то заглушить, то разгадать свою совесть, тот поймет, какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос, раздававшийся в маленькой уютной комнате и говоривший мне, что я дурной человек. Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски. но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги. Как часто раньше, в минуты сильного беспокойства, я догадывался, что весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно.

Жена через силу поднялась и подошла ко мне.

— Павел Андреич,— сказала она, печально улыбаясь.— Простите, я не верю вам: вы не уедете. Но я еще раз прошу. Называйте это,— она указала на свои бумаги,— самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите, но не мешайте мне. Это все, что осталось у меня в жизни.— Она отвернулась и помолчала.— Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь.

— Natalie, вы хорошая, идейная женщина,— сказал я, восторженно глядя на жену,— и все, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волнение, я прошелся по комнате.

— Natalie,— продолжал я через минуту,— перед

отъездом прошу у вас, как особенной милости, помогите мне сделать что-нибудь для голодающих!

— Что же я могу? — сказала жена и пожала плечами.— Разве вот только подписной лист?

Она порылась в своих бумагах и нашла подписной лист.

— Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами,— сказала она, и по ее тону заметно было, что своему подписному листу она не придавала серьезного значения.— А участвовать в этом деле как-нибудь иначе вы не можете.

Я взял лист и подписал: *Неизвестный — 5000.*

В этом «неизвестный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понял это, только когда заметил, что жена сильно покраснела и торопливо сунула лист в кучу бумаг. Нам обоим стало стыдно. Я почувствовал, что мне непременно, во что бы то ни стало, сейчас же нужно загладить эту неловкость, иначе мне будет стыдно потом и в вагоне и в Петербурге. Но как загладить? Что сказать?

— Я благословляю вашу деятельность, Natalie,— сказал я искренно,— и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощанье дать вам один совет. Natalie, держите себя поосторожнее с Соболем и вообще с вашими помощниками и не доверяйтесь им. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов, и весь смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль! — вздохнул я.— Они любят легкие и даровые хлеба и в этом отношении, чем они образованнее, тем опаснее для дела.

Жена пошла к кушетке и прилегла.

— Идеи, идейно,— проговорила она вяло и нехотя,— идейность, идеалы, цель жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотели кого-нибудь унизить, обидеть или сказать неприятность. Ведь вот вы какой! Если с вашими взглядами и с таким отношением к людям подпустить вас близко к делу, то это значит разрушить дело в первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

— Это грубость нравов, Павел Андреич,— сказала она.— Вы образованны и воспитанны, но в сущности какой вы еще... скиф! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видаетесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги! Да... Но я утомилась, и мне тяжело говорить. Спать надо.

— Так я еду, Natalie,— сказал я.

— Да, да... Merci...

Я постоял немного и пошел к себе наверх. Час спустя — это было в половине второго — я со свечкою в руках опять сошел вниз, чтобы поговорить с женой. Я не знал, что скажу ей, но чувствовал, что мне нужно сказать ей что-то важное и необходимое. В рабочей комнате ее не было. Дверь, которая вела в спальню, была закрыта.

— Natalie, вы спите? — тихо спросил я.

Ответа не было. Я постоял около двери, вздохнул и пошел в гостиную. Здесь я сел на диван, потушил свечу и просидел в потемках до самого рассвета.

VI

Выехал я на станцию в десять часов утра. Мороза не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер.

Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон. Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погодя впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрово.

«Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновато будет Пестрово,— подумал я.— Оно меня преследует».

Въехали на улицу. На избах все крыши целы, нет ни одной содранной,— значит, соврал мой приказчик. Мальчик возит в салазках девочку с ребенком, другой мальчик, лет трех, с окутанной по-бабьи головой и с громадными рукавицами, хочет поймать языком

летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он, или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нет хлеба, в избах «кто хохочет, кто на стену лезет», но все это так просто, что даже не верится, чтобы это было на самом деле. Ни растерянных лиц, ни голосов, вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик, но почему же я так беспокоюсь?

Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой, я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними; но лошади вынесли из деревни в поле, закружил снег, заревел ветер, и я остался один со своими мыслями. Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге, в отеле на Большой Морской.

Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никанор с заткнутою за пояс полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал:

— Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай бог час.

Кстати: меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник, камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции. Надо было ждать. Я вышел наружу и, с тяжелой от бессонной ночи головой и едва передвигая

ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души.

— Зачем я еду? — спрашивал я себя.— Что меня ожидает там? Знакомые, от которых я уже уехал, одиночество, ресторанные обеды, шум, электрическое освещение, от которого у меня глаза болят... Куда и зачем я еду? Зачем я еду?

И как-то странно было уезжать, не поговоривши с женой. Мне казалось, что я оставил ее в неизвестности. Уезжая, следовало бы сказать ей, что она права, что я в самом деле дурной человек.

Когда я повернул от водокачки, в дверях показался начальник станции, на которого я два раза уже жаловался его начальству; приподняв воротник сюртука, пожимаясь от ветра и снега, он подошел ко мне и, приложив два пальца к козырьку, с растерянным, напряженно почтительным и ненавидящим лицом сказал мне, что поезд опоздает на двадцать минут и что не желаю ли я пока обождать в теплом помещении.

— Благодарю вас,— ответил я,— но, вероятно, я не поеду. Велите сказать моему кучеру, чтобы он подождал. Я еще подумаю.

Я ходил взад и вперед по платформе и думал: уехать мне или нет? Когда пришел поезд, я решил, что не поеду. Дома меня ожидали недоумение и, пожалуй, насмешки жены, унылый верхний этаж и мое беспокойство, но это в мои годы все-таки легче и как-то роднее, чем ехать двое суток с чужими людьми в Петербург, где я каждую минуту сознавал бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается к концу. Нет, уж лучше домой, что бы там ни было... Я вышел из станции. Возвращаться домой, где все так радовались моему отъезду, при дневном свете было неловко. Остаток дня до вечера можно было провести у кого-нибудь из соседей. Но у кого? С одними я в натянутых отношениях, с другими незнаком вовсе. Я подумал и вспомнил про Ивана Иваныча.

— Поедем к Брагину! — сказал я кучеру, садясь в сани.

— Далече,— вздохнул Никанор.— Верст, пожалуй, двадцать восемь будет, а то и все тридцать.

— Пожалуйста, голубчик,— сказал я таким тоном, как будто Никанор имел право не послушаться.— Поедем, пожалуйста!

Никанор с сомнением покачал головой и медленно проговорил, что по-настоящему следовало бы запрячь в корень не Черкеса, а Мужика или Чижика, и нерешительно, как бы ожидая, что я отменю свое решение, забрал вожжи в рукавицы, привстал, подумал и потом уж взмахнул кнутом.

«Целый ряд непоследовательных поступков...— думал я, пряча лицо от снега.— Это я сошел с ума. Ну, пускай...»

В одном месте на очень высоком и крутом спуске Никанор осторожно спустил лошадей до половины горы, но с половины лошади вдруг сорвались и со страшною быстротой понесли вниз; он вздрогнул, поднял локти и закричал диким, неистовым голосом, какого я раньше никогда у него не слышал:

— Эй, прокатим генерала! Запалим, новых купит, голубчики! Ай, берегись, задавим!

Только теперь, когда у меня от необыкновенно быстрой езды захватило дыхание, я заметил, что он сильно пьян; должно быть, на станции выпил. На дне оврага затрещал лед, кусок крепкого унавоженного снега, сбитый с дороги, больно ударил меня по лицу. Разбежавшиеся лошади с разгону понесли на гору так же быстро, как с горы, и не успел я крикнуть Никанору, как моя тройка уже летела по ровному месту, в старом еловом лесу, и высокие ели со всех сторон протягивали ко мне свои белые мохнатые лапы.

«Я сошел с ума, кучер пьян...— думал я.— Хорошо!»

Ивана Иваныча я застал дома. Он закашлялся от смеха, положил мне на грудь голову и сказал то, что всегда говорит при встрече со мной:

— А вы все молодеете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали.

— Я, Иван Иваныч, приехал вам визит отдать,— солгал я.— Не взыщите, человек я столичный, с предрассудками, считаюсь визитами.

— Рад, голубчик! Я из ума выжил, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я мог судить, что своим визитом я сильно польстил ему. В передней шубу с меня снимали две бабы, а повесил ее на крючок мужик в красной рубахе. И когда мы с Иваном Иванычем вошли в его маленький кабинет, две босые девочки сидели на полу и рассматривали иллюстрацию в переплете; увидев нас, они вспрыгнули и побежали вон, и тотчас же вошла высокая тонкая старуха в очках, степенно поклонилась мне и, подобрав с дивана подушку, а с полу иллюстрацию, вышла. Из соседних комнат непрерывно слышались шепот и шлепанье босых ног.

— А я к себе доктора жду обедать,— сказал Иван Иваныч.— Обещал с пункта заехать. Да. Он у меня каждую среду обедает, дай бог ему здоровья.— Он потянулся ко мне и поцеловал в шею.— Приехали, голубчик, значит не сердитесь,— зашептал он сопя.— Не сердитесь, матушка. Да. Может, и обидно, но не надо сердиться. Я об одном только прошу бога перед смертью: со всеми жить в мире и согласии, по правде. Да.

— Простите, Иван Иваныч, я положу ногу на кресло,— сказал я, чувствуя, что от сильного утомления я не могу быть самим собой; я поглубже сел на диван и протянул ноги на кресло. После снега и ветра у меня горело лицо и, казалось, все тело впитывало в себя теплоту и от этого становилось слабее.— У вас тут хорошо,— продолжал я,— тепло, мягко, уютно... И гусиные перья,— засмеялся я, поглядев на письменный стол,— песочница...

— А? Да, да... Письменный стол и вот этот шкапчик из красного дерева делал моему отцу столяр-самоучка Глеб Бутыга, крепостной генерала Жукова. Да... Большой художник по своей части.

Вяло, тоном засыпающего человека он стал рассказывать мне про столяра Бутыгу. Я слушал. Потом Иван Иваныч вышел в соседнюю комнату, чтобы показать мне замечательный по красоте и дешевизне комод из палисандрового дерева. Он постучал паль-

цем по комоду, потом обратил мое внимание на изразцовую печь с рисунками, которых теперь нигде не встретишь. И по печи постучал пальцем. От комода, изразцовой печи, и от кресел, и картин, шитых шерстью и шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах, веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думал: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное значение человеческому долголетию, не думал о смерти и, вероятно, плохо верил в ее возможность; я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мыслей: «Это не долговечно... Это ни к чему». Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкап Бутыги и мой мост, то он скажет: «Это два в своем роде замечательных человека: Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии...»

— Я только эти комнаты топлю,— бормотал Иван Иваныч, показывая мне свои комнаты.— С тех пор как умерла жена и сына на войне убили, я запер парадные. Да... вот...

Он отпер одну дверь, и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами, старый фортепьяно и кучу гороху на полу; пахнуло холодом и запахом сырья.

— А в другой комнате садовые скамейки...— бормотал Иван Иваныч.— Некому уж мазурку танцевать... Запер.

Послышался шум. Это приехал доктор Соболь. Пока он с холоду потирал руки и приводил в порядок свою мокрую бороду, я успел заметить, что, во-первых, ему жилось очень скучно и потому приятно было видеть Ивана Иваныча и меня, и, во-вторых, это был простоватый и наивный человек. Он смотрел на меня так, как будто я был очень рад его видеть и очень интересуюсь им.

— Две ночи не спал! — говорил он, наивно глядя на меня и причесываясь.— Одну ночь с роженицей, а другую, всю напролет, клопы кусали, у мужика ночевал. Спать хочу, понимаете ли, как сатана.

С таким выражением, как будто это не может доставить мне ничего, кроме удовольствия, он взял меня под руку и повел в столовую. Его наивные глаза, помятый сюртук, дешевый галстук и запах йодоформа произвели на меня неприятное впечатление; я почувствовал себя в дурном обществе. Когда сели за стол, он налил мне водки, и я, беспомощно улыбаясь, выпил; он положил мне на тарелку кусок ветчины — и я покорно съел.

— Repetitia est mater studiorum [1].— сказал Соболь, торопясь выпить другую рюмку.— Верите ли, от радости, что хороших людей увидел, даже сон прошел. Я мужик, одичал в глуши, огрубел, но я все-таки еще, господа, интеллигентный человек и искренно говорю вам: тяжело без людей!

Подали на холодное белого поросенка с хреном и со сметаной, потом жирные, очень горячие щи со свининой и гречневую кашу, от которой столбом валил пар. Доктор продолжал говорить, и скоро я убедился, что это был слабый, внешне беспорядочный и несчастный человек. От трех рюмок он опьянел, неестественно оживился, ел очень много, покрякивая и причмокивая, и меня уже величал по-итальянски: экчеленца. Наивно глядя на меня, как будто уверенный, что я очень рад видеть его и слушать, он сообщил мне, что со своею женой он давно уже разошелся и отдает ей три четверти своего жалованья; что жи-

---

[1] Повторенье — мать ученья *(лат.)*.

вет она в городе с его детьми — мальчиком и девочкой, которых он обожает, что любит он другую, вдову-помещицу, интеллигентную женщину, но бывает у нее редко, так как бывает занят своим делом с утра до ночи и совсем не имеет свободного времени.

— Целый день то в больнице, то в разъездах,— рассказывал он,— и, клянусь вам, экчеленца, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лет ничего не читал! Десять лет, экчеленца! Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить у Ивана Ивановича: табаку купить иной раз не на что.

— Зато у вас нравственное удовлетворение,— сказал я.

— Чего-с? — спросил он и прищурил один глаз.— Нет, давайте уж лучше выпьем.

Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке подводил к нему свои обычные мерки,— материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мерка не подходила даже приблизительно; и странное дело, пока я только слушал и глядел на него, то он, как человек, был для меня совершенно ясен, но как только я начинал подводить к нему свои мерки, то при всей своей откровенности и простоте он становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. Может ли этот человек, спрашивал я себя, растратить чужие деньги, злоупотребить доверием, иметь склонность к даровым хлебам? И теперь этот когда-то серьезный, значительный вопрос казался мне наивным, мелочным и грубым.

Подали пирог, потом, помню, с длинными промежутками, в продолжение которых мы пили наливку, подавали соус из голубей, что-то из потрохов, жареного поросенка, утку, куропаток, цветную капусту, вареники, творог с молоком, кисель и под конец блинчики с вареньем. Сначала, особенно щи и кашу, я ел с большим аппетитом, но потом жевал и глотал машинально, беспомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. От горячих щей и от жары, какая была в комнате, у меня сильно горело лицо. Иван Иваныч и Соболь тоже были красны.

— За здоровье вашей супруги,— сказал Соболь.— Она меня любит. Скажите ей, что кланялся ей лейб-медик.

— Счастливая, ей-богу! — вздохнул Иван Иваныч.— Не хлопотала, не беспокоилась, не суетилась, а вышло так, что она теперь первая персона во всем уезде. Почти все дело у нее в руках и около нее все: и доктор, и земские начальники, и барыни. У настоящих людей это как-то само собой выходит. Да... Яблоне не надо беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли — сами вырастут.

— Не беспокоятся равнодушные,— сказал я.

— А? Да, да...— забормотал Иван Иваныч, не расслышав.— Это верно... Надо быть равнодушным. Так, так... Именно... Будь только справедлив перед богом и людьми, а там — хоть трава не расти.

— Экчеленца,— сказал торжественно Соболь,— посмотрите вы на окружающую природу: высунь из воротника нос или ухо — откусит; останься в поле на один час — снегом засыплет. А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась, те же печенеги и половцы. Только и знаем, что горим, голодаем и на все лады с природой воюем. О чем бишь я? Да! Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься, вглядеться да разобрать эту, с позволения сказать, кашу, то ведь это не жизнь, а пожар в театре! Тут кто падает или кричит от страха и мечется, тот первый враг порядка. Надо стоять прямо и глядеть в оба — и ни чичирк! Тут уж некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имеешь дело со стихией, то и выставляй против нее стихию,— будь тверд и неподатлив, как камень. Не так ли, дедушка? — повернулся он к Ивану Иванычу и засмеялся.— Я сам баба, тряпка, кисляй кислянч и потому терпеть не могу кислоты. Не люблю мелких чувств! Один хандрит, другой трусит, третий войдет сейчас сюда и скажет: «Ишь ты, уперли десять блюд и заговорили о голодающих!» Мелко и глупо! Четвертый попрекнет вас, экчеленца, что вы богаты. Извините меня, экчеленца,— продолжал он громко, приложив руку к сердцу,— но то, что вы задали нашему следователю

работу, что он ваших воров день и ночь ищет, извините, это тоже мелко с вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчас, но, понимаете ли, мелко!

— Кто его просит беспокоиться, не понимаю? — сказал я, вставая; мне вдруг стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходил около стола.— Кто его просит беспокоиться? Я вовсе не просил... Черт его подери совсем!

— Троих арестовал и выпустил. Оказались не те, и теперь новых ищет,— засмеялся Соболь.— Грехи!

— И я вовсе не просил его беспокоиться,— сказал я, готовый заплакать от волнения.— К чему, к чему все это? Ну да, положим, я был не прав, поступал я дурно, положим, но зачем они стараются, чтобы я был еще больше не прав?

— Ну, ну, ну, ну! — сказал Соболь, успокаивая меня.— Ну! Я выпивши, потому и сказал. Язык мой — враг мой. Ну-с,— вздохнул он,— поели, наливки попили, а теперь на боковую.

Он встал из-за стола, поцеловал Ивана Иваныча в голову и, пошатываясь от сытости, вышел из столовой. Я и Иван Иваныч молча покурили.

— Я, родной мой, не сплю после обеда,— сказал Иван Иваныч,— а вы пожалуйте в диванную, отдохните.

Я согласился. В полутемной, жарко натопленной комнате, которая называлась диванною, стояли у стен длинные широкие диваны, крепкие и тяжелые, работы столяра Бутыги; на них лежали постели высокие, мягкие, белые, постланные, вероятно, старушкою в очках. На одной постели, лицом к спинке дивана, без сюртука и без сапог, спал уже Соболь, другая ожидала меня. Я снял сюртук, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который витал в тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболя, покорно лег.

И тотчас же мне стали сниться жена, ее комната, начальник станции с ненавидящим лицом, кучи снега, пожар в театре... Приснились мужики, вытащившие у меня из амбара двадцать кулей ржи...

— Все-таки это хорошо, что следователь отпустил их,— говорю я.

Я просыпаюсь от своего голоса, минуту с недоумением смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстые пятки, потом опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся в другой раз, было уже темно. Соболь спал. На душе у меня было покойно, и хотелось поскорее домой. Я оделся и вышел из диванной. Иван Иваныч сидел у себя в кабинете в большом кресле совершенно неподвижно и глядел в одну точку, и видно было, что в таком состоянии оцепенения он находился все время, пока я спал.

— Хорошо! — сказал я, зевая.— У меня такое чувство, как будто я проснулся после разговенья на пасху. Я к вам теперь часто буду ездить. Скажите, у вас обедала жена когда-нибудь?

— Бы... ба... бы... бывает,— забормотал Иван Иваныч, делая усилие, чтобы пошевелиться.— В прошлую субботу обедала. Да... Она меня любит.

После некоторого молчания я сказал:

— Помните, Иван Иваныч, вы говорили, что у меня дурной характер и что со мной тяжело? Но что надо сделать, чтобы характер был другой?

— Не знаю, голубчик... Я человек сырой, обрюзг, советовать уже не могу... Да... А сказал я вам тогда потому, что люблю вас, и жену вашу люблю, и отца любил... Да. Я скоро помру, и какая мне надобность таиться от вас или врать? Так и говорю: люблю вас крепко, но не уважаю. Да, не уважаю.

Он повернулся ко мне и проговорил шепотом, задыхаясь:

— Невозможно вас уважать, голубчик. С виду вы как будто и настоящий человек. Наружность у вас и осанка как у французского президента Карно,— в иллюстрации намедни видел... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и в чинах, рукой до вас не достанешь, но, голубчик, у вас душа не настоящая... Силы в ней нет... Да.

— Скиф, одним словом,— засмеялся я.— Но что жена? Расскажите мне что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мне хотелось говорить про жену, но вошел Соболь и помешал.

— Поспал, умылся,— сказал он, наивно глядя на меня,— попью чайку с ромом и домой.

VII

Был уже восьмой час вечера. Из передней до крыльца, кроме Ивана Иваныча, провожали нас с причитываниями и пожеланиями всяких благ бабы, старуха в очках, девочки и мужик, а около лошадей в потемках стояли и бродили какие-то люди с фонарями, учили наших кучеров, как и где лучше проехать, и желали нам доброго пути. Лошади, сани и люди были белы.

— Откуда у него столько народу? — спросил я, когда моя тройка и докторская пара шагом выезжали со двора.

— Это всё его крепостные,— сказал Соболь.— До него еще не дошло положение. Кое-кто из старой прислуги свой век доживает, ну, сиротки разные, которым деваться некуда; есть и такие, что насильно живут, не выгонишь. Чудной старик!

Опять быстрая езда, необыкновенный голос пьяного Никанора, ветер и неотвязчивый снег, лезущий в глаза, в рот, во все складки шубы...

«Эка меня носит!» — думаю я, а мои колокольчики заливаются вместе с докторскими, ветер свистит, кучера гикают, и под этот неистовый шум я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, единственного в моей жизни дня, и мне кажется, что я в самом деле с ума сошел или же стал другим человеком. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд.

Доктор ехал позади и все время громко разговаривал со своим кучером. Изредка он догонял меня, ехал рядом и все с тою же наивною уверенностью, что для меня это очень приятно, предлагал папирос, просил спичек. А то, поравнявшись со мной, он вдруг вытянулся в санях во весь рост, замахал рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннее рук, и закричал:

— Лупи, Васька! Обгони-ка тысячных! Эй, котята!

И докторские котята при громком злорадном смехе Соболя и его Васьки понеслись вперед. Мой Никанор обиделся и придержал тройку, но когда не стало уже слышно докторских звонков, поднял локти, гикнул, и моя тройка, как бешеная, понеслась вдогонку. Мы въехали в какую-то деревню. Вот мелькнули огоньки, силуэты изб, кто-то крикнул: «Ишь черти!» Проскакали, кажется, версты две, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поравнялись с доктором и поехали тише, он попросил спичек и сказал:

— Вот прокормите-ка эту улицу! А ведь здесь пять таких улиц, сударь. Стой! Стой! — закричал он.— К трактиру поворачивай! Надо согреться и лошадям отдохнуть.

Остановились около трактира.

— У меня в епархии не одна такая деревенька,— говорил доктор, отворяя тяжелую дверь с визжащим блоком и пропуская меня вперед.— Среди бела дня взглянешь на такую улицу — конца не видать, а тут еще переулки, и только затылок почешешь. Трудно что-нибудь сделать.

Мы вошли в «чистую» комнату, где сильно пахло скатертями, и при нашем входе вскочил с лавки заспанный мужик в жилетке и рубахе навыпуск. Соболь попросил пива, а я чаю.

— Трудно что-нибудь сделать,— говорил Соболь.— Ваша супруга верит, я преклоняюсь перед ней и уважаю, но сам глубоко не верю. Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь был у меня работником; у него не уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по пятнадцати копеек в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника, то есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тем эти пятнадцать копеек я почему-то называю помощью, пособием, добрым делом.

Теперь будем говорить так. По самому скромному расчету, считая по семи копеек на душу и по пяти душ в семье, чтобы прокормить тысячу семей, нужно триста пятьдесят рублей в день. Этой цифрой определяются наши деловые обязательные отношения к тысяче семейств. А между тем мы даем не триста пятьдесят в день, а только десять и говорим, что это пособие, помощь, что за это ваша супруга и все мы исключительно прекрасные люди, и да здравствует гуманность. Так-то, душа моя! Ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали да совестливо относились к своим обязательствам! Сколько среди нас таких гуманных, чувствительных людей, которые искренно бегают по дворам с подписными листами, но не платят своим портным и кухаркам. Логики в нашей жизни нет, вот что! Логики!

Мы помолчали. Я мысленно сделал расчет и сказал:

— Я буду кормить тысячу семейств в продолжение двухсот дней. Вы приезжайте завтра поговорить.

Я был доволен, что это вышло у меня просто, и был рад, что Соболь ответил мне еще проще:

— Ладно.

Мы заплатили что нужно и вышли из трактира.

— Люблю так путаться,— сказал Соболь, садясь в сани.— Экчеленца, одолжите спичку: я свои в трактире забыл.

Через четверть часа его пара отстала, и сквозь шум метели уже не слышно было его звонков. Приехав домой, я прошелся по своим комнатам, стараясь обдумать и возможно яснее определить себе свое положение; у меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова. Голова не работала.

Не придумав ничего, я отправился вниз к жене. Она стояла у себя в комнате все в том же розовом капоте и в той же позе, как бы загораживая от меня свои бумаги. Лицо ее выражало недоумение и насмешку. Видно было, что она, узнав о моем приезде, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, как вчера, а смеяться надо мною, отвечать мне презрением и поступать решительно. Лицо ее говорило: если так, то прощайте.

— Natalie, я не уехал,— сказал я,— но это не обман. Я с ума сошел, постарел, болен, стал другим человеком - как хотите, думайте... От прежнего самого себя я отшатнулся с ужасом, с ужасом, презираю и стыжусь его, а тот новый человек, который во мне со вчерашнего дня, не пускает меня уехать. Не гоните меня, Natalie!

Она пристально посмотрела мне в лицо, поверила, и в ее глазах блеснуло беспокойство. Очарованный ее присутствием, согретый теплом ее комнаты, я бормотал как в бреду, протягивая к ней руки:

— Я говорю вам: кроме вас, у меня никого нет близких. Я ни на одну минуту не переставал скучать по вас, и только упрямое самолюбие мешало мне сознаваться в этом. Того прошлого, когда мы жили как муж и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сделайте меня вашим слугой, возьмите все мое состояние и раздайте его, кому хотите. Я покоен, Natalie, я доволен... Я покоен...

Жена, пристально и с любопытством смотревшая мне в лицо, вдруг тихо вскрикнула, заплакала и выбежала в соседнюю комнату. Я пошел к себе наверх.

Через час я уже сидел за столом и писал «Историю железных дорог», и голодающие не мешали мне делать это. Теперь я уже не чувствую беспокойства. Ни те беспорядки, которые я видел, когда на днях с женою и с Соболем обходил избы в Пестрове, ни зловещие слухи, ни ошибки окружающих людей, ни моя близкая старость — ничто не беспокоит меня. Как летающие ядра и пули на войне не мешают солдатам говорить о своих делах, есть и починять обувь, так и голодающие не мешают мне покойно спать и заниматься своими личными делами. У меня в доме во дворе и далеко кругом кипит работа, которую доктор Соболь называет «благотворительною оргией»; жена часто входит ко мне и беспокойно обводит глазами мои комнаты, как бы ища, что еще можно отдать голодающим, чтобы «найти оправдание своей жизни», и я вижу, что благодаря ей скоро от нашего состояния не останется ничего и мы будем бедны, но это не волнует меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю.

ПОПРЫГУНЬЯ

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ива-

новну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда деликатной и скромной, но вспоминавшей с существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов,— среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными, белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку.— Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по

целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — бац! — сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу.— Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было двадцать два года, Дымову тридцать один. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала

или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек,— говорила она,— но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку и живопись.

— Я не понимаю их,— говорил он кротко.— Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хо-

зяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метрдотель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга.— Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом.— Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как непременный член сосьете[1], будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

---

[1] общество (*франц.* société).

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий, совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова.— Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости.— Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки.— Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук.— Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, не-

глупый и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо.— У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо,— сказал Дымов.— Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением.— Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять часов, а венчание в одиннадцать. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать,— сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах.— И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она не мигая долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо,— сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он все время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас...— шептал он, дыша ей на щеку.— Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство...— бормотал он в сильном волнении.— Любите меня, любите...

— Не говорите так,— сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.— Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил,— думала она, закрывая лицо руками.— Пусть осуждают *там*, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя.— Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте,— сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья,— принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все, все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! Голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило

ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по семьдесят пять рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до двадцатого сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой,— простонал Рябовский,— когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя есть этюд при облачном небе,— сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки.— Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник.— Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменился! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлипнула Ольга Ивановна.— Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала.— Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя и им все давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас,— сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу,— об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил.— Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна.— Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал...— сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.

К рассказу «Попрыгунья».

Художники Кукрыниксы. 1960.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза.— Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай...— сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем.— Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда,— спрашивала она себя,— что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша,— говорила она.— Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский на прощанье поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на па-

реходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие, радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно.— Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего...— сказала она.— Это я так...

— Сядем,— сказал он, поднимая ее и усаживая за стол.— Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженого человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то

от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием, и вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своею в самом деле великолепною картиной; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженый Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйте, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал,— сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала сто-

ять к нему спиной и поправлять прическу.— Ого! — повторил он.— Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд nature morte и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

- А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд...— сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали,— nature morte.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— Nature morte... первый сорт,— бормотал он, подбирая рифму,— курорт... черт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, *она* ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал...— томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту.— Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Ря-

бовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери.— Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери.— Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо...— сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег.— Пошли,— глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса.— Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и

даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правою рукою крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу,— угрюмо сказал он Ольге Ивановне.— Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шепотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, под суд отдавать надо,— пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны.— Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона; потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обма-

шивала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским.— Будь оно все проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа...— храпел он, — кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета,— все это не возбуждало

теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости,— сказал он вполголоса.— Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком,— сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт...— думала она, опять впадая в забытье,— спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается...— повторил он тонким голоском и опять всхлипнул.— Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью.— Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки.— Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то.— Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-

желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко.— Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется.— Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — все сделают, что нужно.

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

«Я люблю вас,— написала она,— но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной — как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

«Перестаньте же уверять, что вы меня любите,— продолжала Надя писать, думая об офицере Горном.— Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во

мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!..»

Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

«Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!»

Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном.

Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом.

Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.

«Я очень рада, что вы наконец познакомились со студентом Груздевым,— продолжала она писать.— Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного».

Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула, как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость все росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное.

— Какой смешной пудель! — проговорила она, чувствуя, что ей становится душно от смеха.— Какой смешной пудель!

Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал:

— Ах ты, мошенник!

Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.

— Нет, буду лучше любить Груздева,— решила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что все хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не все, что немного погодя будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смеш-

ные или удивительные вещи. Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха, и показалось ей, что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка.

Она пошла к себе на постель, села и, не зная, что делать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрела на образ, висевший на спинке ее кровати и говорила:

— Господи! Господи! Господи!

ОТРЫВОК

Действительный статский советник Козерогов, выйдя в отставку, купил себе небольшое имение и поселился в нем. Здесь, подражая отчасти Цинциннату, отчасти же профессору Кайгородову, он трудился в поте лица и записывал свои наблюдения над природой. После его смерти записки его вместе с прочим имуществом перешли по завещанию к его экономке Марфе Евлампиевне. Как известно, почтенная старушка снесла барскую усадьбу и на месте ее построила превосходный трактир с продажею крепких напитков. В этом трактире была особая «чистая» комната для проезжающих помещиков и чиновников, и на столе в комнате были положены записки покойного на случай, буде кому из проезжающих понадобится бумага. Один листок записок попал в мои руки; он, по-видимому, относится к самому началу сельскохозяйственной деятельности покойного и содержит в себе следующее:

«*3 марта.* Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев. Привет вам, пернатые дети юга! В вашем сладостном чириканье как бы слышу пожелание: «Будьте счастливы, ваше превосходительство!»

14 марта. Спросил сегодня у Марфы Евлампиевны: «Отчего это петух поет так часто?» Она мне отве-

тила: «Оттого, что у него горло есть». А я ей: «У меня тоже есть горло, однако же я не пою!» Как много в природе таинственного! Служа в Петербурге, я неоднократно ел там индюков, но живыми их видел впервые только вчера. Весьма замечательная птица.

22 марта. Приезжал становой пристав. Долго беседовали о добродетели — я сидя, он стоя. Между прочим, он спросил меня: «А желали бы вы, ваше превосходительство, чтобы к вам опять вернулась ваша молодость?» Я ему ответил на это: «Нет, не желаю, потому что, будучи молодым, я не имел бы такого чина». Он согласился со мной и уехал, видимо растроганный.

16 апреля. Собственноручно вскопал на огороде две грядки и посеял на них манную крупу. Никому об этом не сказал, дабы сделать сюрприз моей Марфе Евлампиевне, которой я обязан многими счастливыми минутами в жизни. Вчера за чаем она горько роптала на свою комплекцию и говорила, что увеличивающаяся полнота уже мешает ей пройти в дверь в кладовую. Я ей на это заметил: «Напротив, душенька, полнота форм ваших служит вам к украшению и к наибольшему моему расположению к вам». Она вспыхнула, я же встал и обнял ее обеими руками, ибо одною рукой ее не обхватишь.

28 мая. Один старик, увидев меня около женской купальни, спросил меня: зачем я тут сижу? Я ответил ему: «Наблюдаю за тем, чтобы молодые люди сюда не ходили и здесь не сидели».— «Давайте же вместе наблюдать». Сказавши это, старик сел рядом со мной, и мы стали говорить о добродетели».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамаши четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город коснел в невежестве и в предрассудках, старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов, девицы день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жен, и по улицам бродили свиньи.

«Идей, побольше идей! — думал Андрей Андреевич.— Идей!»

Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых и новейших авторов и много учебников и расставил все это добро по полкам. В первые три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал Михайловского и старался честно мыслить. Когда же ему невзначай приходило в голову, например, что недурно бы теперь покушать леща с кашей, то он тотчас же ловил себя на этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая девка в платке и в кожаных калошах на босую ногу и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!

И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:

— Дверью ошиблись, сударыня!

Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав значительное и таинственное лицо, доставал с самой дальней полки третий том Писарева, сдувал с него пыль и с таким выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать, говорил:

— Да, батенька... Это штучка, я вам доложу, не того... Да... Тут, батенька, одним словом, я должен заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только руками разведешь... Да.

— Смотри, брат, как бы тебе не влетело!

Через три недели пришел первый покупатель. Это был толстый седой господин с бакенами, в фуражке с красным околышем, по всем видимостям помещик. Он потребовал вторую часть «Родного слова».

— А грифелей у вас нет? — спросил он.

— Не держу.

— Напрасно... Жаль. Не хочется из-за пустяка ехать на базар...

«В самом деле, напрасно я не держу грифелей,— думал Андрей Андреевич по уходе покупателя.— Здесь в провинции нельзя узко специализироваться, а надо продавать все, что относится к просвещению и так или иначе способствует ему».

Он написал в Москву, и не прошло месяца, как на окне его магазина были уже выставлены перья, карандаши, ручки, ученические тетрадки, аспидные доски и другие школьные принадлежности. К нему стали изредка заходить мальчики и девочки, и был даже один такой день, когда он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью влетела к нему девка в кожаных калошах; он уже раскрыл рот, чтобы сказать ей с презрением, что она ошиблась дверью, но она крикнула:

— Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!

После этого Андрей Андреевич стал держать почтовые и гербовые марки и, кстати уж, вексельную бумагу. Месяцев через восемь (считая со дня открытия магазина) к нему зашла одна дама, чтобы купить перьев.

— А нет ли у вас гимназических ранцев? — спросила она.

— Увы, сударыня, не держу!

— Ах, какая жалость! В таком случае покажите мне, какие у вас есть куклы, но только подешевле.

— Сударыня, и кукол нет! — сказал печально Андрей Андреевич.

Он не долго думая написал в Москву, и скоро в его магазине появились ранцы, куклы, барабаны, сабли, гармоники, мячи и всякие игрушки.

— Это все пустяки! — говорил он своим приятелям. — А вот погодите, я заведу учебные пособия и рациональные игры! У меня, понимаете ли, воспитательная часть будет зиждиться, что называется, на тончайших выводах науки, одним словом...

Он выписал гимнастические гири, крокет, триктрак, детский биллиард, садовые инструменты для детей и десятка два очень умных, рациональных игр. Потом обыватели, проходя мимо его магазина, к великому своему удовольствию, увидели два велосипеда: один большой, другой поменьше. И торговля пошла на славу. Особенно хороша была торговля перед рождеством, когда Андрей Андреевич вывесил на окне объявление, что у него продаются украшения для елки.

— Я им еще гигиены подпущу, понимаете ли,— говорил он своим приятелям, потирая руки.— Дайте мне только в Москву съездить! У меня будут такие фильтры и всякие научные усовершенствования, что вы с ума посойдете, одним словом. Науку, батенька, нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он поехал в Москву и купил там разных товаров тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут были и фильтры, и превосходные лампы для письменных столов, и гитары, и гигиенические кальсоны для детей, и соски, и портмоне, и зоологические коллекции. Кстати же, он купил на пятьсот рублей превосходной посуды и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся расстановкой нового товара по полкам и эта-

керкам. И как-то так случилось, что, когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое отрясение и десять томов Михайловского один за другим свалились с полки; один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара.

— Как, однако, они... толсто пишут! — пробормотал Андрей Андреевич, почесываясь.

Он собрал все книги, связал их крепко веревкой и спрятал под прилавок. Дня через два после этого ему сообщили, что сосед бакалейщик приговорен в арестантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал оставить лавку за собой. Скоро в стене была уже пробита дверь и обе лавки, соединенные в одну, были битком набиты товаром; так как покупатели, заходившие во вторую половину лавки, по привычке все спрашивали чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич не долго думая завел и бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в городе. Он торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками. Он снял на базаре ренсковый погреб и, говорят, собирается открыть семейные бани с номерами. Книги же, которые когда-то лежали у него на полках, в том числе и третий том Писарева, давно уже проданы по р. 5 к. за пуд.

На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает «американцами», иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях.

— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестника Европы»? — спрашивают его.

— Нет, не читал-с...— отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой.— Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.

В ССЫЛКЕ

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

— Оно, конечно, тут не рай,— говорил Толковый.— Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина, и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет и утром нынче снег был.

— Худо! худо! —сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки.

Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторил он.

— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеялся.— Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

— У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

— А на что тебе мать и жена? — спросил Толковый.— Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

— Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на

своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса,— он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенчик-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Се-

мен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай каждую неделю, стал он в Гырино наведоваться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване,— чтоб она издохла... Роскошь, одним словом баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец — не та честь. Года через три, помню, ночью под самый успеньев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу — барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели — и поминай как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергеич скачет на паре. «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю,— ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от любовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на гла-

зах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж, по-моему, лучше пропить эти деньги... Все равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

— Хорошо, хорошо,— пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

— Что хорошо? — спросил Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила с ним три года — это ему бог подарил. Ничего — худо, а три года — хорошо. Как не понимай?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и

благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

— Что ей за радость с отцом-то? — проговорил он немного погодя.— Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся.— Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

— Если нет чего-чего кушать, то как живи? — спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тело

болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развесть...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая,— неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни — быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится,— думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

— Подава-ай! — кричал кто-то на той стороне.— Кар-ба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длин-

ный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить,— все равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплет, и все оно сыплет! — бормотал Семен, вытирая с лица снег.— И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

— Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал.

А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

— И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

— Грязно теперь ехать, Василий Сергеич,— сказал он, когда на берегу запрягали лошадей.— Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а все никакого толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

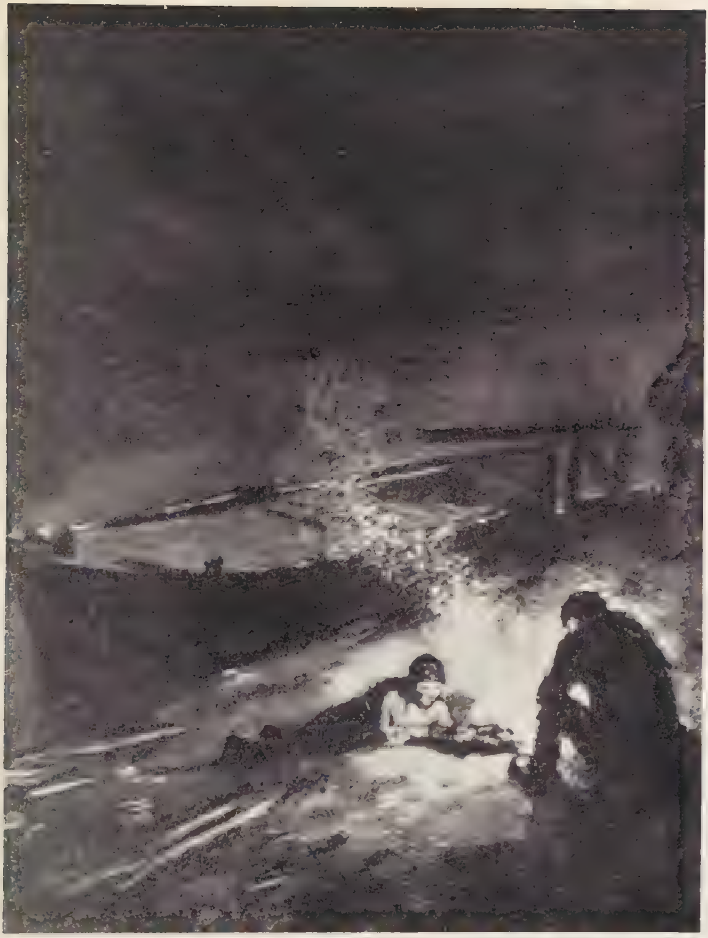
— Вот, за доктором поскакал! — сказал Семен, пожимаясь от холода.— Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, язви твою душу! Экие чудаки, господи, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

— Он хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень — и бог тебя не любит, а барина любит.

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

— Холодно! — прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.



К рассказу «В ссылке».

Художники Кукрыниксы 1954

— Да, не тепло! — согласился другой.— Жизнь ка-оржная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в из-ушку понесло снегом. Встать и затворить дверь ни-ому не хотелось: было холодно и лень.

— А мне хорошо!— проговорил Семен засыпая.— ,ай бог всякому такой жизни.

— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не ерут.

Со двора послышались звуки, похожие на соба-ий вой.

— Что это? Кто это там?

— Это татарин плачет.

— Ишь ты... Чудак!

— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же за-нул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась езатворенной.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СТАРОГО ПЕДАГОГА

«Рассуждают: семья должна идти об руку со школой. Да, но только в том случае, если семья благородная, а не купеческая или мещанская, ибо сближение с низшими может отдалить школу от совершенства. Впрочем, из человеколюбия не следует иногда лишать купцов и богатых мещан удогольствия — например, приглашать педагогов на пирог».

«При словах «предложение» и «союз» ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах «прилагательное» и «придаточное» ученики с надеждою взирают на будущее».

«Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа».

«Наши педагоги убеждают своих учеников не тратить времени на чтение романов и газет, так как это мешает сосредоточению и развлекает. К тому же романы и газеты бесполезны. Но как ученики могут поверить своим руководителям, если последние сами отдают много времени газетам и журналам? Врачу, исцелися сам! Что касается меня, то в этом отношении я совершенно чист: вот уж 30 лет, как я не прочел ни одной книги и газеты».

«Преподавая ученикам науки, следует преимущественнейше наблюдать за тем, чтобы ученики непременно отдавали свои книги в переплет, ибо корешком можно ударить по лбу лишь в том случае, если книга переплетена».

«Дети! Какое блаженство получать пенсию!»

РЫБЬЯ ЛЮБОВЬ

Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду, и разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом «Кранделя сыновья» вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила: «И в кого я, такой слон, уродилась? Даже глядеть страшно». Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала, пожималась от холода, а карась, тут как тут, подплывал к ней и начинал жадно целовать ее ножки, плечи, шею...

Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал:

«Конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить

меня, карася? Нет, тысячу раз нет! Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба! Тебе остается только один удел — смерть! Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата, карасей, возможна только одна смерть — пасть щуки. Но где взять щуку? Была тут в пруде когда-то одна щука, да и та издохла от скуки. О, я несчастный!»

И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник...

Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея.

«Я умру от ее руки! — подумал он и весело заиграл своими плавниками.— О, это будет чудная, сладкая смерть!»

И, полный решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот.

— Соня, у тебя клюет! — взвизгнула тетя.— Милая, у тебя клюет!

— Ах! Ах!

Соня вскочила и дернула изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги.

— Сорвалось! — вскрикнули обе дачницы, побледнев.— Сорвалось! Ах! Милая!

Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу.

— Ах, милая,— сказала тетя,— не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы.

Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним; потом же, придя в себя, он простонал:

— Опять жить! Опять! О, насмешка судьбы!

Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дико захохотал... Он сошел с ума.

Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя судьбою такого ничтожного и неинтересного существа, как

карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пескарей и улиток. А я подражаю дамам. Быть может даже, я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом.

Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор. Караси вообще любят, чтобы их жарили в сметане, мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей и все дети любят тетю.

Но далее. На литейном заводе «Кранделя сыновья» служит директором инженер Крысин. У него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню Мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые гибельные последствия: карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург; побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом, и с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи.

СОСЕДИ

Петр Михайлович Ивашин был сильно не в духе; его сестра, девушка, ушла к Власичу, женатому человеку. Чтобы как-нибудь отделаться от тяжелого, унылого настроения, какое не оставляло его ни дома, ни в поле, он призывал к себе на помощь чувство справедливости, свои честные, хорошие убеждения — ведь он всегда стоял за свободную любовь! — но это не помогало, и он всякий раз помимо воли приходил к такому же заключению, как глупая няня, то есть что сестра поступила дурно, а Власич украл сестру. И это было мучительно.

Мать целый день не выходила из своей комнаты, няня говорила шепотом и все вздыхала, тетка каждый день собиралась уехать, и чемоданы ее то вносили в переднюю, то уносили назад в комнату. В доме, во дворе и в саду была тишина, похожая на то, как будто в доме был покойник. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайлычу, загадочно и с недоумением смотрели на него, как будто хотели сказать: «Твою сестру обольстили, что же ты бездействуешь?» И он упрекал себя в бездействии, хотя и не знал, в чем, собственно, должно было заключаться действие.

Так прошло дней шесть. В седьмой — это было в воскресенье после обеда — верховой привез письмо. Адрес был написан знакомым женским почерком: «Ее Превосх. Анне Николаевне Ивашиной». Петру Михай-

лычу почему-то показалось, что в оболочке письма, и в почерке, и в недописанном слове «Превосх.» было что-то вызывающее, задорное, либеральное. А женский либерализм упрям, неумолим, жесток...

«Она скорее согласится умереть, чем сделать несчастной матери уступку, попросить у нее прощения»,— подумал Петр Михайлыч, идя к матери с письмом.

Мать лежала в постели, одетая. Увидев сына, она порывисто поднялась и, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под чепца, быстро спросила:

— Что? Что?

— Прислала...— сказал сын, подавая ей письмо.

Имя Зины и даже слово «она» не произносилось в доме; о Зине говорили безлично: «прислала», «ушла»... Мать узнала почерк дочери, и лицо ее стало некрасивым, неприятным, и седые волосы опять выбились из-под чепца.

— Нет! — сказала она, делая руками так, как будто письмо обожгло ей пальцы.— Нет, нет, никогда! Ни за что!

Мать истерически зарыдала от горя и стыда; ей, очевидно, хотелось прочесть письмо, но мешала гордость. Петр Михайлыч понимал, что ему самому следовало бы распечатать письмо и прочесть его вслух, но им вдруг овладела злоба, какой он раньше никогда не испытывал; он выбежал на двор и крикнул верховому:

— Скажи, что ответа не будет! Не будет ответа! Так и скажи, скотина!

И разорвал письмо; потом слезы выступили у него на глазах, и, чувствуя себя жестоким, виноватым и несчастным, он ушел в поле.

Ему шел только двадцать восьмой год, но уж он был толст, одевался по-стариковски во все широкое и просторное и страдал одышкой. В нем были уже все задатки помещика — старого холостяка. Он не влюблялся, о женитьбе не думал и любил только мать, сестру, няню, садовника Васильича; любил хорошо поесть, поспать после обеда, поговорить о политике и о возвышенных материях... В свое время он кончил курс в университете, но теперь смотрел на это так, как

будто отбыл повинность, неизбежную для юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет; по крайней мере мысли, которые теперь каждый день бродили в его голове, не имели ничего общего с университетом и с теми науками, которые он проходил.

В поле было жарко и тихо, как перед дождем. В лесу парило, и шел душистый тяжелый запах от сосен и лиственного перегноя. Петр Михайлыч часто останавливался и вытирал мокрый лоб. Он осмотрел свои озимые и яровые, обошел клеверное поле и раза два согнал на опушке куропатку с цыплятами; и все время он думал о том, что это невыносимое состояние не может продолжаться вечно и что надо его так или иначе кончить. Кончить как-нибудь глупо, дико, но непременно кончить.

«Но как же? Что же сделать?» — спрашивал он себя и умоляюще поглядывал на небо и на деревья, как бы прося у них помощи.

Но небо и деревья молчали. Честные убеждения не помогали, а здравый смысл подсказывал, что мучительный вопрос можно решить не иначе, как глупо, и что сегодняшняя сцена с верховым не последняя в этом роде. Что еще будет — страшно подумать!

Когда он возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь уж ему казалось, что вопроса никак нельзя решить. С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а средины нет. Когда он, снявши шляпу и обмахиваясь платком, шел по дороге и до дома оставалось версты две, сзади послышались звонки. Это был затейливый и очень удачный подбор колокольчиков и бубенчиков, издававших стеклянные звуки. С таким звоном ездил один только исправник Медовский, бывший гусарский офицер, промотавшийся и истасканный, больной человек, дальний родственник Петра Михайлыча. У Ивашиных он был своим человеком и к Зине питал нежное отеческое чувство и восхищался ею:

— А я к вам,— сказал он, обогнав Петра Михайлыча.— Садитесь, подвезу.

Он улыбался и глядел весело; очевидно, не знал еще, что Зина ушла к Власичу; быть может, ему уже

сообщали об этом, но он не верил. Петр Михайлыч почувствовал себя в затруднительном положении.

— Милости просим,— пробормотал он, краснея до слез и не зная, как и что солгать.—Я очень рад,—продолжал он, стараясь улыбнуться,— но... Зина уехала, а мама больна.

— Какая досада! — сказал исправник, задумчиво глядя на Петра Михайлыча.— А я собирался провести у вас вечер. Куда же уехала Зинаида Михайловна?

— К Синицким, а оттуда, кажется, хотела в монастырь. Не знаю наверное.

Исправник поговорил еще немного и повернул назад. Петр Михайлыч шел домой и с ужасом думал о том, какое чувство будет у исправника, когда он узнает правду. И Петр Михайлыч вообразил себе это чувство и, испытывая его, вошел в дом.

«Помоги, господи, помоги...» — думал он.

В столовой за вечерним чаем сидела одна только тетка. По обыкновению, на лице у нее было такое выражение, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидеть себя никому не позволит. Петр Михайлыч сел на другой конец стола (он не любил тетки) и стал молча пить чай.

— Твоя мать сегодня опять не обедала,— сказала тетка.— Ты бы, Петруша, обратил внимание. Морить себя будешь голодом, этим горю не пособишь.

Петру Михайлычу показалось нелепым, что тетка вмешивается в чужие дела и свой отъезд ставит в зависимость от того, что ушла Зина. Он хотел сказать ей дерзость, но сдержал себя. И, сдерживая себя, он почувствовал, что настала подходящая пора, чтобы действовать, и что терпеть долее нет сил. Или действовать сейчас же, или же упасть на пол, кричать и биться головой о пол. Он вообразил Власича и Зину, как они оба, либеральные и довольные собой, целуются теперь где-нибудь под кленом, и все тяжелое и злобное, что скоплялось в нем в течение семи дней, навалилось на Власича.

«Один обольстил и украл сестру,— подумал он, — другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом

или ограбит... И все это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!»

— Нет, этого не будет! — вдруг крикнул Петр Михайлыч и ударил кулаком по столу.

Он вскочил и выбежал из столовой. В конюшне стояла оседланная лошадь управляющего. Он сел на нее и поскакал к Власичу.

В душе у него происходила целая буря. Он чувствовал потребность сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, резкое, хотя бы потом пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецом, дать ему пощечину и потом вызвать на дуэль? Но Власич не из тех, которые дерутся на дуэли, от подлеца же и пощечины он станет только несчастнее и глубже уйдет в самого себя. Эти несчастные, безответные люди — самые несносные, самые тяжелые люди. Им все проходит безнаказанно. Когда несчастный человек, в ответ на заслуженный упрек, взглянет своими глубокими виноватыми глазами, болезненно улыбнется и покорно подставит голову, то, кажется, у самой справедливости не хватит духа поднять на него руку.

«Все равно. Я при ней ударю его хлыстом и наговорю ему дерзостей»,— решил Петр Михайлыч.

Он ехал своим лесом и пустырями и воображал, как Зина, чтобы оправдать свой поступок, будет говорить о правах женщины, о свободе личности и о том, что между церковным и гражданским браком нет никакой разницы. Она по-женски будет спорить о том, чего не понимает. И, вероятно, в конце концов она спросит: «При чем ты тут? Какое ты имеешь право вмешиваться?»

— Да, я не имею права,— пробормотал Петр Михайлыч.— Но тем лучше... Чем грубее, чем меньше права, тем лучше.

Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Все предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлыч переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось

темным утесом, была красная церковь; он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде. В версте от церкви направо темнеет роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.

Из-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали бледные молнии.

«Вот оно что! — подумал Петр Михайлыч. — Помоги, господи, помоги».

Лошадь от быстрой езды скоро устала, и сам Петр Михайлыч устал. Грозовая туча сердито смотрела на него и как будто советовала вернуться домой. Стало немножко жутко.

«Я им докажу, что они не правы! — подбодрял он себя. — Они будут говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но ведь свобода — в воздержании, а не в подчинении страстям. У них разврат, а не свобода!»

Вот большой графский пруд; от тучи он посинел и нахмурился; повеяло от него сыростью и тиной. Около гати две ивы, старая и молодая, нежно прислонились друг к другу. На этом самом месте недели две назад Петр Михайлыч и Власич шли пешком и пели вполголоса студенческую песню: «Не любить — погубить, значит, жизнь молодую...» Жалкая песня!

Когда Петр Михайлыч ехал через рощу, гремел гром и деревья шумели и гнулись от ветра. Надо было торопиться. От рощи до усадьбы Власича оставалось еще проехать лугом не более версты. Тут по обе стороны дороги стояли старые березы. Они были так же печальны и несчастны на вид, как их хозяин Власич, так же были тощи и высоко вытянулись, как он. В березах и в траве зашуршал крупный дождь; ветер тотчас же стих, и запахло мокрою землей и тополем. Вон показалась изгородь Власича с желтою акацией, которая тоже тоща и вытянулась; там, где решетка обвалилась, виден запущенный фруктовый сад.

Петр Михайлыч не думал уже ни о пощечине, ни о хлысте и не знал, что будет он делать у Власича. Он струсил. Ему было страшно за себя и за сестру, и

было жутко, что он ее сейчас увидит. Как она будет держать себя с братом? О чем они оба будут говорить? И не вернуться ли назад, пока не поздно? Думая так, он по липовой аллее поскакал к дому, обогнул широкие кусты сирени и вдруг увидел Власича.

Власич без шляпы, в ситцевой рубахе и высоких сапогах, согнувшись под дождем, шел от угла дома к крыльцу; за ним работник нес молоток и ящик с гвоздями. Должно быть, починяли ставню, которая хлопала от ветра. Увидев Петра Михайлыча, Власич остановился.

— Это ты? — сказал он и улыбнулся.— Ну, вот и хорошо.

— Да, приехал, как видишь...— тихо проговорил Петр Михайлыч, стряхивая с себя дождь обеими руками.

— Ну, вот и ладно. Очень рад,— сказал Власич, но руки не подал: очевидно, не решался и ждал, когда ему подадут.— Для овсов хорошо! — сказал он и поглядел на небо.

— Да.

Молча вошли в дом. Направо из передней вела дверь в другую переднюю и потом в залу, а налево — в маленькую комнату, где зимою жил приказчик. Петр Михайлыч и Власич вошли в эту комнату.

— Тебя где дождь захватил? — спросил Власич.

— Недалеко. Почти около дома.

Петр Михайлыч сел на кровать. Он был рад, что шумел дождь и что в комнате было темно. Этак лучше: не так жутко и не нужно собеседнику в лицо смотреть. Злобы у него уже не было, а были страх и досада на себя. Он чувствовал, что дурно начал и что из этой его поездки не выйдет никакого толку.

Оба некоторое время молчали и делали вид, что прислушиваются к дождю.

— Спасибо, Петруша,— начал Власич, кашлянув.— Я очень благодарен тебе, что ты приехал. Это великодушно и благородно с твоей стороны. Я это понимаю и, верь мне, ценю высоко. Верь мне.

Он поглядел в окно и продолжал, стоя среди комнатки:

— Все произошло как-то тайно, точно мы скрывались от тебя. Сознание, что ты, быть может, оскорблен нами и сердишься, все эти дни лежало пятном на нашем счастье. Но позволь оправдаться. Действовали мы тайно не потому, что тебе мало доверяли. Во-первых, все произошло внезапно, по какому-то вдохновению, и рассуждать было некогда. Во-вторых, это дело интимное, щекотливое... было неловко вмешивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, как ты. Главное же, во всем этом мы сильно рассчитывали на твое великодушие. Ты великодушнейший, благороднейший человек. Я тебе бесконечно благодарен. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Власич говорил тихим, глухим басом, все в одну ноту, будто гудел; он, видимо, волновался. Петр Михайлыч почувствовал, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него в самом деле разыгрывать из себя великодушнейшего и благороднейшего простака, а он не за этим сюда приехал. Он быстро поднялся и сказал вполголоса, задыхаясь:

— Послушай, Григорий, ты знаешь, я любил тебя и лучшего мужа для своей сестры не желал; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!

— Почему же страшно? — спросил Власич дрогнувшим голосом.— Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но ведь этого нет!

— Послушай, Григорий, ты знаешь, я без предрассудков; но, извини за откровенность, по моему мнению, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу Зине, это ее огорчит, но ты должен знать: мать страдает до такой степени, что описать трудно.

— Да, это грустно,— вздохнул Власич.— Мы это предвидели, Петруша, но что же мы должны были делать? Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен. Что делать! Всякий твой серьезный шаг неминуемо должен огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошел сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что делать!

Кто выше всего ставит покой своих близких, тот должен совершенно отказаться от идейной жизни.

За окном ярко сверкнула молния, и этот блеск как будто изменил течение мыслей у Власича. Он сел рядом с Петром Михайлычем и заговорил совсем не то, что нужно.

— Я, Петруша, благоговею перед твоею сестрой,— сказал он.— Когда я ездил к тебе, то всякий раз у меня бывало такое чувство, как будто я шел на богомолье, и я в самом деле молился на Зину. Теперь мое благоговение растет с каждым днем. Она для меня выше, чем жена! Выше! (Власич взмахнул руками.) Она моя святыня. С тех пор, как она живет у меня, я вхожу в свой дом, как в храм. Это редкая, необыкновенная, благороднейшая женщина!

«Ну, завел свою шарманку!» — подумал Петр Михайлыч; слово «женщина» ему не понравилось.

— Отчего бы вам не жениться по-настоящему? — спросил он.— Сколько твоя жена хочет за развод?

— Семьдесят пять тысяч.

— Многовато. А если поторговаться?

— Не уступит ни копейки. Это, брат, ужасная женщина! — вздохнул Власич.— Я тебе раньше о ней никогда не говорил, было противно вспоминать, но вот пришлось к случаю, упоминаю. Женился я на ней под влиянием хорошей, честной минуты. В нашем полку, если хочешь подробностей, один батальонный командир сошелся с восемнадцатилетней девицей, то есть попросту обольстил ее, пожил с ней месяца два и бросил. Очутилась она, брат, в ужаснейшем положении. К родителям возвращаться совестно, да и не примут, любовник бросил,— хоть иди в казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость уж очень глаза резала. Батальонного к тому же в полку все терпеть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали все негодующие прапорщики и подпоручики собирать деньги по подписке в пользу несчастной девицы. Ну, вот, когда мы, младшие оберофицеры, собрались на совещание и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдруг

загорелась голова. Обстановка показалась мне слишком подходящею для подвига. Я поспешил к девице и в горячих выражениях высказал ей свое сочувствие. И пока я шел к ней и потом говорил, я горячо любил ее, как униженную и оскорбленную. Да... Ну, вышло так, что через неделю после этого я сделал ей предложение. Начальство и товарищи нашли брак мой несовместимым с достоинством офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написал длинное письмо, в котором доказал, что мой поступок должен быть записан в истории полка золотыми буквами и прочее. Письмо послал командиру, а копии товарищам. Ну, конечно, был возбужден и не обошлось без резкостей. Меня попросили оставить полк. Где-то у меня спрятан черновик, я тебе дам прочесть как-нибудь. Написано с большим чувством. Ты увидишь, какие я переживал честные, светлые минуты. Подал я в отставку и приехал с женой сюда. После отца остались кое-какие должишки, денег у меня не было, а жена с первого же дня завела знакомства, стала щеголять и играть в карты, и я вынужден был заложить имение. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и из всех моих соседей только один ты не был ее любовником. Года через два дал я ей отступного, все, что у меня было тогда, и она уехала в город. Да... И теперь я выплачиваю ей по тысяче двести ежегодно. Ужасная женщина! Есть, брат, муха, которая кладет личинку на спину паука таким образом, что тот никак не может сбросить ее; личинка прирастает к пауку и пьет из его сердца кровь. Точно так же вот приросла ко мне и пьет из моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидит и презирает меня за то, что я сделал глупость, то есть женился на такой женщине, как она. Мое великодушие кажется ей жалким. «Умный человек, говорит, бросил меня, а дурак подобрал». По ее мнению, только жалкий идиот мог поступить так, как я. И мне, брат, это невыносимо горько. Вообще, брат, скажу в скобках, гнет меня судьба. В дугу гнет.

Петр Михайлыч слушал Власича и в недоумении спрашивал себя: чем этот человек мог так понравить-

ся Зине? Немолодой,— ему уже сорок один год,— тощий, сухопарый, узкогрудый, с длинным носом, с проседью в бороде. Говорит он — точно гудёт, улыбается болезненно и, разговаривая, некрасиво взмахивает руками. Ни здоровья, ни красивых мужественных манер, ни светскости, ни веселости, а так, с внешней стороны, что-то тусклое и неопределенное. Одевается он безвкусно, обстановка у него унылая, поэзии и живописи он не признает, потому что они «не отвечают на запросы дня», то есть он не понимает их; музыка его не трогает. Хозяин он плохой. Имение у него приведено в полное расстройство и заложено; по второй закладной он платит двенадцать процентов и, кроме того, по векселям еще должен тысяч десять. Когда приходит время платить проценты или высылать жене деньги, он просит у всех взаймы с таким выражением, как будто у него дома пожар, и в это время очертя голову продает он весь свой зимний запас хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потом велит топить свои печи садовою решеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него потравлены свиньями, в лесу по молодняку ходит мужицкий скот, а старых деревьев с каждой зимой становится все меньше и меньше; в огороде и в саду валяются пасечные колодки и ржавые ведра. У него нет ни талантов, ни дарований и нет даже обыкновенной способности жить, как люди живут. В практической жизни это наивный, слабый человек, которого легко обмануть и обидеть, и мужики недаром называют его «простоватым».

Он либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности и пафоса; возмущается, негодует и радуется он как-то все в одну ноту, не эффектно и вяло. Даже в минуты сильного воодушевления он не поднимает головы и остается сутулым. Но скучнее всего, что даже свои хорошие, честные идеи он умудряется выражать так, что они кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда он медленно, с глубокомысленным видом, начинает толковать про честные, свет-

лые минуты, про лучшие годы или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идет впереди общества, или порицает русских людей за то, что они в тридцать лет надевают халат и забывают заветы своей almae matris[1]. Когда остаешься у него ночевать, то он кладет на ночной столик Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читал, то он выйдет и принесет Добролюбова.

Это называлось в уезде вольнодумством, и многие смотрели на это вольнодумство, как на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сделало его глубоко несчастным. Оно было для него тою личинкой, о которой он только что говорил: крепко приросло к нему и пило из его сердца кровь. В прошлом странный брак во вкусе Достоевского, длинные письма и копии, писанные плохим, неразборчивым почерком, но с большим чувством, бесконечные недоразумения, объяснения, разочарования, потом долги, вторая закладная, жалованье жене, ежемесячные займы — и все это никому не в пользу, ни себе, ни людям. И в настоящем, как прежде, все он торопится, ищет подвига и суется в чужие дела; по-прежнему, при всяком удобном случае, длинные письма и копии, утомительные шаблонные разговоры об общине или о поднятии кустарной промышленности, или об учреждении сыроварен,— разговоры, похожие один на другой, точно он приготовляет их не в живом мозгу, а машинным способом. И, наконец, этот скандал с Зиной, который неизвестно чем еще кончится!

А между тем сестра Зина молода,— ей только двадцать два года,— хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтунья, спорщица, страстная музыкантша; она знает толк в нарядах, в книгах и в хорошей обстановке, и у себя дома не потерпела бы такой комнатки, как эта, где пахнет сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но в ее вольнодумстве чувствуется избыток сил, тщеславие молодой, сильной, смелой девушки, страстная жажда быть лучше

---

[1] матери-кормилицы — старинное название высшей школы (*лат.*).

и оригинальнее других... Как же могло случиться, что она полюбила Власича?

«Он — Дон-Кихот, упрямый фанатик, маньяк,— думал Петр Михайлыч,— а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, как я... Мы с ней сдаемся скоро и без сопротивления. Она полюбила его; но разве я сам не люблю его, несмотря ни на что...»

Петр Михайлыч считал Власича хорошим, честным, но узким и односторонним человеком. В его волнениях и страданиях да и во всей его жизни он не видел ни ближайших, ни отдаленных высших целей, а видел только скуку и неуменье жить. Его самоотвержение и все то, что Власич называл подвигом или честным порывом, представлялось ему бесполезною тратой сил, ненужными холостыми выстрелами, на которые шло очень много пороху. А то, что Власич фанатически верил в необыкновенную честность и непогрешимость своего мышления, казалось ему наивным и даже болезненным; и то, что Власич всю свою жизнь как-то ухитрялся перепутывать ничтожное с высоким, что он глупо женился и считал это подвигом, и потом сходился с женщинами и видел в этом торжество какой-то идеи,— это было просто непонятно.

Но все-таки Петр Михайлыч любил Власича, чувствовал присутствие в нем какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духу противоречить ему.

Власич подсел совсем близко, чтобы потолковать под шумок дождя, в темноте, и уже откашлялся, готовый рассказать что-нибудь длинное, вроде истории своей женитьбы; но Петру Михайлычу невыносимо было слушать; его томила мысль, что сейчас он увидит сестру.

— Да, тебе не везло в жизни,— сказал он мягко,— но, извини, мы с тобой уклонились от главного. Мы не о том говорим.

— Да, да, в самом деле. Так вот вернемся к главному,— сказал Власич и встал.— Я говорю тебе, Петруша: совесть наша чиста. Мы не венчаны, но что брак наш вполне законен,— не мне доказывать и не

тебе слушать. Ты так же свободно мыслишь, как я, и, слава богу, разногласия у нас на этот счет не может быть. Что же касается до нашего будущего, то оно не должно пугать тебя. Я буду работать до кровавого пота, не спать ночей,— одним словом, я напрягу все силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ее будет прекрасной. Ты спросишь, сумею ли я это сделать? Сумею, брат! Когда человек думает каждую минуту все об одном и том же, то ему нетрудно добиться, чего он хочет. Но пойдем к Зине. Надо ее обрадовать.

У Петра Михайлыча забилось сердце. Он встал и пошел за Власичем в переднюю, а оттуда в залу. В этой громадной, угрюмой комнате был только фортепьян да длинный ряд старинных стульев с бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепьяне горела одна свеча. Из залы молча прошли в столовую. Тут тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый стол из двух половинок на шести толстых ногах и только одна свеча. Часы в большом красном футляре, похожем на киот, показывали половину третьего.

Власич отворил дверь в соседнюю комнату и сказал:

— Зиночка, у нас Петруша!

Тотчас же послышались торопливые шаги, и в столовую вошла Зина, высокая, полная и очень бледная, какою Петр Михайлыч видел ее в последний раз дома,— в черной юбке и в красной кофточке с большою пряжкой на поясе. Она одною рукой обняла брата и поцеловала его в висок.

— Какая гроза! — сказала она.— Григорий ушел куда-то, и я осталась одна на весь дом.

Она не была смущена и смотрела на брата искренно и ясно, как дома; глядя на нее, и Петр Михайлыч перестал испытывать смущение.

— Но ведь ты не боишься грозы,— сказал он, садясь за стол.

— Да, но здесь огромные комнаты, дом старый и весь звенит от грома, как шкап с посудой. Вообще миленький домик,— продолжала она, садясь против

брата.— Тут, что ни комната, то какое-нибудь приятное воспоминание. В моей комнате, можешь себе представить, застрелился дедушка Григория.

— В августе будут деньги, ремонтирую флигель в саду,— сказал Власич.

— Почему-то во время грозы вспоминается дедушка,— продолжала Зина.— А в этой столовой засекли насмерть какого-то человека.

— Это действительный факт,— подтвердил Власич и посмотрел большими глазами на Петра Михайлыча.— В сороковых годах это имение арендовал некий Оливьер, француз. Портрет его дочери валяется у нас теперь на чердаке. Очень хорошенькая. Этот Оливьер, как рассказывал мне отец, презирал русских за невежество и глумился над ними жестоко. Так, он требовал, чтобы священник, проходя мимо усадьбы, снимал шапку за полверсты, и когда семейство Оливьеров проезжало через деревню, то чтоб звонили в церкви. С крепостными и вообще с малыми мира сего он, конечно, церемонился еще меньше. Как-то проходил здесь по дороге один из благодушнейших сынов бродячей Руси, что-то вроде гоголевского бурсака Хомы Брута. Попросился он ночевать, понравился тут приказчикам, и его оставили при конторе. Существует много вариаций. Одни говорят, что бурсак волновал крестьян, другие же — будто его полюбила дочь Оливьера. Не знаю, что верно, но только в один прекрасный вечер позвал его сюда Оливьер и сделал ему допрос, потом же приказал его бить. Понимаешь ли, сам сидит за этим столом и бордо пьет, а конюхи бьют бурсака. Должно быть, пытал. К утру бурсак умер от истязаний, и труп его спрятали куда-то. Говорят, что в пруд Колтовича бросили. Подняли дело, но француз заплатил кому следует несколько тысяч и уехал в Эльзас. Кстати же подошел срок аренды, тем дело и кончилось.

— Какие негодяи! — проговорила Зина и вздрогнула.

— Мой отец хорошо помнил и Оливьера и его дочь. Говорил, что красавица была замечательная и притом эксцентричная. Я думаю, что бурсак все вме-

сте: и крестьян волновал и дочь увлек. Может быть, даже это был вовсе не бурсак, а инкогнито какой-нибудь.

Зина задумалась: история бурсака и красивой француженки, по-видимому, унесла ее воображение далеко. Как казалось Петру Михайлычу, она наружно нисколько не изменилась в последнюю неделю, только стала немножко бледнее. Она глядела покойно и обыкновенно, как будто вместе с братом приехала к Власичу в гости. Но Петр Михайлыч чувствовал, что произошла какая-то перемена в нем самом. В самом деле, прежде, когда она жила дома, он мог говорить с нею решительно обо всем, теперь же он был не в силах задать даже простого вопроса: «Как тебе живется здесь?» Этот вопрос казался неловким и ненужным. Должно быть, такая же перемена произошла и в ней. Она не спешила заводить разговор о матери, о доме, о своем романе с Власичем; она не оправдывалась, не говорила, что гражданский брак лучше церковного, не волновалась и покойно задумалась над историей Оливьера... И почему вдруг заговорили об Оливьере?

— У вас у обоих плечи мокрые от дождя,— сказала Зина и радостно улыбнулась; она была тронута этим маленьким сходством между братом и Власичем.

И Петр Михайлыч почувствовал всю горечь и весь ужас своего положения. Он вспомнил свой опустевший дом, закрытый рояль и Зинину светленькую комнату, в которую теперь уже никто не входит; он вспомнил, что на аллеях в саду уже нет следов от маленьких ног и что перед вечерним чаем уже никто с громким смехом не уходит купаться. То, к чему он больше и больше привязывался с самого раннего детства, о чем любил думать, когда сидел, бывало, в душном классе или в аудитории,— ясность, чистота, радость, все, что наполняло дом жизнью и светом, ушло безвозвратно, исчезло и смешалось с грубою, неуклюжею историей какого-то батальонного командира, великодушного прапорщика, развратной бабы, застрелившегося дедушки... И начинать разговор о матери

или думать, что прошлое может вернуться, значило бы не понимать того, что ясно.

Глаза у Петра Михайлыча наполнились слезами, и рука, лежавшая на столе, задрожала. Зина угадала, о чем он думал, и глаза ее тоже покраснели и заблестели.

— Григорий, поди сюда! — сказала она Власичу.

Оба отошли к окну и стали говорить о чем-то шепотом. И по тому, как Власич нагнулся к ней и как она смотрела на него, Петр Михайлыч еще раз понял, что все уже непоправимо кончено и что говорить ни о чем не нужно. Зина вышла.

— Так-то, брат,— заговорил Власич после некоторого молчания, потирая руки и улыбаясь.— Я давеча назвал нашу жизнь счастьем, но это подчиняясь, так сказать, литературным требованиям. В сущности же, ощущения счастья еще не было. Зина все время думала о тебе, о матери и мучилась; глядя на нее, и я мучился. Она натура свободная, смелая, но без привычки, знаешь, тяжело, да и молода к тому же. Прислуга называет ее барышней; кажется, пустяк, но это ее волнует. Так-то, брат.

Зина принесла полную тарелку земляники. За ней вошла маленькая горничная, на вид безответная и забитая. Она поставила на стол кувшин молока и поклонилась низко-низко... В ней было что-то общее со старинной мебелью, такое же оцепенелое и скучное.

Дождя уже не было слышно. Петр Михайлыч ел землянику, а Власич и Зина смотрели на него молча. Приближалось время ненужного, но неизбежного разговора, и все трое уже чувствовали его тяжесть. У Петра Михайлыча глаза опять наполнились слезами; он отодвинул от себя тарелку и сказал, что ему пора уже ехать домой, а то будет поздно и, пожалуй, опять пойдет дождь. Настала минута, когда Зина из приличия должна была заговорить о домашних и о своей новой жизни.

— Что у нас? — спросила она быстро, и ее бледное лицо задрожало.— Что мама?

— Ты маму знаешь...— ответил Петр Михайлыч, не глядя на нее.

— Петруша, ты долго думал о том, что произошло, — проговорила она, взявши брата за рукав, и он понял, как ей тяжело говорить.— Ты долго думал; скажи мне, можно ли рассчитывать, что мама когда-нибудь примирится с Григорием... и вообще с этим положением?

Она стояла близко к брату, лицом к лицу, и он изумился, что она так красива и что раньше он точно не замечал этого; и то, что его сестра, похожая лицом на мать, изнеженная, изящная, жила у Власича и с Власичем, около оцепенелой горничной, около стола на шести ногах, в доме, где засекли живого человека, что она сейчас не поедет с ним домой, а останется тут ночевать,— это показалось ему невероятным абсурдом.

— Ты маму знаешь...— сказал он, не отвечая на вопрос.— По-моему, следовало бы соблюсти... что-нибудь сделать, попросить у нее прощения, что ли...

— Но просить прощения — значит делать вид, что мы поступили дурно. Для успокоения мамы я готова солгать, но ведь это ни к чему не поведет. Я знаю маму. Ну, что будет, то будет! — сказала Зина, повеселевшая оттого, что самое неприятное было уже сказано.— Подождем пять, десять лет, потерпим, а там что бог даст.

Она взяла брата под руку и, когда проходила через темную переднюю, прижалась к его плечу.

Вышли на крыльцо. Петр Михайлыч простился, сел на лошадь и поехал шагом; Зина и Власич пошли проводить его немного. Было тихо, тепло, и чудесно пахло сеном; на небе меж облаков ярко горели звезды. Старый сад Власича, видевший на своем веку столько печальных историй, спал, окутавшись в потемки, и почему-то было грустно проезжать через него.

— А мы с Зиной сегодня после обеда провели несколько воистину светлых минут! — сказал Власич.— Я прочел ей вслух превосходную статью по переселенческому вопросу. Прочти, брат! Тебе это необходимо! Статья замечательная по честности! Я не выдержал и написал в редакцию письмо для передачи

автору. Написал только одну строчку: «Благодарю и крепко жму честную руку!»

Петр Михайлыч хотел сказать: «Не впутывайся ты, пожалуйста, не в свои дела!» — но промолчал.

Власич шел у правого стремени, а Зина у левого; оба как будто забыли, что нужно возвращаться домой, и было сыро, и уже немного оставалось до рощи Колтовича. Петр Михайлыч чувствовал, что они ждут от него чего-то, хотя сами не знают чего, и ему стало невыносимо жаль их. Теперь, когда они, с покорным видом и задумавшись, шли около лошади, он был глубоко убежден, что они несчастны и не могут быть счастливы, и их любовь казалась ему печальною, непоправимою ошибкой. От жалости и сознания, что он ничем не может помочь, им овладело то состояние душевного расслабления, когда он, чтобы избавиться от тяжелого чувства сострадания, готов бывал на всякие жертвы.

— Я к вам буду ездить ночевать,— сказал он.

Но это походило на то, как будто он делал уступку, и не удовлетворило его. Когда остановились около рощи Колтовича, чтобы проститься, он нагнулся к Зине, дотронулся до ее плеча и сказал:

— Ты, Зина, права. Ты хорошо поступила!

И, чтобы не сказать больше и не расплакаться, он ударил по лошади и поскакал в рощу. Въезжая в потемки, он оглянулся и увидел, как Власич и Зина шли домой по дороге,— он широко шагая, а она рядом с ним торопливою, подпрыгивающей походкой,— и о чем-то оживленно разговаривали.

«Я — старая баба,— подумал Петр Михайлыч.— Ехал затем, чтобы решить вопрос, но еще больше запутал его. Ну, да бог с ним!»

На душе у него было тяжело. Когда кончилась роща, он поехал шагом и потом около пруда остановил лошадь. Хотелось сидеть неподвижно и думать. Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне пруда. Где-то глухо погромыхивал гром. Петр Михайлыч не мигая смотрел на воду и воображал отчаяние сестры, ее страдальческую бледность и сухие глаза, с какими она будет скрывать от

людей свое унижение. Он вообразил себе ее беременность, смерть матери, ее похороны, ужас Зины... Гордая, суеверная старуха кончит не иначе, как смертью. Страшные картины будущего рисовались перед ним на темной гладкой воде, и среди бледных женских фигур он видел самого себя, малодушного, слабого, с виноватым лицом...

В ста шагах на правом берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человек это или высокий пень? Петр Михайлыч вспомнил про бурсака, которого убили и бросили в этот пруд.

«Оливьер поступил бесчеловечно, но ведь так или иначе он решил вопрос, а я вот ничего не решил, а только напутал,— подумал он, вглядываясь в темную фигуру, похожую на привидение.— Он говорил и делал то, что думал, а я говорю и делаю не то, что думаю; да и не знаю наверное, что, собственно, я думаю...»

Он подъехал к темной фигуре: это был старый гниющий столб, уцелевший от какой-то постройки.

Из рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами. Петр Михайлыч ехал по берегу пруда и печально глядел на воду и, вспоминая свою жизнь, убеждался, что до сих пор говорил он и делал не то, что думал, и люди платили ему тем же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить.

ПАЛАТА № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие

брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе,— ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда

встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не

его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще недопетых песен.

II

Лет двенадцать — пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят — семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная

животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастия внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину,

чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем —

все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его,— думал он,— то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная

тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа—старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гна-

лись собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным гла-

зам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

— Поздравьте меня,— говорит он часто Ивану Дмитричу,— я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение,— улыбается он, в недоумении пожимая плечами.— Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю,— угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь?— продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза.— Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в

какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливает-

ся, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По

его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю...» или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность,— для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бес-

содержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази

или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого,— говорит он,— что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время...— отвечает он.— Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу.— Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад,— отвечает ему доктор.— Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.

— Как жаль,— говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза),—как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать,— продолжает доктор тихо и с расстановкой,— что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума,— значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч.— Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приклю-

чения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка...— вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними,— говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча.— Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастием, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внима-

тельно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? — думает он. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки

сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал не-

возможными даже in spe[1]. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза.— Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром

---

[1] в будущем *(лат.)*.

получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумя стами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати,— высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо,— подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками.— Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита,— сказал мягко Андрей Ефимыч.— Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал.— Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой.— Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть.— Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. — Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня, — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда...— проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб.— Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите,— сказал он, щуря глаза.— Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться,— сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время

очень понравилось.— Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано,— проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия.— Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван,— угрюмо проговорил Иван Дмитрич.— Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил.— Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко

мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич.— Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение,— значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся.— А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, хватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич.— Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру.— За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым

можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

X

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг,— сказал Андрей Ефимыч.— Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг,— проговорил Иван Дмитрич в подушку,— а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно...— пробормотал Андрей Ефимыч в смущении.— Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны.— Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор.— Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание,— это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы,— сказал он.— Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то

разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите,— сказал доктор.— Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город,— сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок,— потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы,— сказал Андрей Ефимыч.— Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение... — поморщился Иван Дмитрич.— Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только,— сказал он, вставая и сердито глядя на доктора,— я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния,— и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика,— или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ,— продолжал Иван Дмитрич с раздражением, — и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не бу-

дет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился,— сказал он.— О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом,— сказал он.— Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета-сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать, и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете. все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит

совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрич.— Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору,— сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно,— ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально,— сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки.— Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, повидимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое

резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся, — говорил Иван Дмитрич с раздражением. — С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пиявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, — проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. — И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримас-

ничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов.— Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

XII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Ан-

дрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с,— обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол.— Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад,— продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом,— что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет,— засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится,— согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский началь-

ник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой,— думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его,— ведь они так недавно слуша-

ли психиатрию, держали экзамен,— откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! — и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: — Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет,— такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой.— Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами.

На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше раз-

влечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастию, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия,— думал доктор с досадой.— Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич,— думал он, сердясь на свою мелочность.— Впрочем, вздор... Приеду домой, и все пойдет по-старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом.— Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч.— Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой,— обратился он к доктору,— презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой,— сказал ему робко почтмейстер,— извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю,— проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора.— Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал по крайней мере тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке прихо-

дил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до

вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил не честно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными

и были мучительны и для Андрея Ефимыча и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой,— начал Михаил Аверьяныч,— у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега,— сказал Хоботов, зевая.— Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч.— Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит,— утешал Хоботов.— Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену.— Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем.— Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом.— Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пóшло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну.— Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом.— Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч.— Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени.— К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло,— сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку.— Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули.— Подай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо.— Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое,— продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу.— Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность,— зашептал Михаил Аверьяныч,— вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон [1], между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу.— Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и

[1] человек дурного тона (*франц.— mauvais ton*).

тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить,— сказал Андрей Ефимыч с раздражением.— Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого

некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких,— сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату.— Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие,— сказал он тихо.— Вот ваша постелька, пожалуйте сюда,— добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать.— Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст,— повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Все равно...— думал Андрей Ефимыч, стыдливо

запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта.— Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение...— проговорил он, разводя руками в недоумении.— Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз.— Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение,— проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — Недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он.— И что горь-

ко и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой,— пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот.— Пал духом.

— А вы пофилософствуйте,— сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но фило-

софствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда,— сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить.— Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... прострация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,— сказал он.— Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он.— Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами.— Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом.— Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил.— Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича.— Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь.— Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом.— Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита.— Поговори!

— По крайней мере поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич.— Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь.— Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание;

он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне все равно,— думал он, когда ему задавали вопросы.— Отвечать не стану... Мне все равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий

озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

СТРАХ

Рассказ моего приятеля

Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в тридцать лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда и потом за ужином боролся с дремотой и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтоб день прошел — и слава богу.

Я любил бывать у него и, случалось, гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил и его дом, и парк, и большой фруктовый сад, и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любил и его самого, хотя не могу сказать этого наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах. Это был умный, добрый, нескучный и искренний человек, но помню очень хорошо, что когда он поверял мне свои сокровенные тайны и называл наши отношения дружбою, то это неприятно волновало меня, и я чувствовал неловкость. В его дружбе ко мне было что-то не-

удобное, тягостное, и я охотно предпочел бы ей обыкновенные приятельские отношения.

Дело в том, что мне чрезвычайно нравилась его жена, Мария Сергеевна. Я влюблен в нее не был, но мне нравились ее лицо, глаза, голос, походка, я скучал по ней, когда долго не видал ее, и мое воображение в то время никого не рисовало так охотно, как эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ее я не имел никаких определенных намерений и ни о чем не мечтал, но почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем, я вспоминал, что ее муж считал меня своим другом, и мне становилось неловко. Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что он мой друг и что она сама считает меня его другом, настроение мое портилось, и я становился вял, неловок и скучен. Она замечала эту перемену и обыкновенно говорила:

— Вам скучно без вашего друга. Надо послать за ним в поле.

И когда приходил Дмитрий Петрович, она говорила:

— Ну, вот теперь пришел ваш друг. Радуйтесь.

Так продолжалось года полтора.

Как-то раз в одно из июльских воскресений я и Дмитрий Петрович от нечего делать поехали в большое село Клушино, чтобы купить там к ужину закусок. Пока мы ходили по лавкам, зашло солнце и наступил вечер, тот вечер, которого я, вероятно, не забуду никогда в жизни. Купивши сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы, от которой пахло дегтем, мы отправились в трактир спросить, нет ли пива. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будем ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смеялись над своими покупками, а за нами молча и с таинственным видом, точно сыщик, следовал человек, имевший у нас в уезде довольно странное прозвище: Сорок Мучеников. Этот Сорок Мучеников был не кто иной, как Гаврила Се-

веров, или попросту Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мною за пьянство. Он служил и у Дмитрия Петровича и им тоже был уволен все за тот же грех. Это был лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такою же беспутною, как он сам. Отец у него был священник, а мать дворянка, значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному, но как я ни всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже седеющую бороду, в жалкенький рваный пиджак и красную рубаху навыпуск, я никак не мог найти даже следа того, что у нас в общежитии зовется привилегиями. Он называл себя образованным и рассказывал, что учился в духовном училище, где курса не кончил, так как его уволили за курение табаку; затем пел в архиерейском хоре и года два жил в монастыре, откуда его тоже уволили, но уж не за курение, а за «слабость». Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошения в консистории и в разные присутственные места, четыре раза был под судом. Наконец, застрявши у нас в уезде, он служил в лакеях, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове-кухарке и окончательно погряз в холуйскую жизнь и так сжился с ее грязью и дрязгами, что уже сам говорил о своем привилегированном происхождении с некоторым недоверием, как о каком-то мифе. В описываемое время он шатался без места, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала где-то без вести.

Из трактира мы пошли к церкви и сели на паперти в ожидании кучера. Сорок Мучеников стал поодаль и поднес руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть в нее, когда понадобится. Было уже темно; сильно пахло вечерней сыростью, и собиралась восходить луна. На чистом, звездном небе было только два облака и как раз над нами: одно большое, другое поменьше; они одинокие, точно мать с дитятею, бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря.

— Славный сегодня день,— сказал Дмитрий Петрович.

— До чрезвычайности...— согласился Сорок Му-

чеников и почтительно кашлянул в руку.— Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать? — спросил он вкрадчивым голосом, видимо желая завязать разговор.

Дмитрий Петрович ничего не ответил. Сорок Мучеников глубоко вздохнул и проговорил тихо, не глядя на нас:

— Страдаю единственно через причину, за которую должен дать ответ всемогущему богу. Оно, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совести: без куска хлеба и хуже собаки... Простите, Дмитрий Петрович!

Силин не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий, багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки: это деревушка... Там пели песню.

На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражения звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились... Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь:

— Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?

— Страшно то, что непонятно.

— А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?

Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода — чернее сажи.

Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим, по обыкновению, умоляющим голосом:

— Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон; этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час, моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает все, что видит и слышит, а я вот утерял это «кажется» и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь — боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

— Что же, собственно, вам страшно? — спросил я.

— Мне все страшно. Я человек от природы неглубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь в высь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я не способен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня; я сознаю, что условия жизни и воспитание заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обма-

нывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил я в Петербурге на службу и испугался, приехал сюда, чтоб заняться сельским хозяйством, и тоже испугался... Я вижу, что мы мало знаем и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клевещем, заедаем чужой век, расходуем все свои силы на вздор, который нам не нужен и мешает нам жить, и это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно. Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков, я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди; если же цель и смысл жизни — в нужде и непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ничего я не понимаю. Извольте-ка вы понять вот этого субъекта! — сказал Дмитрий Петрович, указывая на Сорок Мучеников.— Вдумайтесь!

Заметив, что оба мы посмотрели на него, Сорок Мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал:

— У хороших господ я завсегда был верной слугой, но главная причина — спиртные напитки. Ежели бы мне теперь уважили, несчастному человеку, и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо!

Церковный сторож прошел мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил десять.

— Однако уже десять часов! — сказал Дмитрий Петрович.— Пора бы уж нам ехать. Да, голубчик мой,— вздохнул он,— если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных, житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтоб не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтоб крепко спать ночью. Дети, жена — у других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик!

Он помял руками лицо, крякнул и засмеялся.

— Если б я мог рассказать вам, какого я дурака разыграл в жизни! — сказал он.— Мне все говорят: у вас милая жена, прелестные дети и сами вы прекрасный семьянин. Думают, что я очень счастлив, и завидуют мне. Ну, коли на то пошло, то скажу вам по секрету: моя счастливая семейная жизнь — одно только печальное недоразумение, и я боюсь ее.

Его бледное лицо стало некрасивым от напряженной улыбки. Он обнял меня за талию и продолжал вполголоса:

— Вы мой искренний друг, я вам верю и глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Позвольте же мне воспользоваться вашим дружеским расположением ко мне и высказать вам всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вам такою восхитительной,— мое главное несчастье и мой главный страх. Я женился странно и глупо. Надо вам сказать, что до свадьбы я любил Машу безумно и ухаживал за нею два года. Я делал ей предложение пять раз, и она отказывала мне, потому что была ко мне совершенно равнодушна. В шестой раз, когда я, угоревши от любви, ползал перед ней на коленях и просил руки, как милостыни, она согласилась... Так она сказала мне: «Я вас не люблю, но буду вам верна...» Такое условие я принял с восторгом. Я тогда понимал, что́ это значит, но теперь, клянусь богом, не понимаю. «Я вас не люблю, но буду вам верна»,— что́ это значит? Это туман, потемки... Я люблю ее теперь так же сильно, как в первый день свадьбы, а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна и, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дому. Я не знаю наверное, любит она меня или нет, не знаю, не знаю, но ведь мы живем под одной крышей, говорим друг другу «ты», спим вместе, имеем детей, собственность у нас общая... Что же это значит? К чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчик? Жестокая пытка! Оттого, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе, все у меня в голове перепуталось, я мучаю себя и тупею, а как назло она с каж-

дым днем все хорошеет, она становится удивительной... По-моему, волосы у нее замечательные, а улыбается она, как ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь уже двух детей! Разве это понятно и не страшно? Разве это не страшнее привидений?

Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго, но, к счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и Сорок Мучеников, сняв шапку, подсадил нас обоих и с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам.

— Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти,— проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову набок.— Явите божескую милость! Пропадаю с голоду!

— Ну, ладно,— сказал Силин.— Приходи, поживешь три дня, а там увидим.

— Слушаю-с! — обрадовался Сорок Мучеников.— Я сегодня же приду-с.

До дому было шесть верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что, наконец, высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе — значит, быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги.

А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую

какими-то особенными духами, похожими на мускус, и мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа.

Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу.

Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами минут десять и сказал:

— Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в три часа. Позвольте оставить вас.

Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель.

Мария Сергеевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому.

— Итак? — начал я, когда мы остались одни.— Итак, вы будете добры, сыграете что-нибудь.

Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и поглядела на меня.

— Вам скучно без вашего друга,— сказала она.

Я засмеялся.

— Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю.

Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину.

— Вы что хотите этим сказать? — спросила она, поднимая на меня свои большие ясные глаза.

Я ничего не ответил.

— Вы сказали неправду,— продолжала она, подумав.— Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петро-

вича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу.

«Эге!» — подумал я и, не зная, что сказать, спросил: — Хотите пройтись по саду?

— Нет.

Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки, и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь или никогда.

— Какая хорошая погода! — сказал я громко.

— Для меня это решительно все равно,— послышался ответ.

Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону.

— Почему же это для вас решительно все равно? — спросил я.

— Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем... это для вас не интересно.

Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что́ она скажет.

— Вы, пожалуйста, не церемоньтесь,— сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. — Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.

Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллей тянулись черные тени деревьев.

— Мне тоже нужно уезжать завтра,— сказал я.

— Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь, — проговорила она насмешливо. — Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влю-

бились в меня! Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею... Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно.

Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность, и тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такою чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза.

— Однако уже пора... Спокойной ночи,— проговорила она.

— Я не хочу спокойной ночи...— сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную.— Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной.

Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее.

Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне о его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!

В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка — все это улыбалось мне в тишине, спросонок, и, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье!

В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась.

Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тот-

час же узнал в нем Сорок Мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть.

— Ну, жизнь! — проговорил он.— Несчастная, горькая жизнь!

Глядя на его тощее согнутое тело и слушая тяжелые хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому.

«Жизнь, по его мнению, страшна,— думал я,— так не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать от нее».

На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею...

В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном, и я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов... Но все-таки далеко, где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость, и мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного — ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором — и баста.

Ровно в три часа она вышла от меня, и когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату.

К рассказу «Палата № 6».

Художник А. Пластов. 1954.

— Тут я забыл вчера свою фуражку...— сказал он, не глядя на меня.

Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом:

— Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю вас. У меня темно в глазах.

И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом: вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям.

Немного погодя уехал и я сам. Уже восходило солнце, и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел Сорок Мучеников, уже успевший где-то выпить, и молол пьяный вздор.

— Я человек вольный! — кричал он на лошадей.— Эй вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!

Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.

— Зачем я это сделал? — спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием.— Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? При чем тут фуражка?

В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

I

По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. Было ему около тридцати пяти лет, и звали его Георгием Иванычем.

К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.

Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет

кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.

У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что́, собственно, мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я — отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов.

Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург — не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям

и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, незлой насмешки. Перед тем, как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.

В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», — и все он прочитывал одинаково быстро и все с тем же ироническим выражением глаз.

После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.

Жили мы с ним тихо и мирно, и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения,— очевидно, не считал меня человеком.

Только один раз я видел его сердитым. Однаж-

ды,— это было через неделю после того, как я поступил к нему,— он вернулся с какого-то обеда часов в девять; лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:

— У нас в комнатах чем-то воняет.

— Нет, воздух чист,— ответил я.

— А я тебе говорю, что воняет,— повторил он раздраженно.

— Я каждый день отворяю форточки.

— Не рассуждай, болван! — крикнул он.

Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.

— В самом деле, какой дурной запах! — сказала она, поднимая брови.— Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.

— Черт их возьми! — пробормотал он.— Хотят, чтоб я имел чудовищную память!

Наконец, письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:

— Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.

Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать

с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.

— Зинаида Федоровна дома? — спросил я.

— Это я, — сказала дама.

— Письмо от Георгия Иваныча.

Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.

— Кланяйтесь и благодарите, — сказала она, кончив читать. — Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? — спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.

— Какие-то два господина, — ответил я. — Что-то пишут.

— Кланяйтесь и благодарите, — повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.

Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II

Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила

турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела, или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.

Оттого ли, что я не воровал вместе с нею, или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, нелакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял, и, случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:

— Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.

Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.

Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное, мечтательное настроение, я спросил:

— Поля, вы в бога веруете?

— А то как же!

— Стало быть, вы веруете,— продолжал я,— что будет Страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?

Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.

В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к «ты» и к постоянному лганью (говорить «ба-

рина нет дома». когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова нелегко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости — тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер.

III

По четвергам у нас бывали гости.

Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. Покупал игральных карт. Поля уже с утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. Глаза у него были большие, навыкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультом при

каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. На людей смотрел он только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. Иного деления у него не существовало. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Наказания нужны только для устрашения. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. И так далее. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год.

Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несоразмерность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. Губы у него были сердечком и стриженые усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. Это был человек с манерами ящерицы. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, особенно летом, когда для него изобретали разные командировки. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, не уверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, клянчить, льстить, обещать. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людьми, льстил Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: «Степан, ты женат?» — и затем следовали скабрёзные пошлости — знак особого ко мне внимания. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудитель-

ных обществ и уже на замечании у полиции. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы.

Третий гость — Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. Мне припоминаются его длинные бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал, что скоро перейдет опять в судебное ведомство. К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Пруткова: «Только на государственной службе познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощеньких детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. Жил он с семьей в долг, занимая, где и у кого попало при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. Это была натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. Куда его вели, туда и шел. Вели его в какой-нибудь притон — он шел, ставили перед ним вино — пил, не ставили — не пил; бранили при нем жен — и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: «Я ее, бедную, очень люблю». Шубы у него не было, и носил он всегда плед, от которого пахло детской. Когда за

ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо:

Что день грядущий мне готовит? —

но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля.

Гости обыкновенно сходились к десяти часам. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. Тут только я мог как следует постигнуть всю сладость лакейства. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать, или, как говорил Орлов, подзакусить. За ужином разговоры. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о религии — ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни — ирония, поднимал ли кто вопрос о народе — ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его

приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: «не обманешь — не продашь». И все в таком роде, и все смешно.

От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: *На дела благотворительности* и другая — *На физиологические потребности.* Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки: она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицерика», который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата несомненно преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов.

В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне, а я уходил к себе в лакейскую и долго не мог уснуть от головной боли и кашля.

IV

Недели через три после того, как я поступил к Орлову, помнится, в воскресенье утром, кто-то позвонил. Был одиннадцатый час, и Орлов еще спал. Я пошел отворить. Можете себе представить мое изумление: за дверью на площадке лестницы стояла дама с вуалью.

— Георгий Иваныч встал? — спросила она.

И по голосу я узнал Зинаиду Федоровну, к которой я носил письма на Знаменскую. Не помню, успел ли и сумел ли я ответить ей,— я был смущен ее появлением. Да и не нужен ей был мой ответ. В одно мгновение она шмыгнула мимо меня и, наполнив переднюю ароматом своих духов, которые я до сих пор еще прекрасно помню, ушла в комнаты, и шаги ее затихли. По крайней мере с полчаса потом ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонил. На этот раз какая-то расфранченная девушка, по-видимому горничная из богатого дома, и наш швейцар, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

— Это Зинаиде Федоровне,— сказала девушка.

И ушла, не сказав больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговевшей перед барскими шалостями, хитрую усмешку; она как будто хотела сказать: «Вот какие мы!» — и все время ходила на цыпочках. Наконец, послышались шаги; Зинаида Федоровна быстро вошла в переднюю и, увидев меня в дверях моей лакейской, сказала:

— Степан, дайте Георгию Иванычу одеться.

Когда я вошел к Орлову с платьем и сапогами, он сидел на кровати, свесив ноги на медвежий мех. Вся его фигура выражала смущение. Меня он не замечал и моим лакейским мнением не интересовался: очевидно, был смущен и конфузился перед самим собой, перед своим «внутренним оком». Одевался, умывался и

потом возился он со щетками и гребенками молча и не спеша, как будто давая себе время обдумать свое положение и сообразить, и даже по спине его заметно было, что он смущен и недоволен собой.

Пили они кофе вдвоем. Зинаида Федоровна налила из кофейника себе и Орлову, потом поставила локти на стол и засмеялась.

— Мне все еще не верится,— сказала она.— Когда долго путешествуешь и потом приедешь в отель, то все еще не верится, что уже не надо ехать. Приятно легко вздохнуть.

С выражением девочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмеялась.

— Вы мне простите,— сказал Орлов, кивнув на газеты.— Читать за кофе — это моя непобедимая привычка. Но я умею делать два дела разом: и читать и слушать.

— Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при вас. Но отчего у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по утрам или только сегодня? Вы не рады?

— Напротив. Но я, признаюсь, немножко ошеломлен.

— Отчего? Вы имели время приготовиться к моему нашествию. Я каждый день угрожала вам.

— Да, но я не ожидал, что вы приведете вашу угрозу в исполнение именно сегодня.

— И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой друг. Вырвать больной зуб сразу и — конец.

— Да, конечно.

— Ах, милый мой! — сказала она, зажмуривая глаза.— Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чем кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смеюсь; я рада, счастлива, но мне плакать хочется больше, чем смеяться. Вчера я выдержала целую баталию,— продолжала она по-французски.— Только один бог знает, как мне было тяжело. Но я смеюсь, потому что мне не верится. Мне кажется, что сижу я с вами и пью кофе не наяву, а во сне.

Затем она, продолжая говорить по-французски, рассказала, как вчера разошлась с мужем, и ее глаза то

наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением смотрели на Орлова. Она рассказала, что муж давно уже подозревал ее, но избегал объяснений; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно в самый разгар их он внезапно умолкал и уходил к себе в кабинет, чтобы вдруг в запальчивости не высказать своих подозрений и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Федоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый, серьезный шаг и от этого с каждым днем все сильнее ненавидела себя и мужа и мучилась, как в аду. Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: «Когда же все это кончится, боже мой?» — и ушел к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил ее в кабинет, и она высказала ему все и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в нее стреляли из пушек.

— В вас сильно бьется романтическая жилка, — перебил ее Орлов, не отрывая глаз от газеты.

Она засмеялась и продолжала рассказывать, не дотрогиваясь до своего кофе. Щеки ее разгорелись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю. Из ее дальнейшего рассказа я узнал, что муж ответил ей попреками, угрозами и в конце концов слезами, и вернее было бы сказать, что не она, а он выдержал баталию.

— Да, мой друг, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, — рассказывала она, — но как только наступила ночь, я пала духом. Вы, Жорж, не верите в бога, а я немножко верую и боюсь возмездия. Бог требует от нас терпения, великодушия, самопожертвования, а я вот отказываюсь терпеть и хочу устроить жизнь на свой лад. Хорошо ли это? А вдруг это с точки зрения бога нехорошо? В два часа ночи муж вошел ко мне и говорит: «Вы не посмеете уйти. Я вытребую вас со скандалом, через полицию». А немного погодя, гляжу, он опять в дверях, как тень. «Пощадите меня. Ваше бегство может повредить мне по

службе». Эти слова подействовали на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже начинается возмездие, и стала дрожать от страха и плакать. Мне казалось, что на меня обвалится потолок, что меня сейчас поведут в полицию, что вы меня разлюбите,— одним словом, бог знает что! Уйду, думаю, в монастырь или куда-нибудь в сиделки, откажусь от счастья, но тут вспоминаю, что вы меня любите и что я не вправе распоряжаться собой без вашего ведома, и все у меня в голове начинает путаться, и я в отчаянии, не знаю, что думать и делать. Но взошло солнышко, и я опять повеселела. Дождалась утра и прикатила к вам. Ах, как замучилась, милый мой. Подряд две ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотелось в одно и то же время и спать, и без конца говорить, и смеяться, и плакать, и ехать в ресторан завтракать, чтобы почувствовать себя на свободе.

— У тебя уютная квартира, но, боюсь, для двоих она будет мала,— говорила она после кофе, быстро обходя все комнаты.— Какую ты дашь мне комнату? Мне нравится вот эта, потому что она рядом с твоим кабинетом.

Во втором часу она переоделась в комнате рядом с кабинетом, которую стала после этого называть своею, и уехала с Орловым завтракать. Обедали они тоже в ресторане, а в длинный промежуток между завтраком и обедом ездили по магазинам. Я до позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. Привезли, между прочим, великолепное трюмо, туалет, кровать и роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен. Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поставили рядком на полке в нашей пустой, холодной кухне. Когда мы разворачивали чайный сервиз, то у Поли разгорелись глаза, и она раза три взглянула на меня с ненавистью и со страхом, что, быть может, не она, а я первый украду одну из этих грациозных чашечек. Привезли дамский письменный стол, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Федоровна имела намерение засесть у нас крепко, по-хозяйски.

Вернулась она с Орловым часу в десятом. Полная горделивого сознания, что она совершила что-то смелое и необыкновенное, страстно любящая и, как казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крепкий и счастливый сон, Зинаида Федоровна упивалась новою жизнью. От избытка счастья она крепко сжимала себе руки, уверяла, что все прекрасно, и клялась, что будет любить вечно, и эти клятвы и наивная, почти детская уверенность, что ее тоже крепко любят и будут любить вечно, молодили ее лет на пять. Она говорила милый вздор и смеялась над собой.

— Нет выше блага, как свобода! — говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. — Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим перед мнением разных глупцов. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но, как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья.

Но тотчас же порядок мыслей у нее обрывался, и она говорила о новой квартире, об обоях, лошадях, о путешествии в Швейцарию и Италию. Орлов же был утомлен поездкой по ресторанам и магазинам и продолжал испытывать то смущение перед самим собой, какое я заметил у него утром. Он улыбался, но больше из вежливости, чем от удовольствия, и когда она говорила о чем-нибудь серьезно, то он иронически соглашался: «О да!»

— Степан, найдите поскорее хорошего повара, — обратилась она ко мне.

— Не следует торопиться с кухней, — сказал Орлов, холодно поглядев на меня. — Надо сначала перебраться на новую квартиру.

Он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпел в своей квартире только по необходимости. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дрязгами оскорблял его вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них — это дурной тон, мещан-

ство. И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа,— она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего — ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...

V

Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг. В этот день Орлов и Зинаида Федоровна обедали у Контана или Донона. Вернулся домой только один Орлов, а Зинаида Федоровна уехала, как я узнал потом, на Петербургскую сторону к своей старой гувернантке, чтобы переждать у нее время, пока у нас будут гости. Орлову не хотелось показывать ее своим приятелям. Это понял я утром за кофе, когда он стал уверять ее, что ради ее спокойствия необходимо отменить четверги.

Гости, как обыкновенно, прибыли почти в одно время.

— И барыня дома? — спросил у меня шепотом Кукушкин.

— Никак нет,— ответил я.

Он вошел с хитрыми, маслеными глазами, таинственно улыбаясь и потирая с мороза руки.

— Честь имею поздравить, — сказал он Орлову, дрожа всем телом от льстивого, угодливого смеха.— Желаю вам плодитися и размножатися, аки кедры ливанстие.

Гости отправились в спальню и поострили там насчет женских туфель, ковра между обеими постелями и серой блузы, которая висела на спинке кровати. Им было весело оттого, что упрямец, презиравший в любви все обыкновенное, попался вдруг в женские сети так просто и обыкновенно.

— Чему посмеяхомся, тому же и послужиша,— несколько раз повторил Кукушкин, имевший, кстати

сказать, неприятную претензию щеголять церковнославянскими текстами.— Тише! — зашептал он, поднося палец к губам, когда из спальни перешли в комнату рядом с кабинетом.— Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своем Фаусте.

И покатился со смеху, как будто сказал что-то ужасно смешное. Я вглядывался в Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержит этого смеха, но я ошибся. Его доброе худощавое лицо сияло от удовольствия. Когда садились играть в карты, он, картавя и захлебываясь от смеха, говорил, что Жорженьке для полноты семейного счастья остается теперь только завести черешневый чубук и гитару. Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было, что новая любовная история Орлова была ему неприятна. Он не понимал, что, собственно, произошло.

— Но как же муж? — спросил он с недоумением, когда уже сыграли три робера.

— Не знаю,— ответил Орлов.

Пекарский расчесал пальцами свою большую бороду и задумался и молчал потом до самого ужина. Когда сели ужинать, он сказал медленно, растягивая каждое слово:

— Вообще, извини, я вас обоих не понимаю. Вы могли влюбляться друг в друга и нарушать седьмую заповедь сколько угодно,— это я понимаю. Да, это мне понятно. Но зачем посвящать в свои тайны мужа? Разве это нужно?

— А разве это не все равно?

— Гм...— задумался Пекарский.— Так вот что я тебе скажу, друг мой любезный,— продолжал он с видимым напряжением мысли,— если я когда-нибудь женюсь во второй раз и тебе вздумается наставить мне рога, то делай это так, чтобы я не заметил. Гораздо честнее обманывать человека, чем портить ему порядок жизни и репутацию. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но с этим... как это называется?.. с этим романтизмом согласиться я не могу.

Орлов ничего не ответил. Он был не в духе, и ему

не хотелось говорить. Пекарский, продолжая недоумевать, постучал пальцами по столу, подумал и сказал:

— Я все-таки вас обоих не понимаю. Ты не студент, и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты мог бы устроить для нее отдельную квартиру.

— Нет, не мог бы. Почитай-ка Тургенева.

— Зачем мне его читать? Я уже читал.

— Тургенев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света и служила бы его идее,— сказал Орлов, иронически щуря глаза.— Край света — это licentia poetica:[1] весь свет со всеми своими краями помещается в квартире любимого мужчины. Поэтому не жить с женщиной, которая тебя любит, в одной квартире — значит отказывать ей в ее высоком назначении и не разделять ее идеалов. Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай.

— При чем тут Тургенев, не понимаю,— сказал тихо Грузин и пожал плечами.— А помните, Жорженька, как он в «Трех встречах» идет поздно вечером где-то в Италии и вдруг слышит: Vieni pensando a me segretamente![2] — запел Грузин.— Хорошо!

— Но ведь она не насильно к тебе переехала,— сказал Пекарский.— Ты сам этого захотел.

— Ну, вот еще! Я не только не хотел, но даже не мог думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переедет ко мне, то я думал, что она мило шутит.

Все засмеялись.

— Я не мог хотеть этого,— продолжал Орлов таким тоном, как будто его вынуждали оправдываться.— Я не тургеневский герой, и если мне когда-нибудь понадобится освобождать Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетво-

---

[1] поэтическая вольность *(лат.)*.
[2] Приди, тайно думая обо мне! *(итал.)*

рять с рассуждением или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Чтобы она была наслаждением, а не мучением, я стараюсь делать ее красивой и обставлять множеством иллюзий. Я не поеду к женщине, если заранее не уверен, что она будет красива, увлекательна; и сам я не поеду к ней, если я не в ударе. И лишь при таких условиях нам удается обмануть друг друга, и нам кажется, что мы любим и что мы счастливы. Но могу ли я хотеть медных кастрюлей и нечесаной головы, или чтобы меня видели, когда я не умыт и не в духе? Зинаида Федоровна в простоте сердца хочет заставить меня полюбить то, от чего я прятался всю свою жизнь. Она хочет, чтобы у меня в квартире пахло кухней и судомойками; ей нужно с шумом перебираться на новую квартиру, разъезжать на своих лошадях, ей нужно считать мое белье и заботиться о моем здоровье; ей нужно каждую минуту вмешиваться в мою личную жизнь и следить за каждым моим шагом и в то же время искренно уверять, что мои привычки и свобода останутся при мне. Она убеждена, что мы, как молодожены, в самом скором времени совершим путешествие, то есть она хочет неотлучно находиться при мне и в купе и в отелях, а между тем в дороге я люблю читать и терпеть не могу разговаривать.

— А ты сделай ей внушение, — сказал Пекарский.

— Как? Ты думаешь, она поймет меня? Помилуй, мы мыслим так различно! По ее мнению, уйти от папаши и мамаши или от мужа к любимому мужчине — это верх гражданского мужества, а по-моему, это — ребячество. Полюбить, сойтись с мужчиной — это значит начать новую жизнь, а по-моему, это ничего не значит. Любовь и мужчина составляют главную суть ее жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного; изволь-ка убедить ее, что любовь есть только простая потребность, как пища и одежда, что мир вовсе не погибает от того, что мужья и жены плохи, что можно быть развратником, обольстителем и в то же время гениальным и благородным человеком, и с другой стороны — можно отка-

зываться от наслаждений любви и в то же время быть глупым, злым животным. Современный культурный человек, стоящий даже внизу, например французский рабочий, тратит в день на обед десять су, на вино к обеду пять су и на женщину от пяти до десяти су, а свой ум и нервы он целиком отдает работе. Зинаида же Федоровна отдает любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ искренно завопиет, что я погубил ее, что у нее в жизни ничего больше не осталось.

— Ты ей ничего не говори,— сказал Пекарский,— а просто найми для нее отдельную квартиру. Вот и все.

— Это легко говорить...

Немного помолчали.

— Но она мила,— сказал Кукушкин.— Она прелестна. Такие женщины воображают, что будут любить вечно, и отдаются с пафосом.

— Но надо иметь голову на плечах,— сказал Орлов,— надо рассуждать. Все опыты, известные нам из повседневной жизни и занесенные на скрижали бесчисленных романов и драм, единогласно подтверждают, что всякие адюльтеры и сожительства у порядочных людей, какова бы ни была любовь вначале, не продолжаются дольше двух, а много — трех лет. Это она должна знать. А потому все эти переезды, кастрюли и надежды на вечные любовь и согласие — ничего больше, как желание одурачить себя и меня. Она и мила и прелестна — кто спорит? Но она перевернула телегу моей жизни; то, что до сих пор я считал пустяком и вздором, она вынуждает меня возводить на степень серьезного вопроса, я служу идолу, которого никогда не считал богом. Она и мила и прелестна, но почему-то теперь, когда я еду со службы домой, у меня бывает нехорошо на душе, как будто я жду, что встречу у себя дома какое-то неудобство вроде печников, которые разобрали все печи и навалили горы кирпича. Одним словом, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своих нервов. А это скверно.

— И она не слышит этого злодея! — вздохнул Кукушкин.— Милостивый государь,— сказал он театрально,— я освобожу вас от тяжелой обязанности

любить это прелестное создание! Я отобью у вас Зинаиду Федоровну!

— Можете...— сказал небрежно Орлов.

С полминуты Кукушкин смеялся тонким голоском и дрожал всем телом, потом проговорил:

— Смотрите, я не шучу! Не извольте потом разыгрывать Отелло!

Все стали говорить о неутомимости Кукушкина в любовных делах, как он неотразим для женщин и опасен для мужей и как на том свете черти будут поджаривать его на угольях за беспутную жизнь. Он молчал и щурил глаза и, когда называли знакомых дам, грозил мизинцем — нельзя-де выдавать чужих тайн. Орлов вдруг посмотрел на часы.

Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузин, охмелевший от вина, одевался в этот раз томительно долго. Он надел свое пальто, похожее на те капоты, какие шьют детям в небогатых семьях, поднял воротник и стал что-то длинно рассказывать; потом, видя, что его не слушают, перекинул через плечо свой плед, от которого пахло детской, и с виноватым, умоляющим лицом попросил меня отыскать его шапку.

— Жорженька, ангел мой! — сказал он нежно.— Голубчик, послушайтесь меня, поедемте сейчас за город!

— Поезжайте, а мне нельзя. Я теперь на женатом положении.

— Она славная, не рассердится. Начальник добрый мой, поедем! Погода великолепная, метелица, морозик... Честное слово, вам встряхнуться надо, а то вы не в духе, черт вас знает...

Орлов потянулся, зевнул и посмотрел на Пекарского.

— Ты поедешь? — спросил он в раздумье.

— Не знаю. Пожалуй.

— Разве напиться, а? Ну, ладно, поеду,— решил Орлов после некоторого колебания.— Погодите, схожу за деньгами.

Он пошел в кабинет, а за ним поплелся Грузин, волоча за собою плед. Через минуту оба вернулись в переднюю. Пьяненький и очень довольный Грузин комкал в руке десятирублевую бумажку.

— Завтра сочтемся,— говорил он.— А она добрая, не рассердится... Она у меня Лизочку крестила, я люблю ее, бедную. Ах, милый человек! — радостно засмеялся он вдруг и припал лбом к спине Пекарского.— Ах, Пекарский, душа моя! Адвокатиссимус, сухарь сухарем, а женщин небось любит...

— Прибавьте: толстых,— сказал Орлов, надевая шубу.— Однако поедемте, а то, гляди, на пороге встретится.

— Vieni pensando a me segretamente! — запел Грузин.

Наконец, уехали. Орлов дома не ночевал и вернулся на другой день к обеду.

VI

У Зинаиды Федоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцом. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всем комнатам, растерянно оглядывая столы и окна, но часы как в воду канули.

Вскоре после этого, дня через три, Зинаида Федоровна, вернувшись откуда-то, забыла в передней свой кошелек. К счастью для меня, в этот раз не я помогал ей раздеваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то в передней его уже не оказалось.

— Странно! — недоумевала Зинаида Федоровна.— Я отлично помню, вынула его из кармана, чтобы заплатить извозчику... и потом положила здесь около зеркала. Чудеса!

Я не крал, но мною овладело такое чувство, как будто я украл и меня поймали. У меня даже слезы выступили. Когда садились обедать, Зинаида Федоровна сказала Орлову по-французски:

— У нас завелись духи. Я сегодня потеряла в передней кошелек, а сейчас, гляжу, он лежит у меня на столе. Но духи не бескорыстно устроили такой фокус. Взяли себе за работу золотую монету и двадцать рублей.

— То у вас часы пропадают, то деньги...— сказал

Орлов.— Отчего со мною никогда не бывает ничего подобного?

Через минуту Зинаида Федоровна уже не помнила про фокус, который устроили духи, и со смехом рассказывала, как она на прошлой неделе заказала себе почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адрес, и магазин послал бумагу на старую квартиру к мужу, который должен был заплатить по счету двенадцать рублей. И вдруг она остановила свой взгляд на Поле и пристально посмотрела на нее. При этом она покраснела и смутилась до такой степени, что заговорила о чем-то другом.

Когда я принес в кабинет кофе, Орлов стоял около камина спиной к огню, а она сидела в кресле против него.

— Я вовсе не в дурном настроении,— говорила она по-французски.— Но я теперь стала соображать, и мне все понятно. Я могу назвать вам день и даже час, когда она украла у меня часы. А кошелек? Тут не может быть никаких сомнений. О! — засмеялась она, принимая от меня кофе.— Теперь я понимаю, отчего я так часто теряю свои платки и перчатки. Как хочешь, завтра я отпущу эту сороку на волю и пошлю Степана за своею Софьей. Та не воровка, и у нее не такой... отталкивающий вид.

— Вы не в духе. Завтра вы будете в другом настроении и поймете, что нельзя гнать человека только потому, что вы подозреваете его в чем-то.

— Я не подозреваю, а уверена,— сказала Зинаида Федоровна.— Пока я подозревала этого пролетария с несчастным лицом, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жорж, что вы мне не верите.

— Если мы с вами различно думаем о каком-нибудь предмете, то это не значит, что я вам не верю. Пусть вы правы,— сказал Орлов, оборачиваясь к огню и бросая туда папиросу,— но волноваться все-таки не следует. Вообще, признаться, я не ожидал, что мое маленькое хозяйство будет причинять вам столько серьезных забот и волнений. Пропала золотая монета, ну, и бог с ней, возьмите у меня их хоть сотню, но менять порядок, брать с улицы новую горничную, ждать,

когда она привыкнет,— все это длинно, скучно и не в моем характере. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть может, имеет слабость к перчаткам и платкам, но зато она вполне прилична, дисциплинирована и не визжит, когда ее щиплет Кукушкин.

— Одним словом, вы не можете с ней расстаться... Так и скажите.

— Вы ревнуете?

— Да, я ревную! — сказала решительно Зинаида Федоровна.

— Благодарю.

— Да, я ревную! — повторила она, и на глазах у нее заблестели слезы.— Нет, это не ревность, а что-то хуже... я затрудняюсь назвать.— Она взяла себя за виски и продолжала с увлечением: — Вы, мужчины, бываете так гадки! Это ужасно!

— Ничего я не вижу тут ужасного.

— Я не видела, не знаю, но говорят, что вы, мужчины, еще в детстве начинаете с горничными и потом уже по привычке не чувствуете никакого отвращения. Я не знаю, не знаю, но я даже читала... Жорж, ты, конечно, прав,— сказала она, подходя к Орлову и меняя свой тон на ласковый и умоляющий,— в самом деле, я сегодня не в духе. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мне противна, и я боюсь ее. Мне тяжело ее видеть.

— Неужели нельзя быть выше этих мелочей? — сказал Орлов, пожимая в недоумении плечами и отходя от камина.— Ведь нет ничего проще: не замечайте ее, и она не будет противна, и не понадобится вам из пустяка делать целую драму.

Я вышел из кабинета и не знаю, какой ответ получил Орлов. Как бы то ни было, Поля осталась у нас. После этого Зинаида Федоровна ни за чем уже не обращалась к ней и, видимо, старалась обходиться без ее услуг; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своим браслетом и треща юбками, то она вздрагивала.

Я думаю, что если бы Грузин или Пекарский попросили Орлова рассчитать Полю, то он сделал бы это без малейшего колебания, не утруждая себя никакими объяснениями; он был сговорчив, как все равнодуш-

ные люди. Но в отношениях своих к Зинаиде Федоровне он почему-то даже в мелочах проявлял упрямство, доходившее подчас до самодурства. Так уж я и знал: если что понравилось Зинаиде Федоровне, то наверное не понравится ему. Когда она, вернувшись из магазина, спешила похвалиться перед ним обновками, то он мельком взглядывал на них и холодно говорил, что чем больше в квартире лишних вещей, тем меньше воздуха. Случалось, уже надевши фрак, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись с Зинаидою Федоровной, он вдруг из упрямства оставался дома. Мне казалось тогда, что он оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастным.

— Почему же вы остались? — говорила Зинаида Федоровна с напускною досадой и в то же время сияя от удовольствия.— Почему? Вы привыкли по вечерам не сидеть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня изменяли вашим привычкам. Поезжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.

— А разве вас винит кто-нибудь? — говорил Орлов.

С видом жертвы он разваливался у себя в кабинете в кресле и, заслонив глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась из рук, он грузно поворачивался в кресле и опять заслонял глаза, как от солнца. Теперь уж ему было досадно, что он не ушел.

— Можно войти? — говорила Зинаида Федоровна, нерешительно входя в кабинет.— Вы читаете? А я соскучилась и пришла на одну минутку... взглянуть.

Помню, в один из вечеров она вошла так же вот нерешительно и некстати и опустилась на ковер у ног Орлова, и по ее робким, мягким движениям видно было, что она не понимала его настроения и боялась.

— А вы все читаете...— начала она вкрадчиво, видимо желая польстить ему.— Знаете, Жорж, в чем еще тайна вашего успеха? Вы очень образованны и умны. Это у вас какая книга?

Орлов ответил. Прошло в молчании несколько минут, показавшихся мне очень длинными. Я стоял в гостиной, откуда наблюдал обоих, и боялся закашлять.

— Я хотела что-то сказать вам...— проговорила тихо Зинаида Федоровна и засмеялась.— Сказать? Вы,

пожалуй, станете смеяться и назовете это самообольщением. Видите ли, мне ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня... чтобы этот вечер провести вместе. Да? Можно так думать?

— Думайте,— сказал Орлов, заслоняя глаза.— Истинно счастливый человек тот, кто думает не только о том, что есть, но даже о том, чего нет.

— Вы сказали что-то длинное, я не совсем поняла. То есть вы хотите сказать, что счастливые люди живут воображением? Да, это правда. Я люблю по вечерам сидеть в вашем кабинете и уноситься мыслями далеко, далеко... Приятно бывает помечтать. Давайте, Жорж, мечтать вслух!

— Я в институте не был, не проходил этой науки.

— Вы не в духе? — спросила Зинаида Федоровна, беря Орлова за руку.— Скажите — отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у вас болит или вы сердитесь на меня...

Прошло в молчании еще несколько длинных минут.

— Отчего вы переменились? — сказала она тихо.— Отчего вы не бываете уже так нежны и веселы, как на Знаменской? Прожила я у вас почти месяц, но мне кажется, мы еще не начинали жить и ни о чем еще не поговорили как следует. Вы всякий раз отвечаете мне шуточками или холодно и длинно, как учитель. И в шуточках ваших что-то холодное... Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?

— Я всегда говорю серьезно.

— Ну, вот давайте говорить. Ради бога, Жорж... Давайте?

— Давайте. Но о чем?

— Будем говорить о нашей жизни, о будущем...— сказала мечтательно Зинаида Федоровна.— Я все строю планы жизни, все строю — и мне так хорошо! Жорж, я начну с вопроса: когда вы оставите вашу службу?..

— Это зачем же? — спросил Орлов, отнимая руку от лба.

— С вашими взглядами нельзя служить. Вы там не на месте.

— Мои взгляды? — спросил Орлов.— Мои взгляды? По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, щедринский герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смею вас уверить.

— Опять шуточки, Жорж!

— Нисколько. Служба не удовлетворяет меня, быть может, но все же для меня она лучше, чем что-нибудь другое. Там я привык, там люди такие же, как я; там я не лишний, во всяком случае, и чувствую себя сносно.

— Вы ненавидите службу, и вам она претит.

— Да? Если я подам в отставку, стану мечтать вслух и унесусь в иной мир, то, вы думаете, этот мир будет мне менее ненавистен, чем служба?

— Чтобы противоречить мне, вы готовы даже клеветать на себя,— обиделась Зинаида Федоровна и встала.— Я жалею, что начала этот разговор.

— Что же вы сердитесь? Ведь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живет, как хочет.

— Да разве вы живете, как хотите? Разве вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которые противны вашим убеждениям,— продолжала Зинаида Федоровна, в отчаянии всплескивая руками,— подчиняться, поздравлять начальство с Новым годом, потом карты, карты и карты, а главное, служить порядкам, которые не могут быть вам симпатичны,— нет, Жорж, нет! Не шутите так грубо. Это ужасно. Вы идейный человек и должны служить только идее.

— Право, вы принимаете меня за кого-то другого,— вздохнул Орлов.

— Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вам противна, вот и все,— проговорила сквозь слезы Зинаида Федоровна.

— Вот что, моя милая,— сказал Орлов, наставительно, поднимаясь в кресле.— Вы сами изволили заметить, человек я умный и образованный, а ученого учить — только портить. Все идеи, малые и великие, которые вы имеете в виду, называя меня идейным человеком, мне хорошо известны. Стало быть, если службу и карты я предпочитаю этим идеям, то, вероятно, имею на то основание. Это раз. Во-вторых, вы,

насколько мне известно, никогда не служили и суждения свои о государственной службе можете черпать только из анекдотов и плохих повестей. Поэтому нам не мешало бы условиться раз навсегда: не говорить о том, что нам давно уже известно, или о том, что не входит в круг нашей компетенции.

— Зачем вы со мной так говорите? — проговорила Зинаида Федоровна, отступая назад, как бы в ужасе.— Зачем? Жорж, опомнитесь бога ради!

Голос ее дрогнул и оборвался; она, по-видимому, хотела задержать слезы, но вдруг зарыдала.

— Жорж, дорогой мой, я погибаю! — сказала она по-французски, быстро опускаясь перед Орловым и кладя голову ему на колени.— Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу... В детстве ненавистная, развратная мачеха, потом муж, а теперь вы... вы... Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом... И эта страшная, наглая горничная! — продолжала она, рыдая.— Да, да, я вижу: я вам не жена, не друг, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей... Я убью себя!

Я не ожидал, что эти слова и этот плач произведут на Орлова такое сильное впечатление. Он покраснел, беспокойно задвигался в кресле, и на лице его вместо иронии показался тупой, мальчишеский страх.

— Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вам,— растерянно забормотал он, трогая ее за волосы и плечи.— Простите меня, умоляю вас. Я был неправ и... ненавижу себя.

— Я оскорбляю вас своими жалобами и нытьем... Вы честный, великодушный... редкий человек, я сознаю это каждую минуту, но меня все дни мучила тоска...

Зинаида Федоровна порывисто обняла Орлова и поцеловала его в щеку.

— Только не плачьте, пожалуйста,— проговорил он.

— Нет, нет... Я уже наплакалась, и мне легко.

— Что касается горничной, то завтра же ее не будет,— сказал он, все еще беспокойно двигаясь в кресле.

— Нет, она должна остаться, Жорж! Слышите? Я уже не боюсь ее... Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы. Вы — редкий... необыкновенный человек!

Скоро она перестала плакать. С невысохшими слезинками на ресницах, сидя на коленях у Орлова, она вполголоса рассказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминания детства и юности, и гладила его рукой по лицу, целовала и внимательно рассматривала его руки с кольцами и брелоки на цепочке. Она увлекалась и своим рассказом, и близостью любимого человека, и оттого, вероятно, что недавние слезы очистили и освежили ее душу, голос ее звучал необыкновенно чисто и искренно. А Орлов играл ее каштановыми волосами и целовал ее руки, беззвучно прикасаясь к ним губами.

Затем пили в кабинете чай, и Зинаида Федоровна читала вслух какие-то письма. В первом часу пошли спать.

В эту ночь у меня сильно болел бок, и я до самого утра не мог согреться и уснуть. Мне слышно было, как Орлов прошел из спальни к себе в кабинет. Просидев там около часа, он позвонил. От боли и утомления я забыл о всех порядках и приличиях в свете и отправился в кабинет в одном нижнем белье и босой. Орлов в халате и в шапочке стоял в дверях и ждал меня.

— Когда тебя зовут, ты должен являться одетым, — сказал он строго.— Подай другие свечи.

Я хотел извиниться, но вдруг сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косяк.

— Вы больны? — спросил Орлов.

Кажется, за все время нашего знакомства это он в первый раз сказал мне «вы». Бог его знает, почему. Вероятно, в нижнем белье и с лицом, искаженным от кашля, я плохо играл свою роль и мало походил на лакея.

— Если вы больны, то зачем же вы служите? — сказал он.

— Чтобы не умереть с голода,— ответил я.

— Как все это, в сущности, пакостно! — тихо проговорил он, идя к своему столу.

Пока я, накинув на себя сюртук, вставлял и зажигал новые свечи, он сидел около стола и, протянув ноги на кресло, обрезывал книгу.

Оставил я его углубленным в чтение, и книга уже не валилась у него из рук, как вечером.

VII

Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживает воспитанный во мне с детства страх — показаться чувствительным и смешным; когда мне хочется ласкать и говорить нежности, я не умею быть искренним. Вот именно от этого страха и с непривычки я никак не могу выразить с полной ясностью, что́ происходило тогда в моей душе.

Я не был влюблен в Зинаиду Федоровну, но в обыкновенном человеческом чувстве, какое я питал к ней, было гораздо больше молодого, свежего и радостного, чем в любви Орлова.

Работая по утрам сапожною щеткой или веником, я с замиранием сердца ждал, когда, наконец, услышу ее голос и шаги. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе и потом завтракала, подавать ей в передней шубку и надевать на ее маленькие ножки калоши, причем она опиралась о мое плечо, потом ждать, когда снизу позвонит мне швейцар, встречать ее в дверях, розовую, холодную, попудренную снегом, слушать отрывистые восклицания насчет мороза или извозчика,— если б вы знали, как все это было для меня важно! Мне хотелось влюбиться, иметь свою семью, хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос. Я мечтал и за обедом, и на улице, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спал. Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезились жена, детская, тропинки в саду, домик...

Я знал, что если бы я полюбил ее, то не посмел бы рассчитывать на такое чудо, как взаимность, но это соображение меня не беспокоило. В моем скромном, тихом чувстве, похожем на обыкновенную привязанность, не было ни ревности к Орлову, ни даже зависти, так как я понимал, что личное счастье для такого калеки, как я, возможно только в мечтах.

Когда Зинаида Федоровна по ночам, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядела в книгу, не перелистывая страниц, или когда вздрагивала и бледнела оттого, что через комнату проходила Поля, я страдал вместе с нею, и мне приходило в голову — разрезать поскорее этот тяжелый нарыв, сделать поскорее так, чтобы она узнала все то, что говорилось здесь в четверги за ужином, но — как это сделать? Все чаще и чаще мне приходилось видеть слезы. В первые недели она смеялась и пела свою песенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой месяц у нас в квартире была унылая тишина, нарушаемая только по четвергам.

Она льстила Орлову и, чтобы добиться от него неискренней улыбки или поцелуя, стояла перед ним на коленях, ласкалась, как собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нее на душе было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мне казалось странным, что она все еще продолжала интересоваться нарядами и приходить в восторг от своих покупок. Это как-то не шло к ее искренней печали. Она следила за модой и шила себе дорогие платья. Для кого и для чего? Мне особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, ненужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах и когда венецианским и брюссельским кружевницам платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут развратом; и мне было странно, что Зинаида Федоровна не сознает этого, мне было досадно. Но стоило ей только уйти из дому, как я все извинял, все объяснял и ждал, когда позвонит мне снизу швейцар.

Относилась она ко мне, как к лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и в то же время не замечать ее; мне приказывали, задавали вопросы, но не замечали моего присутствия. Хозяева считали неприличным говорить со мной больше, чем это принято; если б я, прислуживая за обедом, вмешался в разговор или засмеялся, то меня, наверное, сочли бы сумасшедшим и дали бы мне расчет. Но все же Зинаида Федоровна благоволила ко мне. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, как обращаться с новою лампой или что-нибудь вроде, то лицо у нее было необыкновенно ясное, доброе и приветливое, и глаза смотрели мне прямо в лицо. При этом мне всякий раз казалось, что она с благодарностью вспоминает, как я носил ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ее фаворитом и ненавидевшая меня за это, говорила с язвительною усмешкой:

— Иди, тебя *твоя* зовет.

Зинаида Федоровна относилась ко мне как к существу низшему и не подозревала, что если кто и был в доме унижен, так это только она одна. Она не знала, что я, лакей, страдал за нее и раз двадцать на день спрашивал себя, что́ ожидает ее впереди и чем все это кончится. Дела с каждым днем заметно становились хуже. После того вечера, когда говорили о службе, Орлов, не любивший слез, стал, видимо, бояться и избегать разговоров; когда Зинаида Федоровна начинала спорить или умолять, или собиралась заплакать, то он под благовидным предлогом уходил к себе в кабинет или вовсе из дому. Он все реже и реже ночевал дома и еще реже обедал; по четвергам он уже сам просил своих приятелей, чтоб они увезли его куда-нибудь. Зинаида Федоровна по-прежнему мечтала о своей кухне, о новой квартире и путешествии за границу, но мечты оставались мечтами. Обед приносили из ресторана, квартирного вопроса Орлов просил не поднимать впредь до возвращения из-за границы, а о путешествии говорил, что нельзя ехать раньше, чем у него отрастут длинные волосы, так как

таскаться по отелям и служить идее нельзя без длинных волос.

В довершение всего к нам в отсутствие Орлова стал наведываться по вечерам Кукушкин. В поведении его не было ничего особенного, но я все никак не мог забыть того разговора, когда он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну. Его поили чаем и красным вином, а он хихикал и, желая сказать приятное, уверял, что гражданский брак во всех отношениях выше церковного и что, в сущности, все порядочные люди должны прийти теперь к Зинаиде Федоровне и поклониться ей в ножки.

VIII

Рождественские святки прошли скучно, в смутных ожиданиях чего-то недоброго. Накануне Нового года за утренним кофе Орлов неожиданно объявил, что начальство посылает его с особыми полномочиями к сенатору, ревизующему какую-то губернию.

— Не хочется ехать, да не придумаешь отговорки! — сказал он с досадой.— Надо ехать, ничего не поделаешь.

От такой новости у Зинаиды Федоровны мгновенно покраснели глаза.

— Надолго? — спросила она.

— Дней на пять.

— Я, признаться, рада, что ты едешь,— сказала она, подумав.— Развлечешься. Влюбишься в кого-нибудь дорогой и потом мне расскажешь.

Она при всяком удобном случае старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стесняет и что он может располагать собою, как хочет, и эта нехитрая, шитая белыми нитками политика никого не обманывала и только лишний раз напоминала Орлову, что он не свободен.

— Я поеду сегодня вечером,— сказал он и стал читать газеты.

Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вокзал, но он отговорил ее, сказавши, что он уезжает

не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше.

В восьмом часу происходило прощание. Он обнял ее одною рукой и поцеловал в лоб и в губы.

— Будь умницей, не скучай без меня,— проговорил он ласковым, сердечным тоном, который и меня тронул.— Храни тебя создатель.

Она жадно вглядывалась в его лицо, чтобы покрепче запечатлеть в памяти дорогие черты, потом грациозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.

— Прости мне наши недоразумения,— сказала она по-французски.— Муж и жена не могут ссориться, если любят, а я люблю тебя до сумасшествия. Не забывай... Телеграфируй почаще и подробнее.

Орлов поцеловал ее еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. Когда уже за дверью щелкнул замок, он остановился на средине лестницы в раздумье и взглянул наверх. Мне казалось, что если бы сверху в это время донесся хоть один звук, то он вернулся бы. Но было тихо. Он поправил на себе шинель и стал нерешительно спускаться вниз.

У подъезда давно уже ждали извозчики. Орлов сел на одного, я с двумя чемоданами на другого. Был сильный мороз, и на перекрестках дымились костры. От быстрой езды холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух, и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительною целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть как на силу, которую при уменье можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает, как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?

Извозчики неожиданно остановились. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на Сергиевской, около

большого дома, где жил Пекарский. Орлов вышел из саней и скрылся в подъезде. Минут через пять в дверях показался лакей Пекарского, без шапки, и крикнул мне, сердясь на мороз:

— Глухой, что ли? Отпусти извозчиков и ступай наверх. Зовут!

Ничего не понимая, я отправился во второй этаж. Я и раньше бывал в квартире Пекарского, то есть стоял в передней и смотрел в залу, и после сырой мрачной улицы она всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Теперь в этом блеске я увидел Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.

— Вот что, Степан,— сказал он, подходя ко мне.— Я проживу здесь до пятницы или субботы. Если будут письма и телеграммы, то каждый день приноси их сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уехал и велел кланяться. Ступай с богом.

Когда я вернулся домой, Зинаида Федоровна лежала в гостиной на софе и ела грушу. Горела только одна свеча, вставленная в канделябру.

— Не опоздали к поезду? — спросила Зинаида Федоровна.

— Никак нет. Приказали кланяться.

Я пошел к себе в лакейскую и тоже лег. Делать было нечего, и читать не хотелось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягал мысль, чтобы понять, для чего понадобился этот обман. Ведь так только подростки обманывают своих любовниц. Неужели он, много читающий и рассуждающий человек, не мог придумать чего-нибудь поумнее? Признаюсь, я был не плохого мнения об его уме. Я думал, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильного человека, то он употребил бы на это много энергии и искусства, тут же, чтобы обмануть женщину, сгодилось, очевидно, то, что первое пришло в голову; удастся обман — хорошо, не удастся — беда не велика, можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро, не ломая головы.

В полночь, когда в верхнем этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали

«ура», Зинаида Федоровна позвонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. Она, вялая от долгого леҗанья, сидела за столом и писала что-то на клочке бумаги.

— Нужно отправить телеграмму,— сказала она и улыбнулась.— Поезжайте скорее на вокзал и попросите послать вслед.

Выйдя затем на улицу, я прочел на клочке: «С Новым годом, с новым счастьем. Скорей телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла целая вечность. Жалею, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцелуев и самое сердце. Будь весел, радость моя. Зина».

Я послал эту телеграмму и на другой день утром отдал расписку.

IX

Хуже всего, что Орлов необдуманно посвятил в тайну своего обмана также и Полю, приказав ей принести сорочки на Сергиевскую. После этого она со злорадством и с непостижимою для меня ненавистью смотрела на Зинаиду Федоровну и не переставала у себя в комнате и в передней фыркать от удовольствия.

— Зажилась, пора и честь знать! — говорила она с восторгом.— Самой бы надо понимать...

Она уже нюхом чуяла, что Зинаиде Федоровне осталось у нас недолго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила все, что попадалось на глаза,—флаконы, черепаховые шпильки, платки, ботинки. На другой день Нового года Зинаида Федоровна позвала меня в свою комнату и сообщила мне вполголоса, что у нее пропало черное платье. И потом ходила по всем комнатам бледная, с испуганным и негодующим лицом и разговаривала сама с собой:

— Каково? Нет, каково? Ведь это неслыханная дерзость!

За обедом она хотела налить себе супу, но не могла,— дрожали руки. И губы у нее дрожали. Она беспомощно поглядывала на суп и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдруг не выдержала и посмотрела на Полю.

— Вы, Поля, можете выйти отсюда,— сказала она.— Достаточно одного Степана.

— Ничего-с, постою-с,— ответила Поля.

— Незачем вам тут стоять. Вы уходите отсюда совсем... совсем! — продолжала Зинаида Федоровна, вставая в сильном волнении.— Можете искать себе другое место. Сейчас же уходите!

— Без приказания барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Как они прикажут, так и будет.

— Я тоже приказываю вам! Я тут хозяйка! — сказала Зинаида Федоровна и вся покраснела.

— Может, вы и хозяйка, но рассчитать меня может только барин. Они меня нанимали.

— Вы не смеете оставаться здесь ни одной минуты! — крикнула Зинаида Федоровна и ударила ножом по тарелке.— Вы воровка! Слышите?

Зинаида Федоровна бросила на стол салфетку и быстро, с жалким, страдальческим лицом, вышла из столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Суп и рябчик остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столе, показалась мне скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкий и преступный вид имели два пирожка на тарелочке. «Сегодня нас унесут обратно в ресторан,— как бы говорили они,— а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице».

— Важная барыня, подумаешь! — доносилось до моего слуха из комнаты Поли.— Если бы я захотела, давно бы такою же барыней была, да стыд есть! Посмотрим, кто из нас первая уйдет! Да!

Позвонила Зинаида Федоровна. Она сидела у себя в комнате, в углу, с таким выражением, как будто ее посадили в угол в наказание.

— Телеграммы не приносили? — спросила она.

— Никак нет.

— Справьтесь у швейцара, может быть, есть телеграмма. Да не уходите из дому,— сказала она мне вслед,— мне страшно оставаться одной.

Потом мне почти каждый час приходилось бегать вниз к швейцару и спрашивать, нет ли телеграммы.

Что за жуткое время, должен признаться! Зинаида Федоровна, чтобы не видеть Поли, обедала и пила чай у себя в комнате, тут же и спала на коротком диване, похожем на букву Э, и сама убирала за собой постель. В первые дни носил телеграммы я, но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на телеграф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например распорядится, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. Если он слишком заигрался в карты, думал я, или успел уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнят ему о нас и Грузин и Кукушкин. Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду, но она глядела, как коза, плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина, спальню, рылась в шкапах и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей нравилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонилась, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тотчас же слышался другой звонок, я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала: «Кто это звонил?» А сама смотрела мне на руки — нет ли в них телеграммы.

Когда, наконец, в субботу позвонили снизу и на лестнице послышался знакомый голос, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась к нему навстречу, обняла его, целовала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцар внес чемоданы, послышался веселый голос Поли. Точно кто на каникулы приехал!

— Отчего ты не телеграфировал? — говорила Зинаида Федоровна, тяжело дыша от радости.— Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время... О боже мой!

— Очень просто! Мы с сенатором в первый же день поехали в Москву, я не получал твоих телеграмм,— сказал Орлов.— После обеда я, душа моя, дам тебе самый подробный отчет, а теперь спать, спать и спать... Замаялся в вагоне.

Видно было, что он не спал всю ночь: вероятно, играл в карты и много пил. Зинаида Федоровна уложила его в постель, и все мы потом до самого вечера ходили на цыпочках. Обед прошел вполне благополучно, но когда ушли в кабинет пить кофе, началось объяснение. Зинаида Федоровна заговорила о чем-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и речь ее журчала, как ручей, потом послышался громкий вздох Орлова и его голос.

— Боже мой! — сказал он по-французски.— Неужели у вас нет новостей посвежее, чем эта вечная песня о злодейке горничной?

— Но, милый, она меня обокрала и наговорила мне дерзостей.

— Но отчего она меня не обкрадывает и не говорит мне дерзостей? Отчего я никогда не замечаю ни горничных, ни дворников, ни лакеев? Милая моя, вы просто капризничаете и не хотите иметь характера... Я даже подозреваю, что вы беременны. Когда я предлагал вам уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогнал ее. А я в таких случаях тоже упрямый человек: на каприз я отвечаю тоже капризом. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вот хочу, чтобы она осталась. Это единственный способ излечить вас от нервов.

— Ну, будет, будет! — сказала испуганно Зинаида Федоровна.— Перестанем говорить об этом... Отложим до завтра. Теперь расскажи мне о Москве... Что в Москве?

X

На другой день — это было 7 января, день Иоанна Крестителя — Орлов после завтрака надел черный фрак и орден, чтобы ехать к отцу поздравлять его с ангелом. Нужно было ехать к двум часам, а когда

он кончил одеваться, была только половина второго. Как употребить эти полчаса? Он ходил по гостиной и декламировал поздравительные стихи, которые читал когда-то в детстве отцу и матери. Тут же сидела Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин, и слушала его с улыбкой. Не знаю, с чего у них начался разговор, но когда я принес Орлову перчатки, он стоял перед Зинаидою Федоровной и с капризным, умоляющим лицом говорил ей:

— Ради бога, ради всего святого, не говорите вы о том, что уже известно всем и каждому! И что за несчастная способность у наших умных, мыслящих дам говорить с глубокомысленным видом и с азартом о том, что давно уже набило оскомину даже гимназистам. Ах, если бы вы исключили из нашей супружеской программы все эти серьезные вопросы! Как бы одолжили!

— Мы, женщины, не можем сметь свое суждение иметь.

— Я вам даю полную свободу, будьте либеральны и цитируйте каких угодно авторов, но сделайте мне уступку, не трактуйте в моем присутствии только о двух вещах: о зловредности высшего света и о ненормальностях брака. Поймите же вы, наконец. Высший свет бранят всегда, чтобы противупоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, разные там Сидоры и Никиты. Оба света мне противны, но если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, выбрал бы высший, и это не было бы ложью и кривляньем, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл и пуст, но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств — потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство.

— Мужик и купец кормят вас.

— Да, ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не меня только, но и их также. Они кормят меня и ломают передо мною шапку, значит, у них не

хватает ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший — оба лучше. Сердцем и умом я против обоих, но вкусы мои на стороне первого. Ну-с, что же касается теперь ненормальностей брака,— продолжал Орлов, взглянув на часы,— то пора вам понять, что никаких ненормальностей нет, а есть пока только неопределенные требования к браку. Что вы хотите от брака? В законном и незаконном сожительстве, во всех союзах и сожительствах, хороших и дурных,— одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для вас все, без нее ваше существование не имело бы для вас смысла. Вам ничего не нужно, кроме сущности, вы и берете ее, но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стало стыдно брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете, очертя голову, мужчин и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака. Раз вы не можете и не хотите устранить сущности, самого главного вашего врага, вашего сатану, раз вы продолжаете рабски служить ему, то какие тут могут быть серьезные разговоры? Все, что вы ни скажете мне, будет вздор и кривлянье. Не поверю я вам.

Я пошел узнать у швейцара, есть ли извозчик, и когда вернулся, то застал уже ссору. Как выражаются моряки, ветер крепчал.

— Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашим цинизмом,— говорила Зинаида Федоровна, ходя в сильном волнении по гостиной.— Мне отвратительно вас слушать. Я чиста перед богом и людьми, и мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа к вам и горжусь этим. Горжусь, клянусь вам моею честью!

— Ну, и прекрасно.

— Если вы честный, порядочный человек, то вы тоже должны гордиться моим поступком. Он возвышает меня и вас над тысячами людей, которые хотели бы поступить так же, как я, но не решаются из малодушия или мелких расчетов. Но вы не порядочны. Вы боитесь свободы и насмехаетесь над честным порывом из страха, чтобы какой-нибудь невежда не

заподозрил, что вы честный человек. Вы боитесь показывать меня своим знакомым, для вас нет выше наказания, как ехать вместе со мною по улице... Что? Разве это не правда? Почему вы до сих пор не представили меня вашему отцу и вашей кузине? Почему? Нет, мне это надоело, наконец! — крикнула Зинаида Федоровна и топнула ногой.— Я требую того, что мне принадлежит по праву. Извольте представить меня вашему отцу!

— Если он вам нужен, то представьтесь ему сами. Он принимает ежедневно по утрам от десяти до половины одиннадцатого.

— Как вы низки! — сказала Зинаида Федоровна, в отчаянии ломая руки.— Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидеть вас. О, как вы низки!

— Мы всё ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей сути. Вся суть в том, что вы ошиблись и не хотите в этом сознаться вслух. Вы воображали, что я герой и что у меня какие-то необычайные идеи и идеалы, а на поверку-то вышло, что я самый заурядный чиновник, картежник и не имею пристрастия ни к каким идеям. Я достойный отпрыск того самого гнилого света, из которого вы бежали, возмущенная его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы: негодуйте не на меня, а на себя, так как ошиблись вы, а не я.

— Да, я сознаюсь: я ошиблась!

— Вот и прекрасно. До главного договорились, слава богу. Теперь слушайте дальше, если угодно. Возвыситься до вас я не могу, так как слишком испорчен; унизиться до меня вы тоже не можете, так как высоки слишком. Остается, стало быть, одно...

— Что? — быстро спросила Зинаида Федоровна, притаив дыхание и ставши вдруг бледною, как бумага.

— Остается позвать на помощь логику...

— Георгий, за что вы меня мучаете? — сказала Зинаида Федоровна вдруг по-русски, надтреснувшим голосом.— За что? Поймите мои страдания...

Орлов, испугавшийся слез, быстро пошел в каби-

нет и, не знаю зачем,— желал ли он причинить ей лишнюю боль, или вспомнил, что это практикуется в подобных случаях,— запер за собою дверь на ключ. Она вскрикнула и побежала за ним вдогонку, шурша платьем.

— Это что значит? — спросила она, стучась в дверь.— Это... это что значит? — повторила она тонким, обрывающимся от негодования голосом.— А, вы вот как? Так знайте же, я ненавижу, презираю вас! Между нами все уже кончено! Все!

Послышался истерический плач, с хохотом. В гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орлов пробрался из кабинета в переднюю через другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надел шинель и цилиндр и вышел.

Прошло полчаса, потом час, а она все плакала. Я вспомнил, что у нее нет ни отца, ни матери, ни родных, что здесь она живет между человеком, который ее ненавидит, и Полей, которая ее обкрадывает,— и какою безотрадною представилась мне ее жизнь! Я, сам не знаю зачем, пошел к ней в гостиную. Она, слабая, беспомощная, с прекрасными волосами, казавшаяся мне образцом нежности и изящества, мучилась как больная; она лежала на кушетке, пряча лицо, и вздрагивала всем телом.

— Сударыня, не прикажете ли сходить за доктором? — спросил я тихо.

— Нет, не нужно... пустяки,— сказала она и посмотрела на меня заплаканными глазами.— У меня немножко голова болит... Благодарю.

Я вышел. А вечером она писала письмо за письмом и посылала меня то к Пекарскому, то к Кукушкину, то к Грузину и, наконец, куда мне угодно, лишь бы только я поскорее нашел Орлова и отдал ему письмо. Когда я всякий раз возвращался обратно с письмом, она бранила меня, умоляла, совала мне в руку деньги — точно в горячке. И ночью она не спала, а сидела в гостиной и разговаривала сама с собой.

На другой день Орлов вернулся к обеду, и они помирились.

В первый четверг после этого Орлов жаловался своим приятелям на невыносимо тяжелую жизнь; он много курил и говорил с раздражением:

— Это не жизнь, а инквизиция. Слезы, вопли, умные разговоры, просьбы о прощении, опять слезы и вопли, а в итоге — у меня нет теперь собственной квартиры, я замучился и ее замучил. Неужели придется жить так еще месяц или два? Неужели? А ведь это возможно!

— А ты с ней поговори,— сказал Пекарский.

— Пробовал, но не могу. Можно смело говорить какую угодно правду человеку самостоятельному, рассуждающему, а ведь тут имеешь дело с существом, у которого ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слез, они меня обезоруживают. Когда она плачет, то я готов клясться в вечной любви и сам плакать.

Пекарский не понял, почесал в раздумье свой широкий лоб и сказал:

— Право, нанял бы ты ей отдельную квартиру. Ведь это так просто!

— Ей нужен я, а не квартира. Да что говорить?— вздохнул Орлов.— Я слышу только бесконечные разговоры, но не вижу выхода из своего положения. Вот уж воистину без вины виноват! Не назывался груздем, а полезай в кузов. Всю свою жизнь открещивался от роли героя, всегда терпеть не мог тургеневские романы и вдруг, словно на смех, попал в самые настоящие герои. Уверяю честным словом, что я вовсе не герой, привожу тому неопровержимые доказательства, но мне не верят. Почему не верят? Должно быть, в самом деле у меня в физиономии есть что-нибудь геройское.

— А вы поезжайте ревизовать губернии,— сказал Кукушкин со смехом.

— Да только это и остается.

Через неделю после этого разговора Орлов объявил, что его опять командируют к сенатору, и в тот же день вечером уехал со своими чемоданами к Пекарскому.

XI

На пороге стоял старик лет шестидесяти, в длинной до земли шубе и в бобровой шапке.

— Дома Георгий Иваныч? — спросил он.

Сначала я подумал, что это один из ростовщиков, кредиторов Грузина, которые иногда хаживали к Орлову за мелкими получками, но когда он вошел в переднюю и распахнул шубу, я увидал густые брови и характерно сжатые губы, которые я так хорошо изучил по фотографиям, и два ряда звезд на форменном фраке. Я узнал его: это был отец Орлова, известный государственный человек.

Я ответил ему, что Георгия Иваныча нет дома. Старик крепко сжал губы и в раздумье поглядел в сторону, показывая мне свой сухой, беззубый профиль.

— Я оставлю записку, — сказал он. — Проводи меня.

Он оставил в передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошел в кабинет. Тут он сел в кресло перед письменным столом и, прежде чем взяться за перо, минуты три думал о чем-то, заслонив глаза рукою, как от солнца, — точь-в-точь, как это делал его сын, когда бывал не в духе. Лицо у него было грустное, задумчивое, с выражением той покорности, какую мне приходилось видеть на лицах только у людей старых и религиозных. Я стоял позади, глядел на его лысину и на ямку в затылке, и для меня было ясно, как день, что этот слабый, больной старик теперь в моих руках. Ведь во всей квартире, кроме меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мне только употребить немножко физической силы, потом сорвать часы, чтобы замаскировать цели, и уйти черным ходом, и я получил бы неизмеримо больше, чем мог рассчитывать, когда поступал в лакеи. Я думал: едва ли когда представится мне более счастливый случай. Но вместо того чтобы действовать, я совершенно равнодушно посматривал то на

лысину, то на мех и покойно размышлял об отношениях этого человека к своему единственному сыну и о том, что людям, избалованным богатством и властью, вероятно, не хочется умирать...

— Ты давно служишь у моего сына? — спросил он, выводя на бумаге крупные буквы.

— Третий месяц, ваше высокопревосходительство.

Он кончил писать и встал. У меня еще оставалось время. Я торопил себя и сжимал кулаки, стараясь выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти; я вспоминал, каким страстным, упрямым и неутомимым врагом я был еще так недавно... Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое грустное лицо и холодный блеск звезд вызывали во мне только мелкие, дешевые и ненужные мысли о бренности всего земного, о скорой смерти...

— Прощай, братец! — сказал старик, надел шапку и вышел.

Нельзя уже было сомневаться: во мне произошла перемена, я стал другим. Чтобы проверить себя, я начал вспоминать, но тотчас же мне стало жутко, как будто я нечаянно заглянул в темный, сырой угол. Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?

Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в раскрытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море — всюду, куда хватало мое воображение. Когда вернулась Зинаида Федоровна, я бросился отворять ей и с особенною нежностью снял с нее шубу. В последний раз!

Кроме старика, в этот день приходило к нам еще двое. Вечером, когда совсем уже стемнело, неожиданно пришел Грузин, чтобы взять для Орлова какие-то бумаги. Он открыл стол, достал нужные бумаги и, свернув их в трубку, приказал мне положить в передней около его шапки, а сам пошел к Зинаиде Федоровне. Она лежала в гостиной на софе, подложив руки под голову. Прошло уже пять или шесть дней, как Орлов уехал на ревизию, и никому не было известно, когда он вернется, но она уже не посылала телеграмм и не ожидала их. Поли, которая все еще жила у нас, она как будто не замечала. «Пусть!» — читал я на ее бесстрастном, очень бледном лице. Ей уже, как Орлову, из упрямства хотелось быть несчастной; она назло себе и всему на свете по целым дням лежала неподвижно на софе, желая себе только одного дурного и ожидая только дурное. Вероятно, она воображала себе возвращение Орлова и неизбежные ссоры с ним, потом его охлаждение, измены, потом, как они разойдутся, и эти мучительные мысли доставляли ей, быть может, удовольствие. Но что бы она сказала, если бы вдруг узнала настоящую правду?

— Я вас люблю, кума,— говорил Грузин, здороваясь и целуя ей руку.— Вы такая добрая! А Жорженька-то уехал,— солгал он.— Уехал, злодей!

Он со вздохом сел и нежно погладил ее по руке.

— Позвольте, голубка, посидеть у вас часок,— сказал он.— Домой мне идти не хочется, а к Биршовым еще рано. Сегодня у Биршовых день рождения их Кати. Славная девочка!

Я подал ему стакан чаю и графинчик с коньяком. Он медленно, с видимою неохотой выпил чай и, возвращая мне стакан, спросил робко:

— А нет ли у вас, дружок, чего-нибудь... закусить? Я еще не обедал.

У нас ничего не было. Я сходил в ресторан и принес ему обыкновенный рублевый обед.

— За ваше здоровье, голубчик! — сказал он Зинаиде Федоровне и выпил рюмку водки.— Моя маленькая, ваша крестница, кланяется вам. Бедняжка,

у нее золотушка! Ах, дети, дети! — вздохнул он.— Что ни говорите, кума, а приятно быть отцом. Жорженьке непонятно это чувство.

Он еще выпил. Тощий, бледный, с салфеткой на груди, точно в передничке, он с жадностью ел и, поднимая брови, виновато поглядывал то на Зинаиду Федоровну, то на меня, как мальчик. Казалось, что если бы я не дал ему рябчика или желе, то он заплакал бы. Утолив голод, он повеселел и стал со смехом рассказывать что-то о семье Биршовых, но, заметив, что это скучно и что Зинаида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг стало скучно. После обеда оба сидели в гостиной при свете одной только лампы и молчали: ему тяжело было лгать, а она хотела спросить его о чем-то, но не решалась. Так прошло с полчаса. Грузин поглядел на часы.

— А пожалуй, что мне и пора.

— Нет, посидите... Нам поговорить надо.

Опять помолчали. Он сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что день грядущий мне готовит?» — но, по обыкновению, тотчас же встал и встряхнул головой.

— Сыграйте, кум, что-нибудь,— попросила Зинаида Федоровна.

— Что же? — спросил он, пожав плечами.— Я все уже перезабыл. Давно бросил.

Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского, так тепло, так умно! Лицо у него было такое, как всегда — не умное и не глупое, и мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недосягаемый для меня подъем чувства, на такую чистоту. Зинаида Федоровна раскраснелась и в волнении стала ходить по гостиной.

— А вот погодите, кума, если вспомню, я сыграю вам одну штучку,— сказал он.— Я слышал, как ее играли на виолончели.

Сначала робко и подбирая, затем с уверенностью он заиграл «Лебединую песню» Сен-Санса. Сыграл и повторил.

— Мило ведь? — сказал он.

Взволнованная Зинаида Федоровна остановилась около него и спросила:

— Кум, скажите мне искренно, по-дружески: что вы обо мне думаете?

— Что же сказать? — проговорил он, поднимая брови.— Я люблю вас и думаю о вас одно только хорошее. Если же вы хотите, чтоб я говорил вообще по интересующему вас вопросу,— продолжал он, вытирая себе рукав около локтя и хмурясь,— то, милая, знаете ли... Свободно следовать влечениям своего сердца — это не всегда дает хорошим людям счастье. Чтобы чувствовать себя свободным и в то же время счастливым, мне кажется, надо не скрывать от себя, что жизнь жестока, груба и беспощадна в своем консерватизме, и надо отвечать ей тем, чего она стоит, то есть быть так же, как она, грубым и беспощадным в своих стремлениях к свободе. Я так думаю.

— Куда мне! — печально улыбнулась Зинаида Федоровна.— Я уже утомилась, кум. Я так утомилась, что не пошевельну пальцем для своего спасения.

— Ступайте, кума, в монастырь.

Это он сказал шутя, но после его слов у Зинаиды Федоровны, а потом и у него самого на глазах заблестели слезы.

— Ну-с,— сказал он,— сидели-сидели да поехали. Прощайте, кумушка милая. Дай бог вам здоровья.

Он поцеловал ей обе руки и, нежно погладив их, сказал, что непременно побывает еще на днях. Надевая в передней свое пальто, похожее на детский капотик, он долго шарил в карманах, чтобы дать мне на чай, но ничего не нашел.

— Прощай, голубчик! — сказал он грустно и вышел.

Никогда не забуду того настроения, какое оставил после себя этот человек. Зинаида Федоровна все еще продолжала в волнении ходить по гостиной. Не лежала, а ходила — уж одно это хорошо. Я хотел воспользоваться этим настроением, чтоб откровенно поговорить с ней и тотчас уйти, но едва я успел прово-

дить Грузина, как послышался звонок. Это пришел Кукушкин.

— Дома Георгий Иваныч? — спросил он.— Вернулся? Ты говоришь: нет? Экая жалость! В таком случае пойду поцелую хозяйке ручку и — вон. Зинаида Федоровна, можно? — крикнул он.— Я хочу вам ручку поцеловать. Извините, что так поздно.

Он просидел в гостиной недолго, не больше десяти минут, но мне казалось, что он сидит уже давно и никогда не уйдет. Я кусал себе губы от негодования и досады и уже ненавидел Зинаиду Федоровну. «Почему она не гонит его от себя?» — возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала с ним.

Когда я подавал ему шубу, он в знак особого ко мне расположения спросил меня, как это я могу обходиться без жены.

— Но, я думаю, ты не зеваешь,— сказал он смеясь.— У тебя с Полей, должно быть, тут шуры-амуры... Шалун!

Несмотря на свой житейский опыт, я тогда мало знал людей, и очень возможно, что я часто преувеличивал ничтожное и вовсе не замечал важного. Мне показалось, что Кукушкин хихикает и льстит мне недаром: уж не надеется ли он, что я, как лакей, буду болтать всюду по чужим лакейским и кухням о том, что он бывает у нас по вечерам, когда нет Орлова, и просиживает с Зинаидой Федоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдут до ушей его знакомых, он будет конфузливо опускать глаза и грозить мизинцем. И разве сам он,— думал я, глядя на его маленькое медовое лицо,— не будет сегодня же за картами делать вид и, пожалуй, проговариваться, что он уже отбил у Орлова Зинаиду Федоровну?

Та ненависть, которой так недоставало мне в полдень, когда приходил старик, теперь овладела мной. Кукушкин вышел, наконец, и я, прислушиваясь к шарканью его кожаных калош, чувствовал сильное желание послать ему вдогонку на прощанье какое-нибудь грубое ругательство, но сдержал себя. А когда шаги затихли на лестнице, я вернулся в переднюю и, сам не зная, что делаю, схватил сверток бумаг,

забытый Грузиным, и опрометью побежал вниз. Без пальто и без шапки я выбежал на улицу. Было не холодно, но шел крупный снег и дул ветер.

— Ваше превосходительство! — крикнул я, догоняя Кукушкина.— Ваше превосходительство!

Он остановился около фонаря и оглянулся с недоумением.

— Ваше превосходительство! — проговорил я, задыхаясь.— Ваше превосходительство!

И, не придумав, что сказать, я раза два ударил его бумажным свертком по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь,— до такой степени я ошеломил его,— он прислонился спиной к фонарю и заслонил руками лицо. В это время мимо проходил какой-то военный доктор и видел, как я бил человека, но только с недоумением посмотрел на нас и пошел дальше. Мне стало стыдно, и я побежал обратно в дом.

XII

С мокрою от снега головой и запыхавшись, я прибежал в лакейскую и тотчас же сбросил фрак, надел пиджак и пальто и вынес свой чемодан в переднюю. Бежать! Но, прежде чем уйти, я поскорее сел и стал писать Орлову:

«Оставляю вам свой фальшивый паспорт,— начал я,— прошу оставить его себе на память, фальшивый человек, господин петербургский чиновник!

Вкрасться в дом под чужим именем, наблюдать из-под лакейской маски интимную жизнь, все видеть и слышать, чтобы потом непрошено изобличить во лжи,— все это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мне теперь не до благородства. Я пережил десятки ваших ужинов и обедов, когда вы говорили и делали, что хотели, а я должен был слушать, видеть и молчать,— я не хочу подарить вам этого. К тому же, если около вас нет живой души, которая осмелилась бы говорить вам правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степан умоет вам вашу великолепную физиономию».

Это начало мне не понравилось, но исправлять мне не хотелось. Да и не все ли равно?

Большие окна с темными портьерами, постель, скомканный фрак на полу и мокрые следы от моих ног смотрели сурово и печально. И тишина была какая-то особенная.

Вероятно, оттого, что я выбегал на улицу без шапки и калош, у меня поднялся сильный жар. Горело лицо, ломило ноги... Тяжелую голову клонило к столу, а в мыслях было какое-то раздвоение, когда кажется, что за каждою мыслью в мозгу движется ее тень.

«Я болен, слаб, нравственно угнетен,— продолжал я,— я не могу писать вам, как бы хотел. В первую минуту у меня было желание оскорбить и унизить вас, но теперь мне не кажется, что я имею на это право. Вы и я — оба упали, и оба уже никогда не встанем, и мое письмо, если бы даже оно было красноречиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стук по гробовой крышке: как ни стучи — не разбудишь! Никакие усилия уже не могут согреть вашей проклятой холодной крови, и это вы знаете лучше, чем я. Зачем же писать? Но голова и сердце горят, я продолжаю писать, почему-то волнуюсь, как будто это письмо может еще спасти вас и меня. От жара мысли не вяжутся в голове и перо как-то бессмысленно скрипит по бумаге, но вопрос, который я хочу задать вам, стоит передо мной ясно, как огненный.

Отчего я раньше времени ослабел и упал, объяснить нетрудно. Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота, чтобы отнести их на вершину горы, но только когда уже изнемог, когда во мне навеки погасли молодость и здоровье, я заметил, что эти ворота мне не по плечам и что я обманул себя. К тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испытал голод, холод, болезни, лишение свободы; личного счастья я не знал и не знаю, приюта у меня нет, воспоминания мои тяжки, и совесть моя часто боится их. Но отчего вы-то упали, вы? Какие роковые, дьявольские причины помешали вашей жизни развернуться полным весенним цветом, отчего вы,

не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие божие и превратились в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других оттого, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, как азиат, тот самый, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Да, вы много читаете, и на вас ловко сидит европейский фрак, но все же с какою нежною, чисто азиатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения,— от боли и беспокойства, как рано ваша душа спряталась в халат, какого труса разыграли вы перед действительною жизнью и природой, с которою борется всякий здоровый и нормальный человек. Как вам мягко, уютно, тепло, удобно — и как скучно! Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме, но вы стараетесь спрятаться и от этого врага: вы по восьми часов в сутки играете в карты.

А ваша ирония? О, как хорошо я ее понимаю! Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, поспешили смолоду поставить ее в рамки; вы вооружились ироническим отношением к жизни, или как хотите называйте, и сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, который вы поставили ей, и когда вы глумитесь над идеями, которые якобы *все* вам известны, то вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но, чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль. В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею не прав, а вы гадко и пошловато посмеиваетесь над идеями добра и правды, потому что уже не в силах вернуться к ним. Всякий искренний и правдивый намек на ваше падение страшен вам, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умеют только льстить вашим слабостям. И недаром, недаром вы так боитесь слез!

Кстати, ваши отношения к женщине. Бесстыдство

мы унаследовали с плотью и кровью и в бесстыдстве воспитаны, но ведь на то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя. С возмужалостью, когда вам стали известны *все* идеи, вы не могли не увидеть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ее, и, чтобы обмануть свою совесть, стали громко уверять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она так же низменна, как и ваши отношения к ней. Разве холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смех, все ваши бесчисленные теории о сущности, неопределенных требованиях к браку, о десяти су, которые платит женщине французский рабочий, ваши вечные ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч.,— разве все это не похоже на желание во что бы то ни стало пригнуть женщину низко к грязи, чтобы она и ваши отношения к ней стояли на одном уровне? Вы — слабый, несчастный, несимпатичный человек».

В гостиной заиграла на рояле Зинаида Федоровна, стараясь вспомнить пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин. Я пошел и лег на постель, но, вспомнив, что мне пора уходить, поднялся через силу и с тяжелою, горячею головой опять пошел к столу.

«Но вот вопрос,— продолжал я.— Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к 30—35 годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?

Разбойник, висевший на кресте, сумел вернуть себе жизненную радость и смелую, осуществимую надежду, хотя, быть может, ему оставалось жить не больше часа. У вас впереди еще длинные годы, и я, вероятно, умру не так скоро, как кажется. Что, если бы чудом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой?.. Сладкие мечты

жгут меня, и я едва дышу от волнения. Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды,— хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их...»

Больше я не написал ни одного слова. Мыслей было много в голове, но все они расплывались и не укладывались в строки. Не окончив письма, я подписал свое звание, имя и фамилию и пошел в кабинет. Было темно. Я нащупал стол и положил письмо. Должно быть, в потемках я натыкался на мебель и производил шум.

— Кто там? — послышался тревожный голос из гостиной.

И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи.

XIII

В потемках я по крайней мере с полминуты царапал дверь, нащупывая ее, потом медленно отворил и вошел в гостиную. Зинаида Федоровна лежала на кушетке и, поднявшись на локоть, глядела мне навстречу. Не решаясь заговорить, я медленно прошел мимо, и она проводила меня взглядом. Я постоял немного в зале и опять прошел мимо, и она посмотрела на меня внимательно и с недоумением, даже со страхом. Наконец, я остановился и проговорил через силу:

— Он не вернется!

Она быстро встала на ноги и смотрела на меня не понимая.

— Он не вернется! — повторил я, и у меня страшно застучало сердце.— Он не вернется, потому что не уезжал из Петербурга. Он живет у Пекарского.

Она поняла и поверила мне,— это я видел по ее внезапной бледности и по тому, как она вдруг скрестила на груди руки со страхом и мольбой. В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое, она сообразила и с неумолимою ясностью увидела всю правду. Но в то же время она вспомнила, что

я лакей, низшее существо... Проходимец с всклокоченными волосами, с красным от жара лицом, быть может, пьяный, в каком-то пошлом пальто, грубо вмешался в ее интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мне сурово:

— Вас не спрашивают. Подите отсюда прочь.

— О, верьте мне! — сказал я с увлечением, протягивая к ней руки.— Я не лакей, я такой же свободный, как и вы!

Я назвал себя и быстро, быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла к себе, объяснил, кто я и зачем тут живу. Это новое открытие поразило ее сильнее, чем первое. У нее ранее была все-таки надежда, что лакей солгал, или ошибся, или сказал глупость, теперь же, после моего признания, у нее не оставалось никаких сомнений. По выражению ее несчастных глаз и лица, которое вдруг стало некрасиво, потому что постарело и потеряло свою мягкость, я видел, что ей нестерпимо тяжело, что я не к добру начал этот разговор; но я продолжал с увлечением:

— Сенатор и ревизия были придуманы, чтобы обмануть вас. В январе он так же, как и теперь, никуда не уезжал, а жил у Пекарского, и я виделся с ним каждый день и участвовал в обмане. Вами тяготились, ваше присутствие здесь ненавидели, над вами смеялись... Если бы вы могли подслушать, как он и его друзья здесь издевались над вами и вашею любовью, то вы не остались бы здесь ни одной минуты! Бегите отсюда! Бегите!

— Ну, что ж? — проговорила она дрожащим голосом и провела рукой по волосам.— Ну, что ж? Пусть.

Глаза ее были полны слез, губы дрожали, и все лицо было поразительно бледно и дышало гневом. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презренною, смешною; она улыбалась, и мне не нравилась эта ее улыбка.

— Ну, что ж? — повторила она и опять провела рукой по волосам.— Пусть. Он воображает, что я умру от унижения, а мне... смешно. Напрасно он прячется.— Она отошла от рояля и сказала, пожав пле-

чами: — Напрасно... Было бы проще объясниться, чем прятаться и скитаться по чужим квартирам. У меня есть глаза, я сама давно уже видела... и только ждала его приезда, чтоб окончательно объясниться.

Потом она села в кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. В гостиной горела одна только свеча в канделябре, и около кресел, где она сидела, было темно, но я видел, как вздрагивали ее голова и плечи и как волосы, выбиваясь из прически, закрывали шею, лицо, руки... В ее тихом, ровном плаче, не истерическом, обыкновенном женском плаче слышались оскорбление, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и к чему нельзя привыкнуть. В моей взволнованной, страдающей душе ее плач отзывался эхом; я уже забыл про свою болезнь и про все на свете, ходил по гостиной и бормотал растерянно:

— Что же это за жизнь?.. О, нельзя так жить! Нельзя! Это — безумие, преступление, а не жизнь!

— Какое унижение! — говорила она сквозь плач. — Жить вместе... улыбаться мне в то время, как я ему в тягость, смешна... О, какое унижение!

Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые от слез, и поправляя эти волосы, мешавшие ей смотреть на меня, спросила:

— Они смеялись?

— Этим людям были смешны и вы, и ваша любовь, и Тургенев, которого вы будто бы начитались. И если мы оба сейчас умрем с отчаяния, то это им будет тоже смешно. Они сочинят смешной анекдот и будут рассказывать его на вашей панихиде. Да что о них говорить? — сказал я с нетерпением. — Надо бежать отсюда. Я не могу оставаться здесь дольше ни одной минуты.

Она опять заплакала, а я отошел к роялю и сел.

— Что же мы ждем? — спросил я уныло. — Уже третий час.

— Ничего я не жду, — сказала она. — Я пропала.

— Зачем говорить так? Давайте-ка лучше обду-

маем вместе, что нам делать. Ни вам, ни мне уже нельзя оставаться здесь... Куда вы намерены ехать отсюда?

Вдруг в передней раздался звонок. У меня екнуло сердце. Уж не Орлов ли это, которому пожаловался на меня Кукушкин? Как мы с ним встретимся? Я пошел отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула в передней со своего бурнуса снег и, не сказав мне ни слова, отправилась к себе. Когда я вернулся в гостиную, Зинаида Федоровна, бледная, как мертвец, стояла среди комнаты и большими глазами смотрела мне навстречу.

— Кто это пришел? — спросила она тихо.

— Поля,— отвечал я.

Она провела рукой по волосам и в изнеможении закрыла глаза.

— Я сейчас уеду отсюда,— сказала она.— Вы будете добры, проводите меня на Петербургскую сторону. Теперь который час?

— Без четверти три.

XIV

Когда мы немного погодя вышли из дому, на улице было темно и безлюдно. Шел мокрый снег, и влажный ветер хлестал по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель, и уже несколько дней извозчики ездили на колесах. Под впечатлением черной лестницы, холода, ночных потемок и дворника в тулупе, который опросил нас, прежде чем выпустил за ворота, Зинаида Федоровна совсем ослабела и пала духом. Когда мы сели в пролетку и накрылись верхом, она, дрожа всем телом, торопливо заговорила о том, как она мне благодарна.

— Я не сомневаюсь в вашем доброжелательстве, но мне стыдно, что вы беспокоитесь...— бормотала она.— О, я понимаю, понимаю... Когда сегодня был Грузин, я чувствовала, что он лжет и что-то скрывает. Ну, что ж? Пусть. Но все-таки мне совестно, что вы так беспокоитесь.

У нее оставались еще сомнения. Чтобы окончательно рассеять их, я приказал извозчику ехать по Сергиевской; остановивши его у подъезда Пекарского, я вылез из пролетки и позвонил. Когда вышел швейцар, я громко, чтобы могла слышать Зинаида Федоровна, спросил, дома ли Георгий Иваныч.

— Дома,— ответил он.— С полчаса как приехал. Должно, уж спит. А тебе что?

Зинаида Федоровна не выдержала и высунулась из пролетки.

— А давно Георгий Иванович живет здесь? — спросила она.

— Уже третью неделю.

— И никуда не уезжал?

— Никуда,— ответил швейцар и посмотрел на меня с удивлением.

— Передай ему завтра пораньше,— сказал я,— что к нему из Варшавы сестра приехала. Прощай.

Затем мы поехали дальше. В пролетке не было фартука, и снег валил на нас хлопьями, и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей. Мне стало казаться, что мы давно уже едем, давно страдаем и что я давно уже слышу, как дрожит дыхание у Зинаиды Федоровны. Я мельком, в каком-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, бестолковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться от этого полубреда, выглянул из-под верха и увидел рассвет, все образы прошлого, все туманные мысли вдруг слились у меня в одну ясную, крепкую мысль: я и Зинаида Федоровна погибли уже безвозвратно. Это была уверенность, как будто синее холодное небо содержало в себе пророчество, но через мгновение я думал уже о другом и верил в другое.

— Что же я теперь? — говорила Зинаида Федоровна голосом, сиплым от холода и сырости.— Куда мне идти, что делать? Грузин сказал: ступайте в монастырь. О, я пошла бы! Переменила бы одежду, свое лицо, имя, мысли... все, все и спряталась бы навеки. Но меня не пустят в монастырь. Я беременна.

— Мы завтра поедем с вами за границу,— сказал я.

— Нельзя это. Муж не даст мне паспорта.

— Я провезу вас без паспорта.

Извозчик остановился около двухэтажного деревянного дома, выкрашенного в темный цвет. Я позвонил. Принимая от меня небольшую легкую корзинку,— единственный багаж, который мы взяли с собой,— Зинаида Федоровна как-то кисло улыбнулась и сказала:

— Это мои bijoux...[1]

Но она так ослабела, что была не в силах держать эти bijoux. Нам долго не отворяли. После третьего или четвертого звонка в окнах замелькал свет и послышались шаги, кашель, шепот; наконец, щелкнул замок, и в дверях показалась полная баба с красным, испуганным лицом. Позади ее, на некотором расстоянии, стояла маленькая худенькая старушка с стрижеными седыми волосами, в белой кофточке и со свечой в руках. Зинаида Федоровна вбежала в сени и бросилась к этой старушке на шею.

— Нина, я обманута! — громко зарыдала она.— Я обманута грубо, гадко! Нина! Нина!

Я отдал бабе корзинку. Дверь заперли, но все еще слышались рыдания и крик: «Нина!» Я сел в пролетку и приказал извозчику ехать не спеша к Невскому. Нужно было подумать и о своем ночлеге.

На другой день, перед вечером, я был у Зинаиды Федоровны. Она сильно изменилась. На ее бледном, сильно похудевшем лице не было уже и следа слез, и выражение было другое. Не знаю, оттого ли, что я видел ее теперь при другой обстановке, далеко не роскошной, и что отношения наши были уже иные, или, быть может, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такою изящною и нарядною, как всегда; фигура у нее стала как будто мельче, в движениях, в походке, в ее лице я заметил излишнюю нервность, порывистость, как будто она спешила, и не было прежней мягкости даже в ее

---

[1] драгоценности... *(франц.)*

улыбке. Я был одет теперь в дорогую пару, которую купил себе днем. Она окинула взглядом прежде всего эту пару и шляпу в моей руке, потом остановила нетерпеливый, испытующий взгляд на моем лице, как бы изучая его.

— Ваше превращение мне все еще кажется каким-то чудом,— сказала она.— Извините, я с таким любопытством осматриваю вас. Ведь вы необыкновенный человек.

Я рассказал ей еще раз, кто я и зачем жил у Орлова, и рассказывал об этом дольше и подробнее, чем вчера. Она слушала с большим вниманием и, не дав мне кончить, проговорила:

— Там у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вот ответ.

На листке, который она подала мне, почерком Орлова было написано: «Я не стану оправдываться. Но согласитесь: ошиблись вы, а не я. Желаю счастья и прошу поскорее забыть уважающего вас Г. О.

P. S. Посылаю ваши вещи».

Сундуки и корзины, присланные Орловым, стояли тут же в гостиной, и среди них находился также и мой жалкий чемодан.

— Значит...— сказала Зинаида Федоровна и не договорила.

Мы помолчали. Она взяла записку и минуты две держала ее перед глазами, и в это время лицо ее приняло то самое надменное, презрительное и гордое, черствое выражение, какое у нее было вчера в начале нашего объяснения; на глазах у нее выступили слезы, не робкие, не горькие, а гордые, сердитые слезы.

— Слушайте,— сказала она, порывисто поднимаясь и отходя к окну, чтобы я не видел ее лица.— Я решила так: завтра же уеду с вами за границу.

— И прекрасно. Я готов ехать хоть сегодня.

— Вербуйте меня. Вы читали Бальзака? — спросила она вдруг, обернувшись.— Читали? Его роман «Père Goriot» [1] кончается тем, что герой глядит с вер-

[1] «Отец Горио» *(франц.)*.

шины холма на Париж и грозит этому городу: «Теперь мы разделаемся!» — и после этого начинает новую жизнь. Так и я, когда из вагона взгляну в последний раз на Петербург, то скажу ему: «Теперь мы разделаемся!»

И, сказавши это, она улыбнулась этой своей шутке и почему-то вздрогнула всем телом.

XV

В Венеции у меня начались плевритические боли. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в Hôtel Bauer. Пришлось с первого же дня лечь в постель и пролежать недели две. Каждое утро, пока я был болен, приходила ко мне из своего номера Зинаида Федоровна, чтобы вместе пить кофе, и потом читала мне вслух французские и русские книги, которых мы много накупили в Вене. Эти книги были мне давно уже знакомы или же неинтересны, но около меня звучал милый, добрый голос, так что, в сущности, содержание всех их для меня сводилось к одному: я не одинок. Она уходила гулять, возвращалась в своем светло-сером платье, в легкой соломенной шляпе, веселая, согретая весенним солнцем, и, севши у постели, нагнувшись низко к моему лицу, рассказывала что-нибудь про Венецию или читала эти книги — и мне было хорошо.

Ночью мне было холодно, больно и скучно, но днем я упивался жизнью,— лучшего выражения не придумаешь. Яркое, горячее солнце, бьющее в открытые окна и в дверь на балконе, крики внизу, плесканье весел, звон колоколов, раскатистый гром пушки в полдень и чувство полной, полной свободы делали со мной чудеса; я чувствовал на своих боках сильные, широкие крылья, которые уносили меня бог весть куда. А какая прелесть, сколько порой радости от мысли, что с моею жизнью теперь идет рядом другая жизнь, что я слуга, сторож, друг, необходимый спутник существа молодого, красивого и богатого, но слабого, оскорбленного, одинокого! Даже

болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника. Раз я слышал, как она за дверью шепталась с моим доктором, и потом вошла ко мне с заплаканными глазами,— это плохой знак,— но я был растроган, и у меня стало на душе необыкновенно легко.

Но вот мне позволили выходить на балкон. Солнце и легкий ветерок с моря нежат и ласкают мое больное тело. Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые плывут с женственною грацией, плавно и величаво, как будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по лицу! Вот если взглянуть прямо через канал, то видно взморье и на горизонте на просторе солнце рябит по воде так ярко, что больно смотреть. Тянет душу туда, к родному, хорошему морю, которому я отдал свою молодость. Жить хочется! Жить и — больше ничего!

Через две недели я стал ходить, куда мне угодно. Я любил сидеть на солнышке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона,— наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не отрывал глаз с печального льва. А в дворце дожей меня все манило к тому углу, где замазали черною краской несчастного Марино Фальеро. Хорошо быть художником, поэтом, драматургом, думал я, но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться в мистицизм! Эх, к этому безмятежному спокойствию и удовлетворению, какое наполняет душу, хотя бы кусочек какой-нибудь веры.

Вечером ели устриц, пили вино, катались. Помню, наша черная гондола тихо качается на одном месте, под ней чуть слышно хлюпает вода. Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных огней. Недалеко от нас в гондоле, увешанной цвет-

ными фонарями, которые отражаются в воде, сидят какие-то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, мужские и женские голоса раздаются в потемках, и Зинаида Федоровна, бледная, с серьезным, почти суровым лицом, сидит рядом со мной, крепко стиснув губы и руки. Она думает о чем-то и не пошевельнет даже бровью и не слышит меня. Лицо, поза и неподвижный, ничего не выражающий взгляд и до невероятного унылые, жуткие и, как снег, холодные воспоминания, а кругом гондолы, огни, музыка, песня с энергическим страстным вскриком: «Jam-mo!.. Jam-mo!..» — какие житейские контрасты! Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе, в старинном вкусе, под названием: «Злосчастная», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы: она — злосчастная, брошенная, а я — верный, преданный друг, мечтатель и, если угодно, лишний человек, неудачник, не способный уже ни на что, как только кашлять и мечтать, да, пожалуй, еще жертвовать собой... но кому и на что нужны теперь мои жертвы? Да и чем жертвовать, спрашивается?

После вечерней прогулки мы каждый раз пили чай в ее номере и разговаривали. Мы не боялись трогать старых, еще не заживших ран,— напротив, я почему-то даже испытывал удовольствие, когда рассказывал ей о своей жизни у Орлова или откровенно касался отношений, которые мне были известны и не могли быть от меня скрыты.

— Минутами я вас ненавидел,— говорил я.— Когда он капризничал, снисходил и лгал, то меня поражало, как это вы ничего не видите, не понимаете, когда все так ясно. Целуете ему руки, стоите на коленях, льстите...

— Когда я... целовала руки и стояла на коленях, я любила...— говорила она, краснея.

— Неужели было так трудно разгадать его? Хорош сфинкс! Сфинкс — камер-юнкер! Я ни в чем вас не упрекаю, храни бог,— продолжал я, чувствуя, что я грубоват, что у меня нет светскости и той деликатности, которая так нужна, когда имеешь дело с

чужою душой; раньше, до знакомства с ней, я не замечал в себе этого недостатка.— Но как вы могли не угадать? — повторял я, но уже тише и неувереннее.

— Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы,— говорила она в сильном волнении.— Вы принадлежите к особенному разряду людей, которых нельзя мерить на обыкновенный аршин, ваши нравственные требования отличаются исключительною строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю вас, и если иной раз я противоречу, то это не значит, что я иначе смотрю на вещи, чем вы; говорю я прежний вздор просто оттого, что еще не успела износить своих старых платьев и предрассудков. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая это любовь? Теперь даже смешно все это,— говорила она, подходя к окну и глядя вниз на канал.— Все эти любви только туманят совесть и сбивают с толку. Смысл жизни только в одном — в борьбе. Наступить каблуком на подлую змеиную голову и чтобы она — крак! Вот в чем смысл. В этом одном, или же вовсе нет смысла.

Я рассказывал ей длинные истории из своего прошлого и описывал свои в самом деле изумительные похождения. Но о той перемене, какая произошла во мне, я не обмолвился ни одним словом. Она с большим вниманием слушала меня всякий раз и в интересных местах потирала руки, как будто с досадой, что ей не удалось еще пережить такие же приключения, страхи и радости, но вдруг задумывалась, уходила в себя, и я уже видел по ее лицу, что она не слушает меня.

Я закрывал окна, выходящие на канал, и спрашивал: не затопить ли камин?

— Нет, бог с ним. Мне не холодно,— говорила она, вяло улыбаясь,— я только ослабела вся. Знаете, мне кажется, что за последнее время я страшно поумнела. У меня теперь необыкновенные, оригинальные мысли. Когда я, например, думаю о прошлом, о своей тогдашней жизни... ну, о людях вообще, то все это

сливается у меня в одно — в образ моей мачехи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная и к тому же еще морфинистка. Отец, слабый и бесхарактерный, женился на моей матери из-за денег и вогнал ее в чахотку, а эту вот свою вторую жену, мою мачеху, любил страстно, без памяти... Натерпелась я! Ну, да что говорить! Так вот все, говорю я, сливается в один образ... И мне досадно: зачем мачеха умерла? Хотелось бы теперь встретиться с ней!..

— Зачем?

— Так, не знаю...— отвечала она со смехом, красиво встряхивая головой.— Спокойной ночи. Выздоравливайте. Как только поправитесь, займемся нашими делами... Пора.

Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила:

— Как думаете? Поля все еще живет у него?

— Вероятно.

И я уходил к себе. Так мы прожили целый месяц. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дождя, как марля, закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно. В тот же день мы уехали во Флоренцию.

XVI

Дело происходило уже осенью в Ницце. Однажды утром, когда я зашел к ней в номер, она сидела в кресле, положив ногу на ногу, сгорбившись, осунувшись, закрыв лицо руками, и плакала горько, навзрыд, и ее длинные, непричесанные волосы падали ей на колени. Впечатление чудного, удивительного моря, которое я только что видел, про которое хотел рассказать, вдруг оставило меня, и сердце мое сжалось от боли.

— О чем вы? — спросил я; она отняла одну руку от лица и махнула мне, чтоб я вышел.— Ну, о чем вы? — повторил я и в первый раз за все время нашего знакомства поцеловал у нее руку.

— Нет, нет, ничего! — проговорила она быстро.— Ах, ничего, ничего... Уйдите... Видите, я неодета.

Я вышел в страшном смущении. Покой и беспечальное настроение, в каком я так долго находился, были отравлены состраданием. Мне страстно хотелось пасть к ее ногам, умолять, чтобы она не плакала в одиночку, а делилась бы со мной своим горем, и ровный шум моря заворчал в моих ушах уже как мрачное пророчество, и я видел впереди новые слезы, новые скорби и потери. О чем, о чем она плачет? — спрашивал я, вспоминая ее лицо и страдальческий взгляд. Я вспомнил, что она беременна. Она старалась скрыть свое положение и от людей и от себя самой. Дома она ходила в просторной блузе или в кофточке с преувеличенно пышными складками на груди, а уходя куда-нибудь, затягивалась в корсет так сильно, что два раза во время прогулок с ней случались обмороки. Со мной она никогда не говорила о своей беременности, и однажды, когда я заикнулся о том, что ей не мешало бы посоветоваться с доктором, она вся покраснела и не сказала ни слова.

Когда я потом вошел к ней, она была уже одета и причесана.

— Полно, полно! — сказал я, видя, что она готова опять заплакать.— Давайте-ка лучше пойдем к морю и потолкуем.

— Не могу я говорить. Простите, я теперь в таком настроении, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Владимир Иванович, когда в другой раз захотите войти ко мне, то предварительно постучите в дверь.

Это «предварительно» прозвучало как-то особенно, не по-женски. Я вышел. Возвращалось проклятое, петербургское настроение, и все мои мечты свернулись и сжались, как листья от жара. Я чувствовал, что я опять одинок, что близости между нами нет. Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорвет и унесет ветер. Я прогулялся по скверу, где играла музыка, зашел в казино; тут я оглядывал разодетых, сильно пахнущих женщин, и каждая взглядывала на меня так, как будто хотела сказать: «Ты одинок, и прекрасно...» Потом я вышел

на террасу и долго глядел на море. Вдали на горизонте ни одного паруса, на левом берегу в лиловатой мгле горы, сады, башни, дома, на всем играет солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то...

XVII

Она по-прежнему приходила ко мне по утрам пить кофе, но мы уже не обедали вместе; ей, как она говорила, не хотелось есть, и питалась она только кофе, чаем и разными пустяками вроде апельсинов и карамели.

И разговоров у нас по вечерам уже не было. Не знаю, почему так. После того, как я застал ее в слезах, она стала относиться ко мне как-то слегка, подчас небрежно, даже с иронией, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшным, удивительным, героическим и что возбуждало в ней зависть и восторг, теперь не трогало ее вовсе, и обыкновенно, выслушав меня, она слегка потягивалась и говорила:

— Да, было дело под Полтавой, сударь мой, было.

Случалось даже, что я не встречался с ней по целым дням. Бывало, постучишься робко и виновато в ее дверь — ответа нет; постучишься еще раз — молчание... Стоишь около двери и слушаешь; но вот мимо проходит горничная и холодно заявляет: «Madame est partie»[1]. Затем ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь... Какие-то англичане, полногрудые дамы, гарсоны во фраках... И когда я долго смотрю на длинный полосатый ковер, который тянется через весь коридор, мне приходит на мысль, что в жизни этой женщины я играю странную, вероятно, фальшивую роль и что уже не в моих силах изменить эту роль; я бегу к себе в номер, падаю на постель и думаю, думаю и не могу ничего придумать, и для меня ясно только, что мне хочется жить и что чем некрасивее, суше и черствее становится ее лицо, тем она ближе ко мне и тем сильнее и больней я чувствую наше родство. Пусть я — «сударь

[1] Мадам уехала *(франц.)*.

мой», пусть этот легкий, пренебрежительный тон, пусть что угодно, но только не оставляй меня, мое сокровище. Мне теперь страшно одному.

Потом я опять выхожу в коридор, с тревогой прислушиваюсь... Я не обедаю, не замечаю, как наступает вечер. Наконец, часу в одиннадцатом слышатся знакомые шаги и на повороте около лестницы показывается Зинаида Федоровна.

— Прогуливаетесь? — спрашивает она, проходя мимо.— Вы бы лучше шли наружу... Спокойной ночи!

— Но разве мы уже не увидимся сегодня?

— Уже поздно, кажется. Впрочем, как хотите.

— Скажите, где вы были? — спрашиваю я, входя за нею в номер.

— Где? В Монте-Карло,— она достает из кармана штук десять золотых монет и говорит: — Вот, сударь мой. Выиграла. Это в рулетку.

— Ну, вы не станете играть.

— Отчего же? Я и завтра опять поеду.

Я воображал, как она с нехорошим, болезненным лицом, беременная, сильно затянутая, стоит около игорного стола в толпе кокоток, выживших из ума старух, которые жмутся у золота, как мухи у меда, вспоминал, что она уезжала в Монте-Карло почему-то тайно от меня...

— Я не верю вам,— сказал я однажды.— Вы не поедете туда.

— Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть.

— Дело не в проигрыше,— сказал я с досадой.— Разве вам не приходило на мысль, когда вы там играли, что блеск золота, все эти женщины, старые и молодые, крупье, вся обстановка, что все это — подлая, гнусная насмешка над трудом рабочего, над кровавым потом?

— Если не играть, то что же тут делать? — спросила она.— И труд рабочего и кровавый пот — это красноречие вы отложите до другого раза, а теперь, раз вы начали, то позвольте мне продолжать; позвольте мне поставить ребром вопрос: что мне тут делать и что я буду делать?

— Что делать? — сказал я, пожав плечами.— На этот вопрос нельзя ответить сразу.

— Я прошу ответа по совести, Владимир Иваныч,— сказала она, и лицо ее стало сердитым.— Раз я решилась задать вам этот вопрос, то не для того, чтобы слышать общие фразы. Я вас спрашиваю,— продолжала она, стуча ладонью по столу, как бы отбивая такт,— что я должна здесь делать? И не только здесь, в Ницце, но вообще?

Я молчал и смотрел в окно на море. Сердце у меня страшно забилось.

— Владимир Иваныч,— сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить.— Владимир Иваныч, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем... зачем вы тащили меня из Петербурга? Зачем обещали и зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды? Убеждения ваши изменились, вы стали другим человеком, и никто не винит вас в этом — убеждения не всегда в нашей власти, но... но, Владимир Иваныч, бога ради, зачем вы неискренни? — продолжала она тихо, подходя ко мне.— Когда я все эти месяцы мечтала вслух, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый лад, то почему вы не говорили мне правды, а молчали или поощряли рассказами и держали себя так, как будто вполне сочувствовали мне? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться в своем банкротстве,— проговорил я, оборачиваясь, но не глядя на нее.— Да, я не верю, утомился, пал духом... Тяжело быть искренним, страшно тяжело, и я молчал. Не дай бог никому пережить то, что я пережил.

Мне показалось, что я сейчас заплачу, и я замолчал.

— Владимир Иваныч,— сказала она и взяла меня за обе руки.— Вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я; подумайте серьезно и скажите: что мне делать? Научите меня. Если вы сами уже не в силах идти и вести за собой других, то по крайней мере укажите, куда мне идти. Согласитесь, ведь я живой, чувствующий и рассуждающий человек. Попасть в ложное положение... играть какую-то нелепую роль... мне это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю вас, а только прошу.

Принесли чай.

— Ну, что же? — спросила Зинаида Федоровна, подавая мне стакан.— Что вы мне скажете?

— Не только свету, что в окне,— ответил я.— И кроме меня есть люди, Зинаида Федоровна.

— Так вот укажите мне их,— живо сказала она.— Я об этом только и прошу вас.

— И еще я хочу сказать,— продолжал я.— Служить идее можно не в одном каком-нибудь поприще. Если ошиблись, изверились в одном, то можно отыскать другое. Мир идей широк и неисчерпаем.

— Мир идей! — проговорила она и насмешливо поглядела мне в лицо.— Так уж лучше мы перестанем... Что уж тут...

Она покраснела.

— Мир идей! — повторила она и отбросила салфетку в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение.— Все эти ваши прекрасные идеи, я вижу, сводятся к одному неизбежному, необходимому шагу: я должна сделаться вашею любовницей. Вот что нужно. Носиться с идеями и не быть любовницей честнейшего, идейнейшего человека — значит не понимать идей. Надо начинать с этого... то есть с любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Федоровна,—сказал я.

— Нет, я искренна! — крикнула она, тяжело дыша.— Я искренна.

— Вы искренни, быть может, но вы заблуждаетесь, и мне больно слушать вас.

— Я заблуждаюсь! — засмеялась она.— Кто бы говорил, да не вы, сударь мой. Пусть я покажусь вам неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Ведь любите?

Я пожал плечами.

— Да, пожимайте плечами! — продолжала она насмешливо.— Когда вы были больны, я слышала, как вы бредили, потом постоянно эти обожающие глаза, вздохи, благонамеренные разговоры о близости, духовном родстве... Но, главное, почему вы до сих пор были неискренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о том, чего нет? Сказали бы с самого начала, какие,

собственно, идеи заставили вас вытащить меня из Петербурга, так бы уж я и знала. Отравилась бы тогда, как хотела, и не было бы теперь этой нудной комедии... Э, да что говорить! — она махнула на меня рукой и села.

— Вы говорите таким тоном, как будто подозреваете во мне бесчестные намерения,— обиделся я.

— Ну, да уж ладно. Что уж тут. Я не намерения подозреваю в вас, а то, что у вас никаких намерений не было. Будь они у вас, я бы уж знала их. Кроме идей и любви, у вас ничего не было. Теперь идеи и любовь, а в перспективе — я любовница. Таков уж порядок вещей и в жизни и в романах... Вот вы бранили его,— сказала она и ударила ладонью по столу,— а ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи.

— Он не презирает идей, а боится их,— крикнул я.— Он трус и лжец.

— Ну, да уж ладно! Он трус, лжец и обманул меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы в Петербурге, а вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплетал к обману, а вы...

— Бога ради, зачем вы это говорите? — ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя к ней.— Нет, Зинаида Федоровна, нет, это цинизм, нельзя так отчаиваться, выслушайте меня,— продолжал я, ухватившись за мысль, которая вдруг неясно блеснула у меня в голове и, казалось, могла еще спасти нас обоих.— Слушайте меня. Я испытал на своем веку много, так много, что теперь при воспоминании голова кружится, и я теперь крепко понял мозгом, своей изболевшей душой, что назначение человека или ни в чем, или только в одном — в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение! Вот моя вера!

Дальше я хотел говорить о милосердии, о всепрощении, но голос мой вдруг зазвучал неискренно, и я смутился.

— Мне жить хочется! — проговорил я искренно.— Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вот этого моря, вашей близости. О, как бы я хотел внушить и вам эту страстную жажду жизни! Вы только что

говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выражения лица...

Она покраснела и сказала быстро, чтобы помешать мне говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у нас разные.

Она налила себе чаю, но не дотронулась до него, пошла в спальню и легла.

— Я полагаю, нам бы лучше прекратить этот разговор,— сказала она мне оттуда.— Для меня все уже кончено, и ничего мне не нужно... Что ж тут разговаривать еще!

— Нет, не все кончено!

— Ну, да ладно!.. Знаю я! Надоело... Будет.

Я постоял, прошелся из угла в угол и вышел в коридор. Когда потом, поздно ночью, я подошел к ее двери и прислушался, мне явственно послышался плач.

На другой день утром лакей, подавая мне платье, сообщил с улыбкой, что госпожа из тринадцатого номера родит. Я кое-как оделся и, замирая от ужаса, поспешил к Зинаиде Федоровне. В ее номере находились доктор, акушерка и пожилая русская дама из Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступил порог, как из комнаты, где лежала она, послышался тихий, жалобный стон, и точно это ветер донес мне его из России, я вспомнил Орлова, его иронию, Полю, Неву, снег хлопьями, потом пролетку без фартука, пророчество, какое я прочел на холодном утреннем небе, и отчаянный крик: «Нина! Нина!»

— Вы сходите к ней,— сказала дама.

Я вошел к Зинаиде Федоровне с таким чувством, как будто я был отцом ребенка. Она лежала с закрытыми глазами, худая, бледная, в белом чепчике с кружевами. Помню, два выражения были на ее лице: одно равнодушное, холодное, вялое, другое детское и беспомощное, какое придавал ей белый чепчик. Она не слышала, как я вошел, или, быть может, слышала, но не обратила на меня внимания. Я стоял, смотрел на нее и ждал.

Но вот лицо ее покривилось от боли, она открыла

глаза и стала глядеть в потолок, как бы соображая, что с ней... На ее лице выразилось отвращение.

— Гадко,— прошептала она.

— Зинаида Федоровна,— позвал я слабо.

Она равнодушно, вяло поглядела на меня и закрыла глаза. Я постоял немного и вышел.

Ночью Дарья Михайловна сообщила мне, что родилась девочка, но что роженица в опасном положении; потом по коридору бегали, был шум. Опять приходила ко мне Дарья Михайловна и с отчаянным лицом, ломая руки, говорила:

— О, это ужасно! Доктор подозревает, что она приняла яд! О, как нехорошо ведут себя здесь русские!

А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась.

XVIII

Прошло два года. Обстоятельства изменились, я опять поехал в Петербург и мог жить тут, уже не скрываясь. Я уже не боялся быть и казаться чувствительным и весь ушел в отеческое, или, вернее, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мне Соня, дочь Зинаиды Федоровны. Я кормил ее из своих рук, купал, укладывал спать, не сводил с нее глаз по целым ночам и вскрикивал, когда мне казалось, что нянька ее сейчас уронит. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни с течением времени становилась все сильнее и раздражительнее, но широкие мечты остановились около Сони, как будто нашли в ней, наконец, именно то, что мне нужно было. Я любил эту девочку безумно. В ней я видел продолжение своей жизни, и мне не то чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя длинное, костлявое, бородатое тело, то буду жить в этих голубых глазках, в белокурых шелковых волосиках и в этих пухлых розовых ручонках, которые так любовно гладят меня по лицу и обнимают мою шею.

Судьба Сони пугала меня. Отцом ее был Орлов, в метрическом свидетельстве она называлась Красновскою, а единственный человек, который знал об ее

существовании и для которого оно было интересно, то есть я, уже дотягивал свою песню. Нужно было подумать о ней серьезно.

На другой же день по приезде в Петербург я отправился к Орлову. Отворил мне толстый старик с рыжими бакенами и без усов, по-видимому немец. Поля, убиравшая в гостиной, не узнала меня, но зато Орлов узнал тотчас же.

— А, господин крамольник! — сказал он, оглядывая меня с любопытством и смеясь.— Какими судьбами?

Он нисколько не изменился: все то же холеное, неприятное лицо, та же ирония. И на столе, как в прежнее время, лежала какая-то новая книга с заложенным в нее ножом из слоновой кости. Очевидно, читал до моего прихода. Он усадил меня, предложил сигару и с деликатностью, свойственною только отлично воспитанным людям, скрывая неприятное чувство, какое возбуждали в нем мое лицо и моя тощая фигура, заметил вскользь, что я нисколько не изменился и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я оброс бородою. Поговорили о погоде, о Париже. Чтобы поскорее отделаться от тяжелого неизбежного вопроса, который томил и его и меня, он спросил:

— Зинаида Федоровна умерла?

— Да, умерла,— ответил я.

— От родов?

— Да, от родов. Доктор подозревал другую причину смерти, но... и для вас и для меня покойнее думать, что она умерла от родов.

Он вздохнул из приличия и помолчал. Пролетел тихий ангел.

— Так-с. А у меня все по-старому, никаких особенных перемен,— живо заговорил он, заметив, что я оглядываю кабинет.— Отец, как вы знаете, в отставке и уже на покое, я все там же. Пекарского помните? Он все такой же. Грузин в прошлом году умер от дифтерита... Ну-с, Кукушкин жив и частенько вспоминает о вас. Кстати,— продолжал Орлов, застенчиво опуская глаза,— когда Кукушкин узнал, кто вы, то стал везде рассказывать, что вы будто учинили на него нападение, хотели его убить... и он едва спасся.

Я промолчал.

— Старые слуги не забывают своих господ... Это очень мило с вашей стороны,— пошутил Орлов.— Однако не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить.

— Нет, благодарю. Я к вам по очень важному делу, Георгий Иваныч.

— Я не охотник до важных дел, но вам рад служить. Что прикажете?

— Видите ли,— начал я, волнуясь,— со мной в настоящее время находится здесь дочь покойной Зинаиды Федоровны... До сих пор я занимался ее воспитанием, но, как видите, не сегодня-завтра я превращусь в звук пустой. Мне хотелось бы умереть с мыслью, что она пристроена.

Орлов слегка покраснел, нахмурился и сурово, мельком взглянул на меня. На него неприятно подействовало не столько «важное дело», как слова мои о превращении в звук пустой, о смерти.

— Да, об этом надо подумать,— сказал он, заслоняя глаза, как от солнца.— Благодарю вас. Вы говорите: девочка?

— Да, девочка. Чудная девочка!

— Так. Это, конечно, не мопс, а человек... понятно, надо серьезно подумать. Я готов принять участие и... и очень обязан вам.

Он встал, прошелся, кусая ногти, и остановился перед картиной.

— Об этом надо подумать,— сказал он глухо, стоя ко мне спиной.— Я сегодня побываю у Пекарского и попрошу его съездить к Красновскому. Думаю, что Красновский не будет долго ломаться и согласится взять эту девочку.

— Но, простите, я не знаю, при чем тут Красновский,— сказал я, тоже вставая и подходя к картине в другом конце кабинета.

— Но ведь она носит его фамилию, надеюсь! — сказал Орлов.

— Да, он, быть может, обязан по закону принять к себе этого ребенка, я не знаю, но я пришел к вам, Георгий Иваныч, не для того, чтобы говорить о законах.

— Да, да, вы правы,— живо согласился он.— Я,

кажется, говорю вздор. Но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудим ко взаимному удовольствию. Не одно, так другое, не другое, так третье, а так или иначе этот щекотливый вопрос будет решен. Пекарский все устроит. Вы будете добры, оставите мне свой адрес, и я сообщу вам немедленно то решение, к какому мы придем. Вы где живете?

Орлов записал мой адрес, вздохнул и сказал с улыбкой:

— Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом! Но Пекарский все устроит. Это «вумный» мужчина. А вы долго прожили в Париже?

— Месяца два.

Мы помолчали. Орлов, очевидно, боялся, что я опять заговорю о девочке, и, чтобы отвлечь мое внимание в другую сторону, сказал:

— Вы, вероятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроение я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азиат, лошадиный смех — это мило и характерно,— продолжал он, иронически улыбаясь.— И основная мысль, пожалуй, близка к правде, хотя можно было бы спорить без конца. То есть,— замялся он,— спорить не с самою мыслью, а с вашим отношением к вопросу, с вашим, так сказать, темпераментом. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни к чему, и начать новую жизнь мне мешает трусость,— тут вы совершенно правы. Но что вы так близко принимаете это к сердцу, волнуетесь и приходите в отчаяние,— это не резон, тут вы совсем неправы.

— Живой человек не может не волноваться и не отчаиваться, когда видит, как погибает сам и вокруг гибнут другие.

— Кто говорит! Я вовсе не проповедую равнодушия, а хочу только объективного отношения к жизни. Чем объективнее, тем меньше риску впасть в ошибку. Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех причин. Мы ослабели, опустились, пали наконец, наше поколение сплошную состоит из неврастеников и нытиков, мы только и знаем, что толкуем об усталости и переутомлении, но виноваты в этом не вы

и не я: мы слишком мелки, чтобы от нашего произвола могла зависеть судьба целого поколения. Тут, надо думать, причины большие, общие, имеющие, с точки зрения биологической, свой солидный raison d'être[1]. Мы неврастеники, кисляи, отступники, но, быть может, это нужно и полезно для тех поколений, которые будут жить после нас. Ни единый волос не падает с головы без воли отца небесного,— другими словами, в природе и в человеческой среде ничто не творится так себе. Все обосновано и необходимо. А если так, то чего же нам особенно беспокоиться и писать отчаянные письма?

— Так-то так,— сказал я, подумав.— Я верю, следующим поколениям будет легче и видней; к их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений и не только для них. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество, или еще хуже того... Я верю и в целесообразность и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»?

— Ну, что делать! — вздохнул Орлов, поднимаясь и как бы давая понять, что разговор наш уже кончен.

Я взялся за шапку.

— Только полчаса посидели, а сколько вопросов решили, подумаешь! — говорил Орлов, провожая меня до передней.— Так я позабочусь о том... Сегодня же повидаюсь с Пекарским. Будьте без сумления.

Он остановился в ожидании, пока я оденусь, и, видимо, чувствовал удовольствие от того, что я сейчас уйду.

— Георгий Иваныч, возвратите мне мое письмо,— сказал я.

— Слушаю-с.

Он пошел в кабинет и через минуту вернулся с письмом. Я поблагодарил и вышел.

---

[1] смысл *(франц.)*.

На другой день я получил от него записку. Он поздравлял меня с благополучным решением вопроса. У Пекарского есть знакомая дама, писал он, которая держит пансион, что-то вроде детского сада, куда принимаются даже очень маленькие дети. На даму можно положиться вполне, но, прежде чем входить с нею в соглашение, не мешает переговорить с Красновским — этого требует формальность. Советовал мне немедленно отправиться к Пекарскому и кстати прихватить с собою метрическое свидетельство, если таковое имеется. «Примите уверение в искреннем уважении и преданности вашего покорного слуги...»

Я читал это письмо, а Соня сидела на столе и смотрела на меня внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! — говорила громко Софья Львовна.— Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы.

Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитыч и друг детства Владимир Михайлыч держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорил, не следовало давать ей коньяку,— шепнул с досадой Владимир Никитыч своему спутнику.— Экий ты, право!

Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями.

— Тпрр! — кричала Софья Львовна.— Я хочу править.

Она была искренно весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, как говорится, par dépit; [1] сегодня же в загородном ресторане она убедилась, наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и

[1] с досады *(франц.)*.

подпевал цыганкам. Право, теперь старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, как будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше ее отца на два года, но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только двадцать три года?

«О мой милый! — думала она.— Чудный!»

В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайлычу, или, попросту, Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник.

Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено сто двадцать и цыганам — сто, и завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть тысячу рублей, а два месяца назад, до свадьбы, у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни!

Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины

и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно; он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет он в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одною крышей, и он часто приходил к ней играть, и их вместе учили танцевать и говорить по-французски; но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul»[1]. Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю, и в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга — Володей маленьким.

---

[1] Извините, я не один *(франц.)*.

В санях, кроме Володи большого, Володи маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа — Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в pince-nez, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе; всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк сколько угодно и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки.

— Соня, перестань беситься,— сказала она нараспев.— Право, глупо даже.

В виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала: этому человеку, который сидит против, было известно, что она его любила, и он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника par dépit. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее — и самолюбие ее страдало. Но в ее положении унизительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку; очевидно, ему только и нужно было, чтобы она вышла замуж; и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать...

Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась.

— В этом монастыре наша Оля,— сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачем она пошла в монастырь? — спросил полковник.

— Par dépit,— сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем.— Теперь в моде этот par dépit. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг — на, поди! Удивила!

— Это неправда,— сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо.— Тут не par dépit, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата, Дмитрия, сослали в каторжные работы, и теперь неизвестно, где он. А мать умерла с горя.

Он опять поднял воротник.

— И хорошо сделала Оля,— добавил он глухо.— Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна,— тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

— Я хочу к утрене! Ямщик назад! Я хочу Олю видеть!

Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквах. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам.

— Скорей, пожалуйста! — крикнул ей муж.— Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самою головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе сторо-

ны, запахло можжевельником и ладаном, опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко... В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках, другая зажигала паникадило. Там и сям, ближе к колоннам и боковым приделам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра»,— подумала Софья Львовна, и ей показалось тут темно, холодно, скучно,— скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок, небольшого роста, с худенькими плечами и с черною косынкой на голове она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и уж не могла говорить от волнения.— Оля!

Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости.

— Вот господь чудо послал,— сказала она и тоже всплеснула своими худыми, бледными ручками.

Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала, и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином.

— А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя,— говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы.— Какая ты бледная, господи! Я... я очень рада тебя видеть. Ну, что? Как? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом:

— У нас столько перемен... Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное... Я очень счастлива с ним.

— Ну, слава богу. А папа твой здоров?

— Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках. Слышишь?

— Приду,— сказала Оля и усмехнулась.— Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала:

— Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними! Пойдем к ним, ведь служба еще не начиналась.

— Пойдем,— согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу.

— Так ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень.

— Ну, слава богу.

Володя большой и Володя маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались; оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна окутала ее в плед и прикрыла одною полой своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности, нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется,— святые на тройках не ездят,— но, к их удивлению, она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка...

Около заставы тройка повернула назад; когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольне уже перезванивали.

— Спаси вас господи,— сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась.

— Так ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом; то, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке, в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство; вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат, и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому, что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться.

Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн, и ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утреня будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен...

«Но ведь бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена, она решила для себя все вопросы... Но если бога нет? Тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала?»

А через минуту в голову опять лезет мысль:

«Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь — значит отречься от жизни, погубить ее...»

Софье Львовне становилось немножко страшно; она спрятала голову под подушку.

— Не надо об этом думать,— шептала она.— Не надо...

Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном: его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно:

— Володя!

— Что тебе? — отозвался муж.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский, припомнились ей опять притвор и темные фигуры, забродили в голове мысли о боге и неизбежной смерти, и она укрылась с головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что, прежде чем наступят старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому — молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя.

— Ну, начинается музыка! — проговорил Ягич, делая ударение на *зы*.

Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпора-

ми, и взял что-то, потом в другой раз — уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит, как хищник.

Она слышала, как Ягич позвонил у телефона.

— Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами! — сказал он; а через минуту: — Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича...— И еще через минуту: — С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего. Нет дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Merci.

Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому) и сказал, что вернется к обеду. И вышел.

В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлыч. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета, с меховою обшивкой, наскоро кое-как причесалась, она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленький пришел с визитом, как следует, во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренно пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот.

— А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей,— сказала она.— Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она - несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь; но неужели, Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь.

При воспоминании об Оле на лице у Володи маленького показалось умиление.

— Вот вы, Володя, умный человек,— сказала Софья Львовна,— научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне нелегко живется,— продолжала она, помолчав немного.— Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо.— Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех, как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я не достойна?

Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

— Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хоть ангела. Но вы... (голос у нее дрогнул) поступаете со мной ужасно. Ягич женился на мне, когда уже постарел, а вы...

— Ну, полно, полно,— сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки.— Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать все, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

— Вы меня презираете и если б вы знали, как я страдаю от этого! — сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит.— А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом,— проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга.— Быть хоро-

шим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение.— Ей-богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила об Оле и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

— Тара...ра...бумбия...— запел он вполголоса.— Тара...ра...бумбия!

И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чаду каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду...

— Ты сам давно знаешь, я люблю тебя,— созналась она ему и мучительно покраснела и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда.— Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга...

— О, как ты меня мучаешь! — повторила она.

Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая как ребенка, запел:

— Тара... рабумбия... Тара... рабумбия!

А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

— Когда? Сегодня? Где?

И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно,— сказал он, подумав.— Вот разве завтра.

И они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь к Оле, но там сказали ей, что Оля где-то по покойнике читает псалтирь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменила извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила себе места.

А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь убивать плоть... А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю.

Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке.

Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет и бог простит.

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем-доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться.

Сначала — это было в апреле — он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися

К рассказу «Черный монах»

Художник [illegible]

корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным, как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыгами, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван

Карлыч уехал в город, и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике, и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдется по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

— Я еще в детстве чихал здесь от дыма,— сказал он, пожимая плечами,— но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

— Дым заменяет облака, когда их нет...— ответила Таня.

— А для чего нужны облака?

— В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

— Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая! — сказал он.— Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет

назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

— Да, пять лет! — вздохнула Таня.— Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести,— живо заговорила она, глядя ему в лицо,— вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

— Однако пора спать,— сказала Таня.— Да и холодно.— Она взяла его под руку.— Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад — и больше ничего. Штамб, полуштамб,— засмеялась она,— апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета

он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться,— в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

> Онегин, я скрывать не стану,
> Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то все погибло!

— Вот, брат, история...— начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух.— На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

— Право, не знаю,— сказал Коврин и засмеялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь все больше насчет философии?

— Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

— И не прискучает?

— Напротив, этим только я и живу.

— Ну дай бог...— проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены.— Дай бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

— Кто это привязал лошадь к яблоне? — послышался его отчаянный, душу раздирающий крик.— Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили,

перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? — сказал он плачущим голосом, разводя руками.— Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он — толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

— Ну, дай бог... дай бог...— забормотал он.— Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба растроганные пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мок-

рые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи как ни в чем не бывало чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня — сопрано, одна из барышень — контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова — они были русские — и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, не понятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

— Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, — сказал он. — Не помню, вычитал ли я ее откуда, или слышал, но легенда какая то странная, ни

с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня-завтра.

— Странный мираж,— сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнее всего,— засмеялся Коврин,— что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился не спеша в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущею рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

«Как здесь просторно, свободно, тихо! — думал Коврин, идя по тропинке. – И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...»

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее,— зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

— Ну, вот видите ли...— пробормотал Коврин.— Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, до-

вольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли,— значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное и что он очень интересен.

III

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

— Вот, Андрюша, почитайте статьи отца,— сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков.— Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

— Ну, уж и отлично! — говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно.— Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолепные статьи,— сказала Таня с глубоким убеждением.— Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузящиеся авторы. Наконец, он стал сдаваться.

— В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки,— забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры,— а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

— Да, братец ты мой...— начал он после некоторого молчания.— Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад действительно прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

— Дело говорит само за себя.

— Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело — понимаешь? — люблю, быть может, больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня: я все сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку — сам, посадки — сам, все — сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек.

— А Таня? — спросил Коврин, смеясь.— Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

— Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж? — зашептал Егор Семеныч и

испуганно посмотрел на Коврина.— То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать. Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год! В нашем деле бабы — бич божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

— Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудак. Сознаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно,— решился он, наконец, засовывая руки в карманы.— К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина — я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился какнибудь роман, то — что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семеныч открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

— Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал,— сказал он, подумав.— Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре», у другой: «Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад», у третьей: «Еще об окулировке спящим глазком» — и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и

безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает ее Егор Семеныч с «audiatur altera pars»[1] и кончает — «sapienti sat»[2], а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или г. Гоше, «успех которого создан профанами и дилетантами», и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война,— подумал Коврин.— Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно».

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительною мимикой и жестикуляцией. Должно быть, нервна в высшей степени.

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но ненадолго.

«Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного»,— подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая

---

[1] пусть выслушают и другую сторону *(лат.)*.
[2] умному достаточно *(лат.)*

непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: «Ах, боже мой, боже мой!» — и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

— Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос:

— Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучал к Тане. Его впустили.

— Ай-ай, как стыдно! — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани.— Неужели так серьезно? Ай-ай!

— Но если бы вы знали, как он меня мучит! — сказала она, и слезы, горючие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз.— Он замучил меня! — продолжала она, ломая руки.— Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности держать... лишних работников, если... если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

— Полно, полно,— проговорил Коврин, поправляя ей прическу.— Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более, что он вас бесконечно любит.

— Он мне... мне испортил всю жизнь,— продолжала Таня, всхлипывая.— Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж

не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее, и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

V

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех,— это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга — Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

— Но ведь ты мираж,— проговорил Коврин.— Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

— Это все равно,— ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом.— Легенда, мираж и я — все это продукт твоего возбужденного воображения. Я — призрак.

— Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин.

— Думай, как хочешь,— сказал монах и слабо улыбнулся.— Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе.

— У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет,— сказал Коврин.— Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

— Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.

— Ты сказал: вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

— Вечная жизнь есть,— сказал монах.

— Ты веришь в бессмертие людей?

— Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды — и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях.

— А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин.

— Как и всякой жизни — наслаждение. Истинное

наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в дому Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

— Очень рад.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

— Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это — то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

— Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?

— А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

— Римляне говорили: mens sana in corpore sano[1].

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, — сказал Коврин. — Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

---

[1] в здоровом теле — здоровый дух *(лат.)*.

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

— Галлюцинация кончилась! — сказал Коврин и засмеялся.— А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага,— какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здесь? — сказала она. — А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез.— Какой вы странный, Андрюша.

— Я доволен, Таня,— сказал Коврин, кладя ей руки на плечи.— Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

— Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

— Ну! — засмеялась Таня.— Вы забудете про нас

через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек.

— Нет, будем говорить серьезно! — сказал он.— Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну! — сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

— Я не думала об этом... не думала! — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

— Как она хороша!

VI

Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было

принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданым, которому Песоцкие придавали немалое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или бог весть откуда придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин,— и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но сто́ит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе — и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы

два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

— Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напро-

тив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском», то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

VII

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели.

— Здравствуй,— сказал монах и, помолчав немного, спросил: — О чем ты теперь думаешь?

— О славе,— ответил Коврин.— Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

— Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

— Да, это правда.

— Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и к счастью вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно,— согласился Коврин.— Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

— В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья — так оно было велико — и, чтобы умилостивить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать.

— Но почему? — изумился монах.— Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. А апостол говорит: постоянно радуйтеся. Радуйся же и будь счастлив.

— А вдруг прогневаются боги? — пошутил Коврин и засмеялся.— Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к кре-

слу, жестикулировал и смеялся; глаза его блестели, и в смехе было что-то странное.

— Андрюша, с кем ты говоришь? — спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху.— Андрюша! С кем?

— А? С кем? — смутился Коврин.— Вот с ним... Вот он сидит,— сказал он, указывая на черного монаха.

— Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен!

Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты болен! — зарыдала она, дрожа всем телом.— Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Андрюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

— Это ничего, Таня, ничего...— бормотал он, дрожа.— В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

— Я уже давно замечала... и папа заметил,— говорила она, стараясь сдержать рыдания.— Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О боже мой, боже мой, спаси нас! — проговорила она в ужасе.— Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

— Ты не бойся, Андрюша,— говорила Таня, дрожа как в лихорадке,— не бойся... Папа, это все пройдет... все пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать гостю шутливым тоном: «Поздравьте, я, кажется,

сошел с ума»,— но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

VIII

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнеть вечерняя заря.

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

— Тебе, кажется, пора уже молоко пить,— сказала Таня мужу.

— Нет, не пора...— ответил он, садясь на самую нижнюю ступень.— Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

— Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

— Да, очень полезно! — усмехнулся Коврин.— Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу.— Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской:— Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг — все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я — посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

— Бог знает, что ты говоришь! — вздохнул Егор Семеныч.— Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уже раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и

теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

— Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! — сказал Коврин.— Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы знали,— сказал Коврин с досадой,— как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем как ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

— Не могу и не хочу.

— Но почему? — спросила Таня, начиная дрожать всем телом.— Объясни мне, почему?

— Потому, что он мне не симпатичен, вот и все,— небрежно сказал Коврин и пожал плечами,— но не будем говорить о нем: он твой отец.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку.— Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож... Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дрязги... Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись,— продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки.— Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

— Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка,— проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить.— С самой зимы ни одной покойной минуты... Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском

коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна — так звали его подругу — собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи и в которой, как кажется, все уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пу-

стоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты ско-

рее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...»

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице, кроме него, не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его погибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них — это работа. Надо сесть за стол и заставить себя во что бы то ни стало сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли,— одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирил-

ся с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице, кроме него, нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не поверил мне? — спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина.— Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Нико-

лаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

— Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

— Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

БАБЬЕ ЦАРСТВО

I

Накануне

Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи, от приказчика. Он пишет, что посылает полторы тысячи рублей, которые он отсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акимовна не любила и боялась таких слов, как отсудил и выиграл дело. Она знала, что без правосудия нельзя, но почему-то, когда директор завода Назарыч или приказчик на даче, которые часто судились, выигрывали в пользу ее какое-нибудь дело, то ей всякий раз становилось жутко и как будто совестно. И теперь ей стало жутко и неловко и захотелось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их.

Она думала с досадой: ее ровесницы,— а ей шел двадцать шестой год,— теперь хлопочут по хозяйству, утомились и крепко уснут, а завтра утром проснутся в праздничном настроении; многие из них давно уже повыходили замуж и имеют детей. Только она одна почему-то обязана, как старуха, сидеть за этими письмами, делать на них пометки, писать ответы, потом весь вечер до полуночи ничего не делать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будут ее поздравлять и просить у ней, а послезавтра на заводе непременно случится какой-нибудь скандал — побьют

кого или кто-нибудь умрет от водки, и ее почему-то будет мучить совесть; а после праздников Назарыч уволит за прогул человек двадцать, и все эти двадцать будут без шапок жаться около ее крыльца, и ей будет совестно выйти к ним, и их прогонят, как собак. И все знакомые будут говорить за глаза и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь.

Вот в стороне лежит пачка прочитанных и уже отложенных писем. Это от просителей. Тут голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже наметила на каждом письме, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будет происходить выдача пособий, или, как говорят служащие, кормление зверей.

Раздадут по мелочам и четыреста семьдесят рублей — проценты с капитала, завещанного покойным Акимом Иванычем на нищих и убогих. Будет безобразная толкотня. От ворот до дверей конторы потянется гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных, поминающих хриплыми голосами матушку-благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей; задние будут напирать на передних, а передние — браниться нехорошими словами. Конторщик, которому прискучат шум, брань и причитывания, выскочит и дает кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствию. А свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалованья, и уже истратившие все до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться — одни завистливо, другие иронически.

«Купцы, а особенно купчихи, больше любят нищих, чем своих рабочих,— подумала Анна Акимовна.— Это всегда так».

Взгляд ее упал на денежный пакет. Хорошо бы раздать завтра эти ненужные, противные деньги рабочим, но нельзя ничего давать рабочему даром, а то запросит в другой раз. Да и что значат эти полторы тысячи,

если на заводе всех рабочих тысяча восемьсот с лишком, не считая их жен и детей? А то, пожалуй, выбрать одного из просителей, писавших эти письма, какого-нибудь несчастного, давно уже потерявшего надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бедняка ошеломят эти деньги, как гром, и, быть может, первый раз в жизни он почувствует себя счастливым. Эта мысль показалась Анне Акимовне оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула из пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернский секретарь Чаликов давно уже без места, болен и проживает в доме Гущина; жена в чахотке, пять малолетних дочерей. Гущинский четырехэтажный дом, в котором жил Чаликов, хорошо знала Анна Акимовна. Ах, нехороший, гнилой, нездоровый дом!

— Вот отдам этому Чаликову,— решила она.— Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишних разговоров. Да,— рассуждала она, пряча в карман полторы тысячи,— посмотрю и, пожалуй, девочек куда-нибудь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась в сани, был седьмой час вечера. Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном дворе казалось очень темно. У ворот и далеко в глубине двора, около складов и рабочих бараков, горели электрические фонари.

Этих темных, угрюмых корпусов, складов и бараков, где жили рабочие, Анна Акимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые, или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля, и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а люди с озабочен-

ными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их страшное движение. Анне Акимовне что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнит, как в кузнечном отделении вытащили из печи кусок раскаленного железа, и как один старик, с ремешком на голове, а другой — молодой, в синей блузе, с цепочкой на груди и с сердитым лицом, должно быть, из старших, ударили молотками по куску железа, и как брызнули во все стороны золотые искры, и как немного погодя гремели перед ней громадным куском листового железа; старик стоял навытяжку и улыбался, а молодой вытирал рукавом мокрое лицо и объяснял ей что-то. И она еще помнит, как в другом отделении старик с одним глазом пилил кусок железа, и сыпались железные опилки, и как рыжий, в темных очках и с дырами на рубахе, работал у токарного станка, делая что-то из куска стали; станок ревел, и визжал, и свистел, а Анну Акимовну тошнило от этого шума, и казалось, что у нее сверлят в ушах. Она глядела, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить,— как это странно!

А в рабочих бараках она не была ни разу. Там, говорят, сырость, клопы, разврат, безначалие. Удивительное дело: на благоустройство бараков уходят ежегодно тысячи рублей, а положение рабочих, если верить анонимным письмам, с каждым годом становится все хуже и хуже...

«При отце было больше порядка,— думала Анна Акимовна, выезжая со двора,— потому что он сам был рабочий и знал, что нужно. Я же ничего не знаю и делаю одни глупости».

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поехала, и мысль о счастливце, на которого сваливаются с неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело и рабочие в бараках живут хуже арестантов,— это значит делать глупости и обманывать свою совесть. По шоссе и около него, через поле, направ-

ляясь к городским огням, шли толпами рабочие из соседних фабрик — ситцевой и бумажной. В морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. Анна Акимовна поглядела на женщин и малолетков, и ей вдруг захотелось простоты, грубости, тесноты. Она ясно представила себе то далекое время, когда ее звали Анюткой и когда она, маленькая, лежала под одним одеялом с матерью, а рядом, в другой комнате, стирала белье жилица-прачка, и из соседних квартир, сквозь тонкие стены, слышались смех, брань, детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных машин, а отец, Аким Иваныч, знавший почти все ремесла, не обращая никакого внимания на тесноту и шум, паял что-нибудь около печки, или чертил, или строгал. И ей захотелось стирать, гладить, бегать в лавку и кабак, как это она делала каждый день, когда жила с матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой! Ее большой дом с люстрами и картинами, лакей Мишенька во фраке и с бархатными усиками, благолепная Варварушка и льстивая Агафьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходят к ней просить денег и перед которыми она почему-то всякий раз чувствует себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящие на ее счет, льстящие ей и презирающие ее втайне за низкое происхождение,— как все это уже прискучило и чуждо ей!

Вот железнодорожный переезд и застава; пошли дома вперемежку с огородами; вот, наконец, и широкая улица, где стоит знаменитый дом Гущина. На улице, обыкновенно тихой, теперь, по случаю кануна праздника, было большое движение. В трактирах и портерных шумели. Если бы проезжал теперь по улице кто-нибудь не здешний, живущий в центре города, то он заметил бы только грязных, пьяных и ругателей, но Анна Акимовна, жившая с детства в этих краях, узнавала теперь в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю. Отец был мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазер, беспечный и легкомысленный; у него не было пристрастия ни к деньгам, ни к почету, ни к власти; он говорил, что рабочему

человеку некогда разбирать праздники и ходить в церковь; и если б не жена, то он, пожалуй, никогда бы не говел и в пост ел бы скоромное. А дядя, Иван Иваныч, наоборот, был кремень; во всем, что относилось к религии, политике и нравственности, он был крут и неумолим, и наблюдал не только за собой, но и за всеми служащими и знакомыми. Не дай бог, бывало, войти к нему в комнату и не перекреститься! Роскошные хоромы, в которых живет теперь Анна Акимовна, он держал запертыми и отпирал их только в большие праздники для важных гостей, а сам жил в конторе, в одной маленькой комнатке, уставленной образами. Он тяготел к старой вере и постоянно принимал у себя старообрядческих архиереев и попов, хотя был крещен и венчан и жену свою похоронил по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственного наследника, он не любил за легкомыслие, которое называл простотой и глупостью, и за равнодушие к вере. Он держал его в черном теле, на положении рабочего, платил ему по шестнадцать рублей в месяц. Аким говорил своему брату *вы* и в прощеные дни со всем своим семейством кланялся ему в ноги. Но года за три до своей смерти Иван Иваныч приблизил его к себе, простил и приказал нанять для Анютки гувернантку.

Ворота под домом Гущина темные, глубокие, вонючие; слышно, как около стен покашливают мужчины. Оставив сани на улице, Анна Акимовна вошла во двор и спросила тут, как пройти в 46-й номер к чиновнику Чаликову. Ее направили к крайней двери направо, в третий этаж. И во дворе, и около крайней двери, даже на лестнице был тот же противный запах, что и под воротами. В детстве, когда отец Анны Акимовны был простым рабочим, она живала в таких домах, и потом, когда обстоятельства изменились, часто посещала их в качестве благотворительницы; узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом этаже площадкою; засаленный фонарь в пролете; смрад, на площадках около дверей корыта, горшки, лохмотья — все это было знакомо ей уже давным-давно... Одна дверь была

открыта, и в нее видно было, как на столах сидели портные-евреи в шапках и шили. На лестнице Анне Акимовне встречались люди, но ей и в голову не приходило, что ее могут обидеть. Рабочих и мужиков, трезвых и пьяных, она так же мало боялась, как своих интеллигентных знакомых.

В квартире № 46 сеней не было, и начиналась она с кухни. Обыкновенно в квартирах фабричных и мастеровых пахнет лаком, смолой, кожей, дымом — смотря по тому, чем занимается хозяин; квартиры же обедневших дворян и чиновников узнаются по премозглому запаху какой-то кислоты. Этот противный запах обдал Анну Акимовну и теперь, едва она переступила порог. В углу за столом сидел спиной к двери какой-то мужчина в черном сюртуке, должно быть, сам Чаликов, и с ним пять девочек. Старшей, широколицей и худенькой, с гребенкой в волосах, было на вид лет пятнадцать, а младшей, пухленькой, с волосами, как у ежа,— не больше трех. Все шестеро ели. Около печи, с ухватом в руке, стояла маленькая, очень худая, с желтым лицом женщина в юбке и белой кофточке, беременная.

— Не ожидал я от тебя, Лизочка, что ты такая непослушная,— говорил мужчина с укоризной.— Ай, ай, как стыдно! Значит, ты хочешь, чтобы папочка тебя высек, да?

Увидев на пороге незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и оставила ухват.

— Василий Никитич! — окликнула она не сразу, глухим голосом, как будто не веря своим глазам.

Мужчина оглянулся и вскочил. Это был костлявый, узкоплечий человек, со впалыми висками и с плоскою грудью. Глаза у него были маленькие, глубокие, с темными кругами, нос длинный, птичий и немножко покривившийся вправо, рот широкий. Борода у него двоилась, усы он брил и от этого походил больше на выездного лакея, чем на чиновника.

— Здесь живет господин Чаликов? — спросила Анна Акимовна.

— Точно так-с,— строго ответил Чаликов, но тотчас же узнал Анну Акимовну и вскрикнул: — Госпожа

Глаголева! Анна Акимовна! — и вдруг задохнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга.— Благодетельница!

Со стоном он подбежал к ней и, мыча, как параличный,— на бороде у него была капуста, и пахло от него водкой,— припал лбом к муфте и как бы замер.

— Ручку! Ручку святую! — проговорил он, задыхаясь.— Сон! Прекрасный сон! Дети, разбудите меня!

Он повернул к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками:

— Провидение услышало нас! Пришла наша избавительница, наш ангел! Мы спасены! Дети, на колени! На колени!

Госпожа Чаликова и девочки, кроме самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

— Вы писали, что ваша жена очень больна,— сказала Анна Акимовна, и ей стало совестно и досадно. «Полторы тысячи я ему не дам»,— подумала она.

— Вот она, моя жена! — сказал Чаликов тонким женским голоском, как будто слезы ударили ему в голову.— Вот она, несчастная! Одною ногой в могиле! Но мы, сударыня, не ропщем. Лучше умереть, чем так жить. Умирай, несчастная!

«Что он ломается? — подумала Анна Акимовна с досадой.— Сейчас видно, что привык иметь дело с купцами».

— Говорите со мной, пожалуйста, по-человечески,— сказала она.— Я комедий не люблю.

— Да, сударыня, пятеро осиротевших детей вокруг гроба матери, при погребальных свечах — это комедия! Эх! — сказал Чаликов с горечью и отвернулся.

— Замолчи! — шепнула жена и дернула его за рукав.— У нас, сударыня, не прибрано,— сказала она, обращаясь к Анне Акимовне,— уж вы извините... Дело семейное, сами изволите знать. В тесноте, да не в обиде.

«Не дам я им полторы тысячи»,— опять подумала Анна Акимовна.

И чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, она уже достала портмоне и решила оставить рублей двадцать пять — не больше; но ей

вдруг стало совестно, что она ехала так далеко и беспокоила людей из-за пустяков.

— Если вы дадите мне бумаги и чернил, то я сейчас напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы он побывал у вас,— сказала она, краснея.— Доктор очень хороший. А на лекарства я вам оставлю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

— Здесь не чисто! Куда ты? — прошипел Чаликов, глядя на нее со злобой.— Проводи к жильцу! Пожалуйте, сударыня, к жильцу, осмелюсь просить вас,— обратился он к Анне Акимовне.— Там чисто.

— Осип Ильич не велел ходить в его комнату! — сказала строго одна из девочек.

Но Анну Акимовну уже повели из кухни через узкую проходную комнату, меж двух кроватей; видно было по расположению постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой — трое поперек. В следующей затем комнате жильца в самом деле было чисто. Опрятная постель с красным шерстяным одеялом, подушка в белой наволочке, даже башмачок для часов, стол, покрытый пеньковою скатертью, а на нем чернильница молочного цвета, перья, бумага, фотографии в рамочках — все как следует, и другой стол, черный на котором в порядке лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стенах были развешаны молотки, клещи, буравчики, стамески, плоскозубцы, и т. п. и висело трое стенных часов, которые тикали; одни часы громадные, с толстыми гирями, какие бывают в трактирах.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидела перед собой на столе портрет отца и свой портрет. Это ее удивило.

— Кто здесь у вас живет? — спросила она.

— Жилец, сударыня, Пименов. Он у вас на заводе служит.

— Да? А я думала, часовой мастер.

— Часами он занимается приватным образом, между делом. Любитель-с.

После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикали часы и скрипело перо по бумаге.

Чаликов вздохнул и сказал насмешливо, с негодованием:

— Правда говорится: из благородства да из чинов шубы себе не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титул, а кушать нечего. По-моему, если человек низкого звания помогает бедным, то он гораздо благороднее какого-нибудь Чаликова, который погряз в нищете и пороке.

Чтобы польстить Анне Акимовне, он сказал еще несколько фраз, обидных для своего благородства, и было ясно, что он унижал себя потому, что считал себя выше ее. Она между тем кончила письмо и запечатала. Письмо будет брошено, а деньги пойдут не на лечение,— это она знала, но все-таки положила на стол двадцать пять рублей и, подумав, прибавила еще две красных бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нее перед глазами и сжала деньги в кулачок.

— Это вы изволили дать на лекарства,— сказал Чаликов дрогнувшим голосом,— но протяните руку помощи также мне... и детям,— добавил он и всхлипнул,— детям несчастным! Не за себя боюсь, за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмоне, в котором испортился замочек, Анна Акимовна сконфузилась, покраснела. Ей было стыдно, что люди стоят перед ней, смотрят ей в руки и ждут и, вероятно, в глубине души смеются над ней. В это время кто-то вошел в кухню и застучал ногами, стряхивая снег.

— Жилец пришел,— сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из заводских застал ее в этом смешном положении. Жилец, как нарочно, вошел в свою комнату в ту самую минуту, когда она, сломавши, наконец, замочек, подавала Чаликову несколько бумажек, а Чаликов мычал, как паралычный, и искал губами, куда бы поцеловать ее. В жильце она узнала рабочего, который когда-то в кузнечном отделении гремел перед ней железным листом и давал ей объяснения. Очевидно, он пришел теперь прямо с завода: лицо у него было смуглое от копоти, и одна

щека около носа запачкана сажей. Руки совсем черные, и блуза без пояса лоснилась от масляной грязи. Это был мужчина лет тридцати, среднего роста, черноволосый, плечистый и, по-видимому, очень сильный. Анна Акимовна с первого же взгляда определила в нем старшего, получающего не меньше тридцати пяти рублей в месяц, строгого, крикливого, бьющего рабочих по зубам, и это видно было по его манере стоять, по той позе, какую он невольно вдруг принял, увидев у себя в комнате даму, а главное потому, что у него были брюки навыпуск, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отец, Аким Иваныч, был братом хозяина, а все-таки боялся старших, вроде этого жильца, и заискивал у них.

— Извините, мы без вас распорядились тут,— сказала Анна Акимовна.

Рабочий смотрел на нее с удивлением, конфузливо улыбался и молчал.

— Вы, сударыня, погромче...— тихо сказал Чаликов.— Господин Пименов, когда приходят по вечерам с завода, бывают туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тут больше нечего делать, кивнула головой и быстро вышла. Пименов пошел проводить ее.

— Вы давно у нас служите? — спросила она громко, не оборачиваясь к нему.

— С девяти лет. Я еще при вашем дяденьке определился.

— Как, однако, давно! Вот дядя и отец знали всех служащих, а я почти никого не знаю. Я вас видела и раньше, но не знала, что ваша фамилия Пименов.

Анна Акимовна чувствовала желание оправдаться перед ним, сделать вид, что давала она сейчас деньги не серьезно, а шутя.

— Ох, эта бедность! — вздохнула она.— Творим мы добрые дела и в праздники и в будни, а все толку нет. Мне кажется, что помогать таким, как этот Чаликов, бесполезно.

— Конечно, бесполезно,— согласился Пименов.— Сколько ни дайте, все пропьет. А теперь всю ночь муж

и жена будут отнимать друг у дружки и драться,— добавил он и засмеялся.

— Да, надо сознаться, наша филантропия бесполезна, скучна и смешна. Но ведь тоже, согласитесь, нельзя сидеть сложа руки, надо делать что-нибудь. Например, что делать с Чаликовыми?

Она обернулась к Пименову и остановилась, ожидая от него ответа; он тоже остановился и медленно и молча пожал плечами. Очевидно, он знал, что делать с Чаликовыми, но это было так грубо и нечеловечно, что он не решался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что через мгновение он уже не помнил о них; глядя в глаза Анне Акимовне, он улыбался от удовольствия, и выражение у него было такое, как будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя к нему близко, по его лицу, особенно по глазам, увидала, как он утомлен и как ему хочется спать.

«Вот ему бы дать те полторы тысячи!» — подумала она, но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

— У вас небось все тело болит от работы, а вы меня провожаете,— сказала она, спускаясь по лестнице.— Идите домой.

Но он не расслышал. Когда выходили на улицу, он забежал вперед, отстегнул у саней полсть и, подсаживая Анну Акимовну, сказал:

— Благополучно праздника встретить!

II

Утро

— Уж давно отзвонили! Наказание господне, и к шапочному разбору не поспеете! Вставайте!

— Две лошади бегут, бегут...— сказала Анна Акимовна и проснулась: перед ней со свечой в руках стояла ее горничная, рыжая Маша.— Что? Что тебе?

— Обедня уже отошла! — говорила Маша с отчаяньем.— Третий раз бужу! По мне хоть до вечера спите, но ведь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворе еще было совсем темно, и только нижний край оконной рамы белел от снега. Слышался густой низкий звон, но это звонили не в приходе, а где-то дальше. Часы на столике показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Через три минутки...— сказала Анна Акимовна умоляющим голосом и укрылась с головой.

Она представила себе снег у крыльца, сани, темное небо, толпу в церкви и запах можжевельника, и ей стало жутко, но она все-таки решила, что тотчас же встанет и поедет к ранней обедне. И пока она грелась в постели и боролась со сном, который, как нарочно, бывает удивительно сладок, когда не велят спать, и пока ей мерещился то громадный сад на горе, то гущинский дом, ее все время беспокоила мысль, что ей надо сию минуту вставать и ехать в церковь.

Но когда она встала, было уже совсем светло и часы показывали половину десятого. За ночь навалило много нового снегу, деревья оделись в белое, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей прежде всего захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства — радость, что сегодня рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. Вошла Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником; потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового, пышного, прекрасного платья, его легкий шум и запах свежих духов возбуждали Анну Акимовну.

— Вот и святки,— сказала она весело Маше.— Теперь будем гадать.

— Мне летошний год вышло — за стариком быть. Три раза так выходило.

— Ну, бог милостив.

— А что ж, Анна Акимовна? Я так думаю, чем ни то ни се, ни два ни полтора, так уж лучше за ста-

рика,— сказала печально Маша и вздохнула.— Мне уж двадцать первый год пошел, не шутка.

Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакея Мишеньку, и вот уже три года, как продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

— Ну, полно пустяки говорить,— утешила Анна Акимовна.— Мне скоро тридцать лет, а я все собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одевалась, Мишенька, в новом фраке и в лакированных ботинках, ходил по зале и гостиной и ждал, когда она выйдет, чтобы поздравить ее с праздником. Он ходил всегда как-то особенно, мягко и нежно ступая; глядя при этом на его ноги, руки и наклон головы, можно было подумать, что он это не просто ходит, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные усики и красивую, несколько даже шулерскую наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он богу всегда с земными поклонами и любил кадить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатных он уважал и благоговел пред ними, бедняков же и всякого рода просителей презирал всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Под крахмальною сорочкой у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепко дорожа своим здоровьем; уши были заткнуты ватой.

Когда через залу проходила Анна Акимовна с Машей, он склонил голову вниз и несколько набок и сказал своим приятным, медовым голосом:

— Честь имею поздравить вас, Анна Акимовна, с высокоторжественным праздником рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бедная Маша обомлела. Его праздничный вид, поза, голос и то, что он сказал, поразили ее своею красотой и изяществом; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чем не думала, ничего не видела и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхний этаж в доме назывался чистой, или благородной, половиной и хоромами, нижнему же, где

хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено название торговой, стариковской или просто бабьей половины. В первой принимали обыкновенно благородных и образованных, а во второй — кого попроще и личных знакомых тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свежая, чувствуя на себе роскошное платье, от которого, казалось ей, во все стороны шло сияние, Анна Акимовна спустилась в нижний этаж. Тут ее встретили упреками, что она, образованная, бога забыла, проспала обедню и не приходила вниз разговляться, и все всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человеку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь — киоты, образа, лампады, портреты духовных особ, пахнет монахами, в кухне стучат ножами, и уже понесся по всем комнатам запах чего-то скоромного, очень вкусного. Желтые крашеные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие ковры с ярко-синими полосами, а солнце так и режет в окна.

В столовой сидят какие-то чужие старушки; в комнате Варварушки тоже старушки и с ними глухонемая девица, которая все стыдится чего-то и говорит: «блы, блы..» Две тощенькие девочки, взятые из приюта на праздники, подошли к Анне Акимовне, чтобы поцеловать ручку, и остановились перед ней, пораженные роскошью ее платья; она заметила, что одна из девочек косенькая, и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно сжалось сердце от мысли, что этою девочкой будут пренебрегать женихи и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки Агафьюшки за самоваром сидело человек пять громадных мужиков в новых рубахах, но это были не рабочие с завода, а кухонная родня. Увидев Анну Акимовну, мужики вскочили с мест и из приличия перестали жевать, хотя у всех были полные рты; в комнату вошел из кухни повар Степан, в белом колпаке и с ножом в руке, и поздравил; пришли дворники в валенках и тоже поздравили. Выглянул водовоз с сосульками на бороде, но не посмел войти.

Анна Акимовна ходила по комнатам, а за нею весь штат: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марфа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всех в доме, одетая во все черное, пахнущая кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на образа и кланялась в пояс, и при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она уже приготовила себе к смертному часу саван и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также ее выигрышные билеты.

— Ты, Анютенька, будь милостива ради праздника,— сказала она, отворяя дверь в кухню.— Прости его, уж бог с ним! Ну их!

Среди кухни на коленях стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но во хмелю он бывал буен и никак не мог уснуть, а все ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном: «Мне все известно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазам, налитым кровью, видно было, что с ноября до праздника он пил не переставая.

— Простите, Анна Акимовна! — проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок.

— Тебя тетушка уволила, у нее и проси.

— Что тетушка? — говорила тетушка, входя в кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками.— Что там еще тетушка? Ты тут хозяйка, ты и распоряжайся, а по мне, их, подлецов, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боров! — крикнула она на Пантелея, не вытерпев.— Пошел с глаз! Последний раз тебя прощаю, а случится опять грех — не проси милости!

Затем пошли в столовую пить кофе. Но едва сели за стол, как опрометью вбежала нижняя Маша и проговорила с ужасом: «Певчие!» — и побежала назад. Послышались сморканье, низкий басовый кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в переднюю около залы вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло... Певчие вскрикнули внезапно

и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богаделенский батюшка, а с ним дьякон и дьячок. Надевая епитрахиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утрене, шел снег и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь, должно быть, градусов двадцать.

— Многие, однако, утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето,— сказал дьякон, но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество твое, Христе боже наш...»

Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили.

Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек двадцать. Тут были одни только старшие: механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и проч.,— все благообразные, в новых черных сюртуках. Все это были молодцы, точно на подбор, каждый знал себе цену, то есть знал, что, потеряй он сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, тетушку они любили, так как держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтер, когда толпой подходили к закуске, взял ее за широкую талию. Развязны они были отчасти и оттого, быть может, что Варварушка, имевшая при стариках большую власть и следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме никакого значения, а быть может, и оттого, что многие из них еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали в строгости, была одета простою бабой, на манер Агафьюшки, и когда Анна Акимовна бегала по двору около корпусов и все звали ее Анюткой.

Служащие кушали, говорили и посматривали с недоумением на Анну Акимовну: как она выросла, как похорошела! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им *ты*, угощала их

непрерывно и, чокаясь с ними, уже выпила две рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона в павлиньих перьях; и теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и вмешивалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила:

— Отчего у вас в комнате так много часов?

— Я в починку беру,— ответил он.— Занимаюсь этак между делом, по праздникам или когда не спится.

— Значит, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вам их в починку? — спросила Анна Акимовна смеясь.

— Что ж? Я с удовольствием,— сказал Пименов, и на лице его выразилось умиление, когда она, сама не зная зачем, отцепила от корсажа свои великолепные часики и подала ему; он молча осмотрел их и возвратил.— Что ж? Я с удовольствием,— повторил он.— Я уже не починяю карманных часов. У меня зрение слабое, и доктор запретил мне заниматься мелкой работой. Но для вас я могу сделать исключение.

— Доктора врут,— сказал бухгалтер; все засмеялись.— Ты не верь им,— продолжал он, польщенный этим смехом.— В прошлом году, в посту, из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова, в голову, так что мозг видать было, и доктор сказал, что помрет; одначе до сих пор жив и работает, только после этой штуки заикаться стал.

— Врут-то, врут доктора, да не очень,— вздохнула тетушка.— Петр Андреич покойничек потерял глаза. Так же вот, как ты, день-деньской работал на заводе около горячей печки и ослеп. Глаза не любят жара. Ну, да что толковать? — встрепенулась она.— Пойдем выпьем! С праздничком вас поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница. Дай бог!

Анне Акимовне казалось, что Пименов после вчерашнего презирает ее как филантропку, но очарован ею как женщиной. Она смотрела на него и находила, что он держится очень мило и одет прилично. Правда,

у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талия высокая и брюки не модные, не широкие, но зато галстук повязан со вкусом и небрежно, и не так ярок, как у других. И, по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает все, что кладет ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой он был вчера черный и как ему хотелось спать, и это воспоминание почему-то растрогало ее.

Когда служащие собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку, ей хотелось сказать ему, чтоб он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела: как-то язык не послушался; и чтобы не подумали, что Пименов ей понравился, она и товарищам его подала руку.

Затем пришли ученики той школы, где она была попечительницей. Все они были острижены и одеты в однообразные серые блузы. Учитель — высокий, еще безусый молодой человек с красными пятнами на лице,— заметно волнуясь, выстроил учеников в ряды; мальчики запели стройно, но резкими, неприятными голосами. Директор завода, Назарыч, лысый, остроглазый старовер, никогда не ладил с учителями, но этого, который теперь суетливо помахивал рукой, он презирал и ненавидел, сам не зная за что. Он обращался с ним высокомерно и грубо, задерживал жалованье и вмешивался в преподавание, и, чтобы окончательно выжить его, недели за две до праздника определил в школу сторожем дальнего родственника своей жены, пьяного мужика, который не слушался учителя и при учениках говорил ему дерзости.

Анне Акимовне все это было известно, но помочь она не могла, так как сама боялась Назарыча. Теперь ей хотелось по крайней мере обласкать учителя, сказать ему, что она им очень довольна, но когда после пения он стал сильно конфузиться и извиняться в чем-то и когда тетушка, говоря ему *ты*, фамильярно потащила его к столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказав дать детям гостинцев, пошла к себе наверх.

— В этих праздничных порядках, в сущности, много жестокого,— сказала она немного погодя, как бы про себя, глядя в окно на мальчиков, как они толпою

шли от дома к воротам и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто.— В праздники хочется отдыхать, сидеть дома с родными, а бедные мальчики, учитель, служащие обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться...

Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал:

— Не от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человек, Анна Акимовна, но так понимаю, бедные должны всегда почитать богатых. Сказано: бог шельму метит. В острогах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано: бездна бездну призывает.

— Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно,— сказала Анна Акимовна и пошла в другой конец залы.

Был только двенадцатый час в начале. Тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. Бронза, альбомы и картины на стенах, изображавшие море с корабликами, луг с коровками и рейнские виды, были до такой степени не новы, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение стало уже прискучать. Анна Акимовна попрежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надела неизвестно для кого и для чего. И ее уже, как это бывало во все праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ее красота, здоровье, богатство — один лишь обман, так как она лишняя на этом свете, никому она не нужна, никто ее не любит. Она прошлась по всем комнатам, напевая и поглядывая в окна. Остановившись в зале, она не могла удержаться, чтобы не заговорить с Мишенькой.

— Не знаю, Миша, что вы о себе думаете,— сказала она и вздохнула.— Право, за это даже бог накажет.

— Вы о чем-с?

— Вы знаете, о чем. Извините, что я вмешиваюсь в ваши личные дела, но мне кажется, вы сами из упрямства портите себе жизнь. Согласитесь, вам теперь как раз самая пора жениться, а она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!.. Принадлежи она к нашему или высшему кругу, в нее влюблялись бы за одни чудные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица. Ах, боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вам нужно,— сказала с горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нее на глазах.— Бедная девочка, мне ее так жалко! Я знаю, вы хотите взять с деньгами, но я вам уже говорила: я за Машей дам приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовал в воображении не иначе, как в виде высокой, полной, солидной и благочестивой женщины с походкой, как у павы, и почему-то непременно с длинною шалью на плечах, а Маша худа и тонка, стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительна и подчас сильно нравилась Мишеньке, но это, по его мнению, годилось не для брака, а лишь для дурного поведения. Когда Анна Акимовна пообещала дать приданое, то он некоторое время колебался; но как-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Акимовне с письмом, не мог удержаться и, восхищенный, обнял Машу внизу около вешалок, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лестнице, видел это и с той поры стал питать к Маше брезгливое чувство. Бедный студент! Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер, то последствия были бы другие...

— Отчего же вы не хотите? — спрашивала Анна Акимовна.— Чего вам еще нужно?

Мишенька молчал и неподвижно глядел на кресло, подняв брови.

— Вы любите другую?

Молчание. Вошла рыжая Маша с письмами и визитными карточками на подносе. Догадавшись, что разговор шел о ней, она покраснела до слез.

— Почтальоны приходили,— пробормотала она.— И там пришел какой-то чиновник Чаликов и дожидается внизу. Говорит, что вы приказали ему зачем-то прийти сегодня.

— Какая наглость! — рассердилась Анна Акимовна.— Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтоб он убирался, меня дома нет!

Послышался звонок. Это были священники из своего прихода; их всегда принимали в благородной половине, то есть наверху. Вслед за попами пришли с визитом директор завода Назарыч и фабричный доктор, потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался.

Когда выпадали свободные минутки, Анна Акимовна садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв глаза, думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет. Но в этом не она виновата. Сама судьба из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего пред ней мелькает так много людей; то, что происходило теперь, казалось ей ничтожным, ненужным, так как ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

«Вот влюбиться бы,— думала она, потягиваясь, и от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло.— И от завода избавиться бы...» — мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые корпуса, бараки, школа... Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное, выдал бы ее за простого человека, например за Пименова. Приказал бы ей выходить за него — вот и все. И это было бы хорошо: завод тогда попал бы в настоящие руки.

Она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкие насмешливые губы и силу, страшную силу в его плечах, руках, в груди и то умиление, с каким он сегодня рассматривал ее часики.

— Что ж? — проговорила она.— И ничего бы... Я бы вышла.

— Анна Акимовна! — позвал ее Мишенька, неслышно войдя в гостиную.

— Как вы меня испугали! — сказала она, вздрогнув всем телом.— Что вам?

— Анна Акимовна! — повторил он, прикладывая руку к сердцу и поднимая брови.— Вы — моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня все равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили. Проходу не дают!

— А как они вас дразнят?

— Говорят: Машенькин Мишенька.

— Фуй, какой вздор! — возмутилась Анна Акимовна.— Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша! Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!

III

Обед

Как и в прошлом году, последние приехали с визитом действительный статский советник Крылин и известный адвокат Лысевич. Приехали они, когда на дворе становилось уже темно. Крылин, старик за шестьдесят лет, с широким ртом и с седыми бакенами около ушей, похожий лицом на рысь, был в мундире с анненскою лентой и в белых штанах. Он долго держал руку Анны Акимовны в своих обеих руках, глядел ей пристально в лицо, шевелил губами и, наконец, сказал с расстановкой, в одну ноту:

— Я уважал вашего дядюшку... и батюшку и пользовался их расположением. Теперь считаю приятным долгом, как видите, поздравить их уважаемую наследницу... несмотря на болезнь и на значительное расстояние. И весьма рад видеть вас в добром здоровье.

Присяжный поверенный Лысевич, высокий, красивый блондин, с легкою проседью в висках и бороде, отличается необыкновенно изящными манерами. Он входит с перевальцем, кланяется будто нехотя и, раз-

говаривая, поводит плечами, и все это с ленивою грацией, как застоявшийся, избалованный конь. Он сыт, чрезвычайно здоров и богат; раз даже выиграл сорок тысяч, но скрыл это от своих знакомых. Любит хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую редьку с конопляным маслом, а в Париже, по его словам, он ел жареные немытые кишки. Говорит он складно, плавно, без запинки и лишь из кокетства иной раз позволит себе запнуться и щелкнуть пальцами, как бы подбирая слово. Во все то, что ему приходится говорить на суде, он давно уже не верит, или, быть может, и верит, но не придает этому никакой цены,— все это давно уже известно, старо, обыкновенно... Он верит в одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль в оригинальной форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у него исписаны необыкновенными выражениями, которые он вычитывает у разных авторов, и когда ему нужно бывает отыскать какое-нибудь выражение, то он нервно роется в обеих книжках и обыкновенно не находит. Еще покойный Аким Иваныч в веселую минуту из тщеславия пригласил его в поверенные по делам завода и назначил ему двенадцать тысяч жалованья. Все заводские дела заключались в двух-трех мелких взысканиях, которые Лысевич поручал своим помощникам.

Анна Акимовна знала, что на заводе ему нечего делать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла к нему. Он называл себя ее юрисконсультом, а свое жалованье, за которым он присылал аккуратно каждое первое число,— суровою прозой. Анне Акимовне было известно, что когда после смерти отца продавали ее лес на шпалы, то Лысевич нажил на этой продаже больше пятнадцати тысяч и поделился с Назарычем. Узнавши об этом обмане, Анна Акимовна горько заплакала, но потом привыкла.

Поздравив и поцеловав обе руки, он смерил ее взглядом и поморщился.

— Не надо! — сказал он с искренним огорчением.— Я говорил, милая, не надо!

— Вы о чем, Виктор Николаич?

— Я говорил: не надо полнеть. В вашем роду у

всех несчастная наклонность к полноте. Не надо,— повторил он умоляющим голосом и поцеловал руку.— Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вот, ваше превосходительство,— обратился он к Крылину,— рекомендую: единственная в свете женщина, которую я когда-либо серьезно любил.

— Это не удивительно. Быть в ваши годы знакомым с Анной Акимовной и не любить ее — это невозможно.

— Я ее обожаю! — продолжал адвокат совершенно искренно, но со своею обычною ленивою грацией.— Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я с ней, то кажется, что она какого-то третьего пола, а я четвертого, и мы уносимся вместе в область тончайших цветовых оттенков и там сливаемся в спектр. Лучше всех определяет подобные отношения Leconte de Lisle. У него есть одно превосходное место, удивительное место.

Лысевич порылся в одной книжке, потом в другой и, не найдя изречения, успокоился. Стали говорить о погоде, об опере, о том, что скоро приедет Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевич и, кажется, Крылин в прошлом году обедали у нее, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже больше никуда не поедут с визитом, то должны остаться у нее пообедать. После некоторого колебания гости согласились.

Кроме обеда, состоящего из щей, поросенка, гуся с яблоками и проч., на кухне в большие праздники готовили еще так называемый французский или поварской обед, на случай, если кто из гостей в верхнем этаже пожелает откушать. Когда в столовой застучали посудой, Лысевич стал проявлять заметное возбуждение; он потирал руки, поводил плечами, жмурился и с чувством рассказывал о том, какие обеды когда-то задавали старики и какой чудесный матлот из налимов умеет готовить здешний повар,— не матлот, а откровение! Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его под руку в столовую и он, нако-

нец, выпил рюмку водки и положил себе в рот кусочек семги, то даже замурлыкал от удовольствия. Жевал он громко, противно, издавая носом какие-то звуки, и глаза его при этом становились маслеными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочим, свежие белые грибы в сметане и соус провансаль из жареных устриц и раковых шеек, сильно сдобренный горькими пикулями. Самый обед состоял из праздничных, изысканных блюд, и вина были прекрасные. Мишенька прислуживал за столом с упоением. Когда он ставил на стол какое-нибудь новое кушанье и снимал с блестящей кастрюли крышку или наливал вино, то делал это с важностью профессора черной магии, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокат несколько раз подумал: «Какой дурак!»

После третьего блюда Лысевич говорил, обращаясь к Анне Акимовне:

— Женщина fin de siècle [1],— я разумею молодую и, конечно, богатую,—должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела и немножко развратна. Развратна в меру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, как все, а смаковать жизнь, а легкий разврат есть соус жизни. Заройтесь в цветы с одуряющим ароматом, задыхайтесь в мускусе, ешьте гашиш, а главное, любите, любите и любите... На первых порах я на вашем месте завел бы себе семерых мужчин, по числу дней в неделе, и одного назвал бы Понедельником, другого Вторником, третьего — Средой и т. д., чтобы каждый знал свой день.

Этот разговор волновал Анну Акимовну. Она ничего не ела и только выпила рюмку вина.

— Дайте же мне, наконец, сказать! — говорила она.— Для себя лично я не понимаю любви без семьи. Я одинока, одинока, как месяц на небе, да еще с ущербом, и, что бы вы там ни говорили, я уверена,

---

[1] конца века *(франц.)*.

я чувствую, что этот ущерб можно пополнить только любовью в обыкновенном смысле. Мне кажется, что эта любовь определит мои обязанности, мой труд, осветит мое миросозерцание. Я хочу от любви мира моей душе, покоя, хочу подальше от мускуса и всех там спиритизмов и fin de siècle... одним словом,— смешалась она,— муж и дети.

— Замуж хотите? Что ж, и это можно,— согласился Лысевич.— Вам все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измены, и даже детей... Но торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходит, не ждет.

— Вот возьму и выйду замуж! — сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо.— Выйду самым обыкновенным, самым пошлым образом и буду сиять от счастья. И, можете себе представить, выйду за простого рабочего человека, за какого-нибудь механика или чертежника.

— И это недурно. Герцогиня Джосиана полюбила Гуинплена, и это ей позволяется, потому что она герцогиня; вам тоже все позволяется, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра или арапа, то не стесняйтесь, выписывайте себе негра. Ни в чем себе не отказывайте. Вы должны быть так же смелы, как ваши желания. Не отставайте от них.

— Неужели меня так трудно понять? — спросила Анна Акимовна с изумлением, и глаза ее заблестели от слез.— Поймите же, у меня на руках громадное дело, две тысячи рабочих, за которых я должна ответить перед богом. Люди, которые работают на меня, слепнут и глохнут. Мне страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имеете жестокость говорить мне о каких-то неграх и... и улыбаетесь.— Анна Акимовна ударила кулаком по столу.— Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же праздного, неумелого человека, как я, было бы просто преступлением. Я не могу больше так жить,— сказала она горячо,— не могу!

— Как она хороша! — проговорил Лысевич, восхищаясь ею.— Бог мой, как она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я не прав, но неужели вы

думаете, что если вы во имя идей, которые я, впрочем, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себе в жизненной радости, то рабочим станет от этого легче? Ничуть! Нет, разврат, разврат! — сказал он решительно.— Вам необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселела. Ей нравилось, что она так хорошо говорила и так честно и красиво мыслит, и она была уже уверена, что если бы, например, Пименов полюбил ее, то она пошла бы за него с удовольствием.

Мишенька стал наливать шампанское.

— Вы меня злите, Виктор Николаич,— сказала она, чокаясь с адвокатом.— Мне досадно, что вы даете советы, а сами совсем не знаете жизни. По-вашему, если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди! Необыкновенные люди!

— Ваш батюшка и дядюшка... я их знал и уважал,— проговорил с расстановкой Крылин, который сидел, вытянувшись, как истукан, и все время, не переставая, ел,— были люди значительного ума и... и высоких душевных качеств.

— Ладно, знаем мы эти качества! — пробормотал адвокат и попросил позволения закурить.

Когда кончился обед, Крылина увели отдыхать. Лысевич докурил сигару и, покачиваясь от сытости, пошел за Анной Акимовной в ее кабинет. Укромные уголки с фотографиями, веерами на стенах и с неизбежным розовым или голубым фонарем среди потолка он не любил, как выражение вялого, неоригинального характера; к тому же воспоминания о некоторых его романах, которых он теперь стыдился, были у него связаны с этим фонарем. Кабинет же Анны Акимовны с голыми стенами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидеть на турецком диване и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидела на ковре перед камином и, охватив колени руками, глядела на огонь и о чем-то думала, и в это время ему казалось, что в ней играет мужицкая, староверская кровь.

Всякий раз после обеда, когда подавали кофе и ликеры, он оживлялся и рассказывал ей разные литературные новости. Говорил он витиевато, вдохновенно, сам увлекался своим рассказом, а она слушала его и всякий раз думала, что за такое удовольствие можно заплатить не двенадцать тысяч, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось в нем. Случалось, что он рассказывал ей содержание повестей и даже романов, и тогда два или три часа проходили незаметно, как минуты. Теперь он начал как-то кисло, расслабленным голосом и закрывши глаза.

— Я, милая, давно уж ничего не читал,— сказал он, когда она попросила его рассказать что-нибудь.— Впрочем, иногда читаю Жюля Верна.

— А я думала, что вы расскажете мне что-нибудь новенькое.

— Гм... новенькое,— сонно пробормотал Лысевич и еще глубже забился в угол дивана.— Вся новенькая литература, милая моя, для нас с вами не подходит. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ее — значило бы не признавать естественного порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевич, казалось, уснул. Но через минуту опять послышался его голос:

— Вся новенькая литература, на манер осеннего ветра в трубе, стонет и воет: «Ах, несчастный! ах, жизнь твою можно уподобить тюрьме! ах, как тебе в тюрьме темно и сыро! ах, ты непременно погибнешь, и нет тебе спасения!» Это прекрасно, но я предпочел бы литературу, которая учит, как бежать из тюрьмы. Из всех современных писателей я почитываю, впрочем, иногда одного Мопассана.— Лысевич открыл глаза.— Хороший писатель, превосходный писатель! — Лысевич задвигался на диване.— Удивительный художник! Страшный, чудовищный, сверхъестественный художник! — Лысевич встал с дивана и поднял кверху правую руку.— Мопассан! — сказал он в восторге.— Милая, читайте Мопассана! Одна страница его даст вам больше, чем все богатства земли! Что ни

строка, то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие движения души сменяются сильными, бурными ощущениями, ваша душа точно под давлением сорока тысяч атмосфер обращается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества неопределенного розоватого цвета, которое, как мне кажется, если бы можно было положить его на язык, дало бы терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство переходов, мотивов, мелодий! Вы покоитесь на ландышах и розах, и вдруг мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдает вас горячим паром и оглушает свистом. Читайте, читайте Мопассана! Милая, я этого требую!

Лысевич замахал руками и в сильном волнении прошелся из угла в угол.

— Нет, это невозможно! — проговорил он, как бы в отчаянии.— Последняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь к ней равнодушны. Чтоб она увлекла вас, надо ее смаковать, медленно выжимать сок из каждой строчки, пить... Надо ее пить!

После длинного вступления, в котором было много таких слов, как демоническое сладострастие, сеть из тончайших нервов, самум, кристалл и т. п., он, наконец, стал рассказывать содержание романа. Рассказывал он уже не так вычурно, но очень подробно, приводя наизусть целые описания и разговоры; действующие лица романа восхищали его, и, характеризуя их, он становился в позы, менял выражение лица и голос, как настоящий актер. От восторга он хохотал то басом, то очень тонким голоском, всплескивал руками или хватал себя за голову с таким выражением, как будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала с восхищением, хотя уже читала этот роман, и в передаче адвоката он казался ей во много раз красивее и сложнее, чем в книжке. Он обращал ее внимание на разные тонкости и подчеркивал счастливые выражения и глубокие мысли, но она видела только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, как будто была действующим лицом романа; у нее поднимало дух, и она сама, тоже хохоча и

всплескивая руками, думала о том, что так жить нельзя, что нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспоминала свои слова и мысли за обедом и гордилась ими, и когда в воображении вдруг вырастал Пименов, то ей было весело и хотелось, чтобы он полюбил ее.

Кончивши рассказывать, Лысевич, изнеможенный, сел на диван.

— Какая вы славная! Какая хорошая! — начал он немного погодя слабым голосом, точно больной. — Я, милая, счастлив около вас, но все-таки зачем мне сорок два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадают: вы должны быть развратны, а я давно уже пережил этот фазис и хочу любви тончайшей, не материальной, как солнечный луч, то есть, с точки зрения женщины ваших лет, я уже ни к черту не годен.

Он, по его словам, любил Тургенева, певца девственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной жизни. Теперь он уверял себя, что Анну Акимовну он любит платонически, идеально, хотя сам не знал, что это значит. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Он припал щекой к ее руке и сказал тоном, каким обыкновенно ласкают маленьких детей:

— Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали?

— Как? Когда?

— Я к празднику не получил от вас наградных.

Раньше Анне Акимовне ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату к праздникам посылались наградные, и теперь она находилась в затруднении: сколько ему дать? А дать было нужно, так как он ждал, хотя смотрел на нее глазами, полными любви.

— Должно быть, Назарыч забыл, — сказала она. — Но это не поздно поправить.

Вдруг она вспомнила про вчерашние полторы тысячи, которые лежали у нее теперь в спальне, в туалетном столике. И когда она принесла эти несимпатичные деньги и подала их адвокату и он с ленивою грацией сунул их в боковой карман, то все это произошло как-то мило и естественно. Неожиданное напоминание о наградных и эти полторы тысячи были к лицу адвокату.

— Merci,— сказал он и поцеловал ей палец.

Вошел Крылин, с заспанным блаженным лицом, но уже без орденов.

Он и Лысевич посидели еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, где служит Крылин и нужно ли давать ему деньги, или нет, а если нужно, то теперь дать или послать в конверте.

— Где он служит? — шепнула она Лысевичу.

— А черт его знает,— пробормотал адвокат, зевая.

Она сообразила, что если Крылин бывал у дяди и отца и уважал их, то недаром: очевидно, делал добрые дела на их счет, служа в каком-нибудь благотворительном учреждении. Она, прощаясь, сунула ему в руку триста рублей; он как бы изумился и минуту молча смотрел на нее оловянными глазами, но потом как бы понял и сказал:

— Но квитанцию, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше Нового года.

Лысевич совсем уже раскис и отяжелел и шатался, когда Мишенька надевал на него шубу. А спускаясь вниз, он имел вид совершенно расслабленного, и видно было, что как только он сядет в сани, то уснет тотчас же.

— Ваше превосходительство,—сказал он Крылину томно, останавливаясь среди лестницы,— не приходилось ли вам испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягивает вас в длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконец, обращаетесь в тончайшую проволоку? Субъективно это выражается в каком-то особенном сладострастном чувстве, которое ни с чем сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видела, как оба они дали Мишеньке по бумажке.

— Не забывайте! До свиданья! — крикнула она им и побежала к себе в спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надела капот и побежала вниз. И когда бежала по лестнице, то смеялась и стучала ногами, как мальчишка. Ей сильно хотелось шалить.

IV

Вечер

Тетушка в просторной ситцевой блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок солонины, окорок и разные соленые закуски, и от солонины, очень жирной и вкусной на вид, валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка, полная, белая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцовою лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности.

— Ох, матушки! — охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней.— Испугала до смерти!

В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась; это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи в доме не имеют уже никакой власти, и каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово взыщут. Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением: она напевала, а за столом грех петь.

— Матушка наша, красавица, картина писаная!— начала слащаво причитывать Агафьюшка.— Алмаз наш драгоценный!.. Народу-то, народу нынче приез-

жало нашу королевну глядеть — господи твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я в окно глядела-глядела, считала-считала, да и бросила.

— А по мне, они хоть бы вовсе не ездили, подлецы! — сказала тетушка; она с грустью поглядела на племянницу и добавила:— Только время провели сиротке моей бедной.

Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, моченые яблоки и крыжовник. И это тоже понравилось. Но только одно было неприятно: от изразцовой печки веяло жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки... После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом.

— Садись и ты... чего там! — сказала тетушка кухарке.

Агафьюшка вздохнула и села за стол; перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Анне Акимовне стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки, веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что им нужно, и прежде оставались в девушках только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди бога не боятся, но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иваныч и Варварушка — оба святой жизни — и бога боялись, а все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом; она спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то женишок был, из заводских, и как она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца-иконописца, который, слава богу, через два года помер. Нижняя Маша тоже подсела к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя, как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с чер-

ными усами и в пальто с барашковым воротником: войдет во двор, поглядит на окна большого дома и пойдет дальше — к корпусам; мужчина ничего себе, видный...

От всех этих разговоров Анне Акимовне почему-то вдруг захотелось замуж, захотелось сильно, до тоски; кажется, полжизни и все состояние отдала бы, только знать бы, что в верхнем этаже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скучает по ней; и мысль об этой близости, восхитительной, невыразимой на словах, волновала ее душу. И инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди, и она верила и, откинувшись на спинку стула (у нее распустились волосы при этом), стала смеяться, а глядя на нее, смеялись и остальные. И в столовой долго не умолкал беспричинный смех.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша, или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лет пятидесяти, в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая, с острым подбородком; глаза у нее были хитрые, ехидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видела. Губы у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали Жужелицей.

Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела альтом «Рождество твое», потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом.

— С праздничком!— сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну.— Насилу, насилу добралась до вас, благодетели мои.—Она поцеловала в плечо тетушку.—Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. «Останься да останься, Спиридоновна»,— ан, и не видала, как вечер настал.

Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушав-

шись, помолилась богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги.

Как это было в прошлом и в третьем году, стали играть в короли, а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька с снисходительною улыбкой. Первая вышла в короли Жужелица, и Анна Акимовна — солдат платила ей дань, а потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики или «тютьки», что вызвало общий восторг, а Агафьюшка вышла в принцы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составилась еще партия: обе Маши, Варварушка и швейка Марфа Петровна, которую разбудили нарочно для игры в короли, и лицо у нее было заспанное, злое.

Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше — девичья или вдовья.

— Девка ты красивая, здоровая, крепкая,— сказала Жужелица Анне Акимовне.— Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

— Что же делать, если никто не берет?

— А может, дала обет остаться в девах? — продолжала Жужелица, как бы не слыша.— Что ж, хорошее дело, оставайся... Оставайся,— повторила она, внимательно и ехидно глядя себе в карты.— Тэк, брат, оставайся... да... Только девы, преподобные-то эти самые, разные бывают,— вздохнула она и пошла с короля.— Ох, разные, мать! Одни действительно блюдут себя, словно монашенки, и ни синь пороха, а ежели какая и согрешит часом, то измучится вся, бедная, и осуждать грех. А вот другие девушки и в черных платьях ходят, и саваны себе шьют, а сами-то втихомолку старичков богатеньких любят. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдует старика и властвует над ним, голубушки мои, властвует, кружит его, кружит, а как набрала побольше денег да выигрышных билетов, так и заколдует до смерти.

В ответ на эти намеки Варварушка только вздох-

нула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение.

— Есть у меня одна знакомая девушка такая, врагиня моя лютая,— продолжала Жужелица, оглядывая всех с торжеством.— Тоже все вздыхает да все на образа смотрит, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть, и сама читает: «В рождестве девство сохранила еси...» В праздник даст кусок, а в будни попрекает. Ну, а теперь уж я натешусь над ней! Натешусь вволю, алмазные!

Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась.

— Да, никто меня не берет, Спиридоновна,— сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор.— Что поделаешь?

— Сама виновата, мать. Все ждешь благородных да образованных, а шла бы за своего брата-купца.

— Купца не нужно! — сказала тетушка и встревожилась.— Спаси, царица небесная! Благородный деньги твои промотает, да зато жалеть тебя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь. Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет, а сядешь с ним есть, он тебя твоим же куском хлеба попрекает, деревенщина!.. Выходи за благородного.

Заговорили все сразу, громко перебивая друг друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орехов и, красная, сердитая, говорила:

— Не надо купца, не надо! А заведешь в доме купца, пойду в богадельню!

— Тш... Тише! — крикнула Жужелица; когда все утихли, она прищурила один глаз и сказала:— Знаешь что, Анушка, ласточка моя? Выходить замуж по-настоящему, как все, тебе не к чему. Ты человек богатый, вольный, сама себе королева; но и в старых девках оставаться как будто, детка, не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь завалященького и простоватенького человечка, применишь ты для видимости закон и тогда — гуляй, Малашка! Ну, мужу су-

нешь там тысяч пять или десять, и пусть идет, откуда пришел, а ты дома сама себе госпожа — кого хочешь, того любишь, и никто не может тебя осудить. И люби ты тогда своих благородных да образованных. Эх, не жизнь, а масленица! — Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула: — Гуляй, Малашка!

— А грех! — сказала тетушка.

— Ну, грех,— усмехнулась Жужелица.— Она образованная, понимает. Человека зарезать или старика околдовать — грех, это точно, а любить милого дружочка даже очень не грех. Да и что там, право! Никакого греха нет! Все это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю — грех да грех, а сама и не знаю, почему грех.— Жужелица выпила наливки и крякнула.— Гуляй, Малашка! — сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к себе самой.— Тридцать лет, бабочки, думала все о грехах да боялась, а теперь вижу: прозевала, проворонила! Эх, дура я, дура! — вздохнула она.— Бабий век — короткий век, и каждым денечком дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а уж как стукнет тридцать пять или сорок, только и веку твоего, пиши конец. Не слушай, брат, никого, живи, гуляй до сорока, а потом успеешь отмолить,— хватит времени поклоны бить да саваны шить. Богу свечка, валяй и черту кочергу! Валяй все в одно место! Ну, так как же? Хочешь облагодетельствовать человечка?

— Хочу,— засмеялась Анна Акимовна.— Мне теперь все равно, я бы за простого пошла.

— Что ж, и хорошо бы! Ух, какого бы ты тогда себе молодца выбрала! — Жужелица зажмурилась и покачала головой.— Ух!

— Я и сама ей говорю: благородных не дождешься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще,— сказала тетушка.— По крайности взяли бы мы себе в дом хозяина. А мало ли хороших людей? Хоть наших заводских взять. Все тверезые, степенные...

— А еще бы! — согласилась Жужелица.— Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединского Василия посватаю?

— Ну, у Васи ноги длинные,— сказала тетушка серьезно.— Сухой очень. Виду нет.

В толпе около дверей засмеялись.

— Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова?— спросила Жужелица у Анны Акимовны.

— Хорошо. Сватай за Пименова.

— Ей-богу?

— Сватай! — сказала решительно Анна Акимовна и ударила по столу.— Честное слово, пойду!

— Ей-богу?

Анне Акимовне вдруг стало стыдно, что у нее горят щеки и что на нее все смотрят, она смешала на столе карты и побежала из комнаты, и когда бежала по лестнице и потом пришла наверх и села в гостиной у рояля, из нижнего этажа доносился гул, будто море шумело; вероятно, говорили про нее и про Пименова, и, быть может, пользуясь ее отсутствием, Жужелица обижала Варварушку и уж, конечно, не стеснялась в выражениях.

Во всем верхнем этаже горела только одна лампа в зале, и ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был десятый час, не больше. Анна Акимовна сыграла один вальс, потом другой, третий,— играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялем, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило в голову: не поехать ли сейчас в город к кому-нибудь, например хоть к Лысевичу, и не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе? Ей хотелось говорить без умолку, смеяться, дурачиться, но темный угол за роялью угрюмо молчал, и кругом, во всех комнатах верхнего этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романсы, но у нее был грубый, необработанный голос, и потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно, одним лишь дыханием. Она пела шепотом романс за романсом, все больше о любви, разлуке, утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой, со слезами: «Пименов, снимите с меня эту тяжесть!» И тогда, точно грехи ей простятся, станет на душе легко, радостно, наступит сво-

бодная и, быть может, счастливая жизнь. В тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ей страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно, и было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играла и пела чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижнего этажа уже не доносился гул: должно быть, там легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.

Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, полежала на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было двенадцать писем поздравительных и три анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным, едва разборчивым почерком жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином; в другом — кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кого-то взятку в тысячу рублей; в третьем ее бранили за бесчеловечность.

Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и тихо заиграла один из новых вальсов, потом вспомнила, как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом. Поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами, на слабый свет, который шел из залы, и вдруг нечаянно заплакала, и ей досадно стало, что она так одинока, что ей не с кем поговорить, посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать в воображении Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двенадцать. Вошел Мишенька, уже не во фраке, а в пиджаке, и молча зажег две свечи; затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем.

— Что вы смеетесь? — спросила она, заметив на его лице улыбку.

— Я внизу был и слышал, как вы шутили насчет Пименова...— сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот.— Посадить бы его давеча обедать с Виктором

Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху.— У Мишеньки задрожали плечи от смеха.— Он и вилки небось держать не умеет.

Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну Акимовну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова, обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим,— вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном, преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить; стыд за свои мысли и поступки, и страх, что она, быть может, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращение к своему малодушию смутили ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились на одну сторону.

— Вечером опять приходил чиновник Чаликов,— сказала она, зевая,— да я не посмела докладывать. Уж очень пьяный. Говорит, что опять завтра придет.

— Что ему нужно от меня? — рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой об пол.— Я не хочу его видеть! Не хочу!

Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо!

Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны,

возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картине, то все дурное и пошлое, как, например, обед, слова адвоката, игра в короли, были бы правдой, мечты же и разговоры о Пименове выделялись бы из целого как фальшивое место, как натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье, что все уже для нее погибло, и вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно.

Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением, потом и сама заплакала и припала лицом к ее руке; и без слов было понятно, отчего ей так горько.

— Дуры мы с тобой,— говорила Анна Акимовна, плача и смеясь.— Дуры мы! Ах, какие мы дуры!

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то — Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял

лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, тро-

гал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.

— Яков! — позвала Марфа неожиданно.— Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что, наконец, уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила

только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

— Здравия желаем,— сказал Яков, вводя старуху в приемную.— Извините, все беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяшными делами. Вот, изволите видеть, захворал мой пре́дмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмурив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Так...— медленно проговорил фельдшер и вздохнул.— Инфлуэнца, а может, и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу... Сколько ей?

— Да без года семьдесят, Максим Николаич.

— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич,— сказал Яков, улыбаясь из вежливости,— и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть.— Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А засим до свиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера

под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. До свиданция.

— Сделайте такую милость,— взмолился Яков.— Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

— Ступай, ступай...— сказал он Якову, хмурясь.— Нечего тень наводить.

— В таком случае поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вечно бога молить!

Фельдшер вспылил и крикнул:

— Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

— Насажали вас тут, артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьявки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

«Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.».

И вздохнул. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно.— Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели... под вербой.— И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится,— сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и ук-

ладывала его спать и все это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

— А я вас ищу, дяденька! — сказал он.— Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам зáраз приходить к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

— Отстань! — сказал он и пошел дальше.

— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед.— Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели зáраз!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков.— Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

— Но ви, пожалуста, потише, а то ви у меня через забор полетите!

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками.— Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль

берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, про-

пала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещился ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Все на этом све-

те пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть от страха, стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

— Подойди, ничего,— сказал ласково Яков и поманил его к себе.— Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая.— Меня Мойсей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба... Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека. И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.

— Не могу...— проговорил Яков, тяжело дыша.— Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Вaххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо,— ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая

же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад,— сказал студент, подходя к костру.— Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой,— сказала она.— Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом нянькой, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр,— сказал студент, протягивая к огню руки.— Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати евангелиях?

— Была,— ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды

отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику,— продолжал он,— Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что́ происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

I

Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:

— Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже восемнадцать лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.

— Опля! — крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на Графа Нулина, офицеры — на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.

Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

— Вы, Сергей Васильич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.

И оттого ли, что ее Великан был в большой дружже с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:

«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней...»

Был седьмой час вечера — время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций,— тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!

Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.

Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.

— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю,— говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей.— Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на ле-

вой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.

Манюса была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.

Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить зельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали зельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:

— Вы изволили на каникулы приехать?

— Нет, я здесь постоянно живу,— ответил Никитин.— Я служу преподавателем в гимназии.

— Неужели? — удивился доктор.— Так молоды и уже учительствуете?

— Где же молод? Мне двадцать шесть лет... Слава тебе господи.

— У вас и борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше двадцати двух — двадцати трех лет. Как вы моложавы!

«Что за свинство! — подумал Никитин.— И этот считает меня молокососом!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутст-

гии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.

Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.

Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода,— все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.

Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.

— Это хамство! — говорил он. — Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!

Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за все время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и изба-

лованная. Никитина она ненавидела; увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «ррр... нга-нга-нга-нга... ррр...»

Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.

Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.

После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже двадцать три года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой — значит, была уверена, что выйдет замуж.

Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»

Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы Третьего отделения. Поздравляю вас».

Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Арррмейская острота!»

И это «ррр...» выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «ррр... нга-нга-нга...»

Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.

— Позвольте, Сергей Васильич,— перебила его Варя.— Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.

— Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе,— угрюмо ответил Никитин.

— Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?

— А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.

И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».

— Никакой не вижу тут психологии,— вздохнула Варя.— Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

— Я знаю, какой вам нужно психологии! — обиделся Никитин.— Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во все горло — это, по-вашему, психология.

— Плоско! Однако вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вско-

К рассказу «Скрипка Ротшильда».

Художник А. Пластов. 1954.

чил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.

— Это хамство! — доносилось с другого конца стола.— Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю! — крикнул Никитин.— Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.

«Ррр... нга-нга-нга...» — послышалось из-под стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя.— Сознайтесь!

Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с grand-rond [1], которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.

Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шебалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному «Музыкально-драматическому кружку» и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу». Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.

---

[1] большой круг — старинная танцевальная фигура (*франц.*).

После grand-rond он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:

— Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга?

— Нет, не читал.

Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:

«В самом деле неловко. Я — учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть».

Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в «судьбу». Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.

— У кого на руках эта карта,— начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды,— тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.

Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик...

— Не так страстно! — кричал Шелестов, плача от смеха.— Не так страстно!

Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.

— Я знаю ваши грехи,— начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль.— Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!

— Это плоско,— сказала Варя и ушла.

Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.

— Мария Годфруа,— сказал он и не узнал своего голоса — так он был нежен и мягок,— в чем вы грешны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И все повалили в столовую.

За ужином Варя опять спорила и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась... Для него это было и приятно и мучительно.

«Зачем она на меня так смотрит? — мучился он.— Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!»

Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко, и показалась Манюся.

— Сергей Васильич! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вот что...— проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать.— Вот что... Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.

«Ну, дом! — думал Никитин, переходя через улицу.— Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!»

Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на бала-

лайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен...

Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год, вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории — знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.

— Какая сегодня великолепная погода! — сказал Никитин, входя к нему.— Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.

Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна и все-таки тепло, а зимою — двойные рамы и все-таки холодно.

Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи! — сказал он, поднимаясь и зевая.— Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы — география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?» Ну вас к черту с вашими битвами и с Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин

стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей... Свое письмо начнет так: «Милая моя крыса...»

— Именно, милая моя крыса,— сказал он и засмеялся.

Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и — бултых в постель! А она проснется и — о радость!

Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уже не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга!»

Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.

— Вставайте, пора на службу,— говорил он.— А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись...

И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.

Первый урок у Никитина был по русскому языку во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.

«Уж пронюхали, подлецы...— подумал Никитин.— И откуда они все знают?»

Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:

— Ура-а-а! Шелестова!!

От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда...

Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой... Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками... А вот в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке...

А уроки кончатся еще не скоро — в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок...

«Скучно, скучно, скучно!»

В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию на педагогический совет — составлять расписание устных экзаменов для четвертого и шестого классов!

Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад всякий раз, собираясь объ-

ясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове все перепуталось, и он только знал, что сегодня он *наверное* объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.

«Я приглашу ее в сад,— обдумывал он,— немножко погуляю и объяснюсь...»

В передней не было ни души; он вошел в залу, потом в гостиную... Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.

Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкаф с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна — в детскую, другая — в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкаф; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.

— Постойте...— остановил ее Никитин.— Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Он запыхался, не знал, что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.

— Позвольте...— продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла.— Мне нужно вам кое-что сказать... Только... здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вот и все...

Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкафом.

— Честное слово, уверяю вас...— сказал он тихо.— Манюся, честное слово...

Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы, и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он

взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкафом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.

Потом оба побежали в сад.

Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, все же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина... Много было и цветов.

Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц, и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.

Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам grand-rond, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:

— Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно...

После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:

— Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?

— Я вовсе не молод! — обиделся Никитин. — Мне двадцать седьмой год.

— Папа, коновал пришел! — крикнула из другой комнаты Варя.

И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:

— Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.

Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.

— Не ложитесь, голубчик! — сказал ему Никитин задыхаясь.— Постойте, не ложитесь!

Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:

— Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.

— Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

— Да, молода! — вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами.— Очень, очень молода!

— Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории — плохо. И в классе была невнимательна.

Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.

— Голубчик, отчего вы не женитесь? — спросил он.— Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?

Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?

— Женитьба — шаг серьезный,— сказал Ипполит Ипполитыч, подумав.— Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в

особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.

И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастии, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга.

«Надо будет прочесть...— подумал он. — Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к черту!»

И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.

Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку...

II

«В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:

— Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх божий иметь.

Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани — штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я — учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и

для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, все лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.

После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим, скрипучим голосом так громко, что пронеслось по всей церкви:

— Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же розáном.

Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:

— До сих пор вы были не женаты и жили один, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.

Из церкви поехали в двухэтажный неоштукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали «ура» и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.

— Никто не может понять! — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы.— Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!

Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужем и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой...

Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове все перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы все сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».

Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после успеньева дня — классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом, — все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:

— Как хорошо!

Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал

его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:

— Без пищи люди не могут существовать.

Из гимназии Никитин шел на частные уроки и когда, наконец, в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он, не переставая, наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:

— Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!

Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкафу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:

— Это съедят в кухне.

Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо

доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно.

Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.

— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость,— говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу.— Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность — все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью...

В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:

— Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...

В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый боже». В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:

— Дай бог всякому так помереть.

Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:

«Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.

Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может оттого, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе...»

Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий.

Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под крещенье, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

«Ррр... нга-нга-нга...»

Как-то великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно намекая на приданое? Двенадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержа-

ли в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.

— Фуй, как нехорошо! — проговорил он, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и, в сущности, было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни; теперь же все это имело какое-то странное, неопределенное значение.

— Фуй, как нехорошо! — повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.

Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.

— Мармеладу наелась,— сказала она и засмеялась.— Ты у наших был? — спросила она, помолчав.

— Нет, не был.

Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.

— Вечером заходила Варя,— сказала Маня, садясь.— Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.

— Я и теперь считаю его порядочным.

— А зачем он так дурно поступил с Варей?

— Почему же дурно? — спросил Никитин, начинавая чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину.— Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.

— А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.

Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:

«Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!»

Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: роза́н.

— Роза́н,— пробормотал он и засмеялся.

В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:

«Ррр... нга-нга-нга...»

Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.

— Так значит, — спросил он, сдерживая себя, — если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?

— Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.

— Мило.

И через минуту опять повторил:

— Мило.

Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.

«Какой вздор! — успокаивал он себя.— Ты — педагог, работаешь на благороднейшем поприще... Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!»

Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, все идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой.

И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.

На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и това-

рищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.

Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.

— Это хамство! — говорил он.— Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.

Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости... Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»

В УСАДЬБЕ

Павел Ильич Рашевич ходил, мягко ступая по полу, покрытому малороссийскими плахтами, и бросая длинную узкую тень на стену и потолок, а его гость Мейер, исправляющий должность судебного следователя, сидел на турецком диване, поджав под себя одну ногу, курил и слушал. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, как в комнате, соседней с кабинетом, накрывали на стол.

— Как хотите-с,— говорил Рашевич,— с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет очевидным, что белая кость — не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой, имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы — юрист и не вкусили никаких других наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете обольщать себя иллюзиями насчет равенства, братства и прочее; я же — неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь,— не пустые звуки.

Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, pince-nez не держалось на

носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове «дарвинист» молодцевато поглядел в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду. Он был одет в очень короткий поношенный пиджак и узкие брюки; быстрота движений, молодцеватость и этот кургузый пиджак как-то не шли к нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архиерея или маститого поэта, была приставлена к туловищу высокого худощавого и манерного юноши. Когда он широко расставлял ноги, то длинная тень его походила на ножницы.

Вообще он любил поговорить, и всегда ему казалось, что он говорит нечто новое и оригинальное. В присутствии же Мейера он чувствовал необыкновенный подъем духа и наплыв мыслей. Следователь был ему симпатичен и вдохновлял его своею молодостью, здоровьем, прекрасными манерами, солидностью, а главное — своим сердечным отношением к нему и к его семье. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, как было известно ему, рассказывали про него, будто он разговорами вогнал в гроб свою жену, и называли его за глаза ненавистником и жабой. Один только Мейер, человек новый и непредубежденный, бывал у него часто и охотно и даже где-то говорил, что Рашевич и его дочери — единственные люди в уезде, у которых он чувствует себя тепло, как у родных. Нравился он Рашевичу также и за то, что был молодым человеком, который мог бы составить хорошую партию для Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса и с удовольствием поглядывая на умеренно полного, красиво подстриженного, приличного Мейера, Рашевич мечтал о том, как он пристроит свою Женю за хорошего человека и как потом все заботы по имению перейдут к зятю. Неприятные заботы! Проценты в банк не внесены уже за два срока, и разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч!

— Для меня не подлежит сомнению,— продолжал Рашевич, все больше вдохновляясь,— что если

какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Фридрих Барбаросса, положим, храбр и великодушен, то эти качества передаются по наследству его сыну вместе с извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушие охраняются в сыне путем воспитания и упражнения, и если он женится на принцессе, тоже великодушной и храброй, то эти качества передаются внуку и так далее, пока не становятся видовою особенностью и не переходят органически, так сказать, в плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородные фамилии инстинктивно охраняли себя от неравных браков и знатные молодые люди не женились черт знает на ком, высокие душевные качества передавались из поколения в поколение во всей их чистоте, охранялись и с течением времени через упражнение становились все совершеннее и выше. Тем, что у человечества есть хорошего, мы обязаны именно природе, правильному естественно-историческому, целесообразному ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему белую кость от черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусства, право, понятия о чести, долге... Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. Как хотите-с! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его с собой за стол, то этим самым я охраняю лучшее, что есть на земле, и исполняю одно из высших предначертаний матери-природы, ведущей нас к совершенству...

Рашевич остановился, расчесывая бороду обеими руками; остановилась на стене и его тень, похожая на ножницы.

— Возьмите вы нашу матушку Расею,— продолжал он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки.— Кто ее лучшие люди? Возьмите наших первоклассных художников, литераторов,

композиторов... Кто они? Все это, дорогой мой, были представители белой кости. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой — не дьячковские дети-с!

— Гончаров был купец,— сказал Мейер.

— Что же! Исключения только подтверждают правило. Да и насчет гениальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставим имена и вернемся к фактам. Что вы, например, скажете, сударь мой, насчет такого красноречивого факта: как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали — в высший свет, в науку, в литературу, в земство, в суд, то, заметьте, за высшие человеческие права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой орде. В самом деле, как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько неврастеников, психических калек, чахоточных и всяких заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как осенние мухи. Если бы не это спасительное вырождение, то от нашей цивилизации давно бы уже не осталось камня на камне, все слопал бы чумазый. Вы скажите мне, сделайте милость: что до сих пор дало нам это нашествие? Что принес с собой чумазый? — Рашевич сделал таинственное, испуганное лицо и продолжал: — Никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь! У нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, и вся их деятельность проникнута одним духом: как бы побольше содрать и с кого бы снять последнюю рубашку. Всех этих нынешних, которые выдают себя за передовых и честных людей, вы можете купить за рубль-целковый, и современный интеллигент отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите с ним, то должны покрепче держаться за карман, а то вытащит бумажник.— Рашевич подмигнул и захохотал.— Ей-богу, вытащит! — проговорил он радостно тонким голоском.— А нравственность? Нравственность какова? — Рашевич оглянулся на дверь.— Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадывает и покидает мужа,— это что, пустя-

ки! Нынче, батенька, двенадцатилетняя девчонка норовит уже иметь любовника, и все эти любительские спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцепить богатого кулака и пойти к нему на содержание... Матери продают своих дочерей, а у мужей прямо так и спрашивают, по какой цене продаются их жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

Мейер, все время молчавший и сидевший неподвижно, вдруг поднялся с дивана и посмотрел на часы.

— Виноват, Павел Ильич,— сказал он,— мне уже пора домой.

Но Павел Ильич, который еще не кончил говорить, обнял его и, насильно усаживая на диван, поклялся, что не отпустит его без ужина. И Мейер опять сидел и слушал, но уже посматривал на Рашевича с недоумением и тревогой, как будто только теперь начинал понимать его. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, вошла горничная и сказала, что барышни просят ужинать, он легко вздохнул и первый вышел из кабинета.

В соседней комнате за столом сидели дочери Рашевича, Женя и Ираида, двадцати четырех и двадцати двух лет, обе черноглазые, очень бледные, одинакового роста. Женя с распущенными волосами, а Ираида с высокою прической. Перед тем как есть, обе выпили по рюмке горькой настойки, с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и обе сконфузились и захохотали.

— Не шалите, девочки,— сказал Рашевич.

Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а с отцом и гостем по-русски. Перебивая друг друга и мешая русскую речь с французской, они стали быстро рассказывать, как именно в эту пору, в августе, они в прежние годы уезжали в институт и как это было весело. Теперь же ехать некуда и приходится жить в усадьбе безвыездно все лето и зиму. Какая скука!

— Не шалите, девочки,— повторил Рашевич.

Ему самому хотелось говорить. Если при нем говорили другие, то он испытывал чувство, похожее на ревность.

— Такие-то дела, дорогой мой...— начал он опять, ласково глядя на следователя.— Мы по доброте и простоте и из страха, чтобы нас не заподозрили в отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповедуем братство и равенство с кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидели бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сделали то, что цивилизация висит уже на волоске. Дорогой мой! То, что веками добывали наши предки, не сегодня-завтра будет поругано и истреблено этими новейшими гуннами...

После ужина все пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, приготовили ноты... Но отец все продолжал говорить, и неизвестно было, когда он кончит. Они уже с тоской и досадой смотрели на эгоиста-отца, для которого, очевидно, удовольствие поболтать и блеснуть своим умом было дороже и важнее, чем счастье дочерей. Мейер — единственный молодой человек, который бывал в их доме, бывал — они это знали — ради их милого женского общества, но неугомонный старик завладел им и не отпускал его от себя ни на шаг.

— Подобно тому как западные рыцари отразили нападение монголов, так и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага,— продолжал Рашевич тоном проповедника, поднимая вверх правую руку.— Пусть я явлюсь перед чумазым не как Павел Ильич, а как грозный и сильный Ричард Львиное Сердце. Перестанем же деликатничать с ним, довольно! Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «Руки прочь! сверчок, знай свой шесток!» Прямо в харю! — продолжал Рашевич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем.— В харю! В харю!

— Я не могу этого,— проговорил Мейер, отворачиваясь.

— Почему же? — живо спросил Рашевич, предчувствуя интересный и продолжительный спор.— Почему же?

— Потому, что я сам мещанин.

Сказавши это, Мейер покраснел, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестели на глазах.

— Мой отец был простым рабочим,— добавил он грубым, отрывистым голосом,— но я в этом не вижу ничего дурного.

Рашевич страшно смутился и, ошеломленный, точно пойманный на месте преступления, растерянно смотрел на Мейера и не знал, что сказать. Женя и Ираида покраснели и нагнулись к нотам; им было стыдно за своего бестактного отца. Минута прошла в молчании, и стало невыносимо совестно, когда вдруг как-то болезненно, натянуто и некстати прозвучали в воздухе слова:

— Да, я мещанин и горжусь этим.

Затем Мейер, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошел в переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

— А вам будет сегодня темненько ехать,— бормотал Рашевич, идя за ним.— Луна теперь поздно восходит.

Оба стояли на крыльце в потемках и ждали, когда подадут лошадей. Было прохладно.

— Звезда упала...— проговорил Мейер, кутаясь в пальто.

— В августе их много падает.

Когда подали лошадей, Рашевич поглядел внимательно на небо и сказал со вздохом:

— Явление, достойное пера Фламмариона...

Проводив гостя, он прошелся по саду, жестикулируя в потемках руками и не желая верить, что только что произошло такое странное, глупое недоразумение. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первых, с его стороны было крайне неосторожно и бестактно поднимать этот проклятый разговор о белой кости, не узнавши предварительно, с кем он имеет дело; нечто подобное с ним уже случалось раньше; как-то в вагоне он стал бранить немцев, и потом ока-

залось, что все его собеседники — немцы. Во-вторых, он чувствовал, что Мейер уже больше не приедет к нему. Эти интеллигенты, вышедшие из народа, болезненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

— Нехорошо, нехорошо...— бормотал Рашевич, отплевываясь; ему было неловко и противно, как будто он поел мыла.— Ах, нехорошо!

В окно из сада видно было, как в гостиной около рояля Женя с распущенными волосами, очень бледная, испуганная, говорила о чем-то быстро-быстро... Ираида ходила из угла в угол задумавшись; но вот и она заговорила, тоже быстро, с негодующим лицом. Говорили обе разом. Не было слышно ни одного слова, но Рашевич догадывался, о чем они говорили. Женя, вероятно, роптала на то, что отец своими разговорами отвадил от дома всех порядочных людей и сегодня отнял у них единственного знакомого, быть может, жениха, и теперь уже у бедного молодого человека во всем уезде нет места, где он мог бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она с отчаянием поднимала вверх руки, говорила, вероятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости...

Придя к себе в комнату, Рашевич сел на кровать и стал медленно раздеваться. Состояние духа было угнетенное, и томило все то же чувство, как будто он поел мыла. Было стыдно. Раздевшись, он поглядел на свои длинные жилистые старческие ноги и вспомнил, что в уезде его прозвали жабой и что после всякого длинного разговора ему бывало стыдно. Как-то так, роковым образом выходило, что начинал он мягко, ласково, с добрыми намерениями, называя себя старым студентом, идеалистом, Дон-Кихотом, но незаметно для самого себя мало-помалу переходил на брань и клевету и, что́ удивительнее всего, самым искренним образом критиковал науку, искусства и нравы, хотя вот уже двадцать лет прошло, как не прочел он ни одной книжки, не был нигде дальше губернского города и, в сущности, не знал, что́ происходит на белом свете. Если же он садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и в письме выходила брань. И все это странно потому, что на самом

деле он чувствительный, слезливый человек. Уж не сидит ли в нем нечистый дух, который ненавидит и клевещет в нем помимо его воли?

— Нехорошо...— вздыхал он, лежа под одеялом.— Нехорошо!

Дочери тоже не спали. Послышались хохот и крик, как будто за кем-то гнались: это с Женей сделалась истерика. Немного погодя зарыдала и Ираида. По коридору несколько раз пробежала босая горничная...

— Экая история, господи...— бормотал Рашевич, вздыхая и поворачиваясь с боку на бок.—Нехорошо!

Во сне давил его кошмар. Приснилось ему, будто сам он, голый, высокий, как жираф, стоит среди комнаты и говорит, тыча перед собой пальцем:

— В харю! В харю! В харю!

Он проснулся в испуге и прежде всего вспомнил, что вчера произошло недоразумение и что Мейер, конечно, уже больше не приедет. Вспомнил он также, что надо проценты платить в банк, дочерей замуж выдавать, надо есть, пить, а тут болезни, старость, неприятности, скоро зима, дров нет...

Был уже десятый час утра. Рашевич медленно оделся, напился чаю и съел два больших ломтя хлеба с маслом. Дочери не вышли к чаю; они не хотели встречаться с ним, и это оскорбляло его. Он полежал у себя в кабинете на диване, потом сел за стол и принялся писать дочерям письмо. Рука у него дрожала, и чесались глаза. Он писал о том, что он уже стар, никому не нужен и что его никто не любит, и просил дочерей забыть о нем и, когда он умрет, похоронить его в простом сосновом гробе, без церемоний, или послать его труп в Харьков в анатомический театр. Он чувствовал, что каждая его строчка дышит злобой и комедиантством, но остановиться уже не мог и все писал, писал...

— Жаба! — вдруг послышалось из соседней комнаты; это был голос старшей дочери, негодующий, шипящий голос.— Жаба!

— Жаба! — повторила, как эхо, младшая.— Жаба!

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА

В оранжерее графов N. происходила распродажа цветов. Покупателей было немного: я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. Пока работники выносили наши великолепные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том, о сем. В теплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, чрезвычайно приятно.

Укладкой растений распоряжался сам садовник, Михаил Карлович, почтенный старик с полным бритым лицом, в меховой жилетке, без сюртука. Он все время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. Это был умный, очень добрый, всеми уважаемый человек. Все почему-то считали его немцем, хотя по отцу он был швед, по матери русский и ходил в православную церковь. Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему бо́льшего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ибсене.

Были у него слабости, но невинные; так, он называл себя старшим садовником, хотя младших не было; выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное; он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием.

— Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй,— сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой.— На прошлой неделе его судили в городе за грабеж и оправдали. Признали его душевнобольным, а между тем, взгляните на рожу, он здоровехонек. В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя все болезненным состоянием и аффектами, между тем эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порок безнаказанным, и, знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира: «В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока».

— Это верно, верно,— согласился купец.— Оттого, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. Спросите-ка у мужиков.

Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал:

— Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен», а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят *человеку*, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта *вера в человека* сама по себе не выше всяких житейских соображений? <Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!> Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа.

— Мысль хорошая,— сказал я.

— Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему. Очень милая легенда,— сказал садовник и улыбнулся.— Мне рассказывала ее моя покойная бабушка,

мать моего отца, отличная старуха. Она рассказывала по-шведски, но по-русски это выйдет не так красиво, не так классично.

Но мы попросили его рассказывать и не стесняться грубостью русского языка. Он, очень довольный, медленно закурил трубочку, сердито посмотрел на рабочих и начал:

— В одном маленьком городке поселился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томсон или Вильсон,— ну, это все равно. Дело не в фамилии. Профессия у него была благородная: он лечил людей. Он был всегда угрюм и несообщителен и говорил, только когда этого требовала его профессия. Ни к кому он не ходил в гости, ни с кем не распространял своего знакомства далее молчаливого поклона и жил скромно, как схимник. Дело в том, что он был ученый, а в ту пору ученые не были похожи на обыкновенных людей. Они проводили дни и ночи в созерцании, в чтении книг и лечении болезней, на все же остальное смотрели, как на пошлость, и не имели времени говорить лишних слов. Жители города отлично понимали это и старались не надоедать ему своими посещениями и пустой болтовней. Они были очень рады, что бог, наконец, послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордились, что в их городе живет такой замечательный человек.

— Он знает все,— говорили они про него.

Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить: «Он любит всех!» В груди этого ученого человека билось чудное, ангельское сердце. Как бы ни было, ведь жители города были для него чужие, не родные, но он любил их, как детей, и не жалел для них даже своей жизни. У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, и странное дело,— когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал.

И скоро он стал для города так необходим, что жители удивлялись, как это они могли ранее обходиться без этого человека. Их признательность не имела границ. Взрослые и дети, добрые и злые, честные и мошенники — одним словом, все уважали его и знали ему цену. В городке и в его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-нибудь неприятное, но даже подумать об этом. Выходя из своей квартиры, он никогда не запирал дверей и окон, в полной уверенности, что нет такого вора, который решился бы обидеть его. Часто ему приходилось, по долгу врача, ходить по большим дорогам, через леса и горы, где во множестве бродили голодные бродяги, но он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды ночью он возвращался от больного, и на него напали в лесу разбойники, но, узнав его, они почтительно сняли перед ним шляпы и спросили, не хочет ли он есть. Когда он сказал, что он сыт, они дали ему теплый плащ и проводили его до самого города, счастливые, что судьба послала им случай хотя чем-нибудь отблагодарить великодушного человека. Ну, далее, понятное дело, бабушка рассказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъявляли радость.

И этот человек, который, казалось, своею святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями которого считались даже разбойники и бешеные, в одно прекрасное утро был найден убитым. Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал в овраге, и бледное лицо его выражало удивление. Да, не ужас, а удивление застыло на его лице, когда он увидел перед собою убийцу. Можете же представить себе теперь ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей. Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя: кто мог убить этого человека? Судьи, которые производили следствие и осматривали труп доктора, сказали так: «Здесь мы имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то, очевидно, убийства тут нет и совокупность признаков является только простою случайностью. Нужно пред-

положить, что доктор в потемках сам упал в овраг и ушибся до смерти».

С этим мнением согласился весь город. Доктора погребли, и уже никто не говорил о насильственной смерти. Существование человека, у которого хватило бы низости и гнусности убить доктора, казалось невероятным. Ведь и гнусность имеет свои пределы. Не так ли?

Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. Увидели, как один шалопай, уже много раз судившийся, известный своею развратною жизнью, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь. Сделали у него обыск и нашли в постели рубаху с окровавленными рукавами и докторский ланцет в золотой оправе. Каких же еще нужно улик? Злодея посадили в тюрьму. Жители возмущались и в то же время говорили:

— Невероятно! Не может быть! Смотрите, как бы не вышло ошибки; ведь случается, что улики говорят неправду!

На суде убийца упорно отрицал свою вину. Все говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что эта земля черная, но судьи точно с ума сошли: они по десяти раз взвешивали каждую улику, недоверчиво посматривали на свидетелей, краснели, пили воду... Судить начали рано утром, а кончили только вечером.

— Обвиняемый! — обратился главный судья к убийце.— Суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...

Главный судья хотел сказать: «к смертной казни», но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал:

— Нет! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет бог, но, клянусь, он не виноват! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора! Человек не способен пасть так глубоко!

— Да, нет такого человека,— согласились прочие судьи.

— Нет! — откликнулась толпа.— Отпустите его!

Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. И бог, говорила моя бабушка, за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что человек — его образ и подобие, и скорбит, если, забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках. Пусть оправдательный приговор принесет жителям городка вред, но зато, посудите, какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека, вера, которая ведь не остается мертвой; она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно.

Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений, затем отошел к телегам и с выражением важности на лице продолжал заниматься укладкой.

ТРИ ГОДА

I

Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всенощная в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всенощной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер.

Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовало московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол; он с недоумением посматривал на темные, неподвижные деревья, и ему казалось странным, что он живет теперь не на даче в Сокольниках, а в провинциальном городе, в доме, мимо которого каждое утро и вечер прогоняют большое стадо и при этом поднимают страшные облака пыли и играют на рожке. Он вспоминал длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно,— разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов,— и все в таком роде; он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить.

Всенощная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры. Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни, — это была иллюминация по случаю храмового праздника,— а народ все шел не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос, сердце его сильно забилось, и оттого, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние.

— Это ужасно, ужасно! — шептал он, ревнуя ее.— Это ужасно!

На углу, при повороте в переулок, она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время взглянула на Лаптева.

— А я к вам,— сказал он.— Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома?

— Вероятно,— ответила она.— В клуб ему еще рано.

Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавшие теперь, при луне, широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потемках; слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в бога и ходил ко всенощной и когда мечтал много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда.

Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни.

— Я была у нее сегодня утром,— сказала Юлия Сергеевна,— и мне показалось, что за эту неделю она не то, чтобы похудела, а поблекла.

— Да, да,— согласился Лаптев.— Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится все слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней.

— Господи, а ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая! — проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания.— Ее здесь все так и звали московкой. Как хохотала! Она на праздниках наряжалась простою бабой, и это очень шло к ней.

Доктор Сергей Борисыч был дома; полный, красный, в длинном, ниже колен, сюртуке и, как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Седые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с больным грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам.

— Тебя желает видеть мсье Лаптев,— сказала ему дочь, входя в кабинет.

— Ру-ру-ру-ру,—запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил: — Что скажете хорошенького?

Было темно в гостиной. Лаптев, не садясь и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство; он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и отчего она так страшно худеет, и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктору сегодня во время его утреннего визита.

— Скажите,— спросил он,— не пригласить ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете?

Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест.

Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он все смеялся над собой, говорил, что такие

дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них верхом.

Юлия Сергеевна зажгла лампу. Она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив, и теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, с румянцем на щеках, и волосы у него уже сильно поредели, так что зябла голова. В выражении его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивые лица делает симпатичными; в обществе женщин был неловок, излишне разговорчив, манерен. И теперь он почти презирал себя за это. Чтобы Юлия Сергеевна не скучала в его обществе, нужно было говорить. Но о чем? Опять о болезни сестры?

И он стал говорить о медицине то, что о ней обыкновенно говорят, похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом и что у него даже уже есть смета. По его плану, рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за пять-шесть копеек должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую, сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви.

Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может, чутьем влюбленного, угадывал ее мысли и намерения. И теперь он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеваться и пить чай, то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости.

— Но я не тороплюсь с ночлежным домом,— продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-то тускло и с недоумением, очевидно не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене.— И, должно быть, не скоро еще я воспользуюсь нашею сметой. Я боюсь, что наш ночлежный дом попадет в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание.

Юлия Сергеевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

— Виновата,— сказала она,— мне пора. Поклонитесь вашей сестре, пожалуйста.

— Ру-ру-ру-ру,— запел доктор.— Ру-ру-ру-ру.

Юлия Сергеевна вышла, и Лаптев немного погодя простился с доктором и пошел домой. Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным, то какою пошлостью веет на него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных! Луна стояла уже высоко, и под нею быстро бежали облака. «Но какая наивная, провинциальная луна, какие тощие, жалкие облака!» — думал Лаптев. Ему было стыдно, что он только что говорил о медицине и о ночлежном доме, он ужасался, что и завтра у него не хватит характера, и он опять будет пытаться увидеть ее и говорить с ней, и еще раз убедится, что он для нее чужой. Послезавтра — опять то же самое. Для чего? И когда и чем все это кончится?

Дома он пошел к сестре. Нина Федоровна была еще крепка на вид и производила впечатление хорошо сложенной, сильной женщины, но резкая бледность делала ее похожей на мертвую, особенно когда она, как теперь, лежала на спине, с закрытыми глазами; возле нее сидела ее старшая дочь, Саша, десяти лет, и читала ей что-то из своей хрестоматии.

— Алеша пришел,— проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашение: они сменяли друг друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматию и, не сказав ни слова, тихо вышла из комнаты; Лаптев взял с комода исторический роман и, отыскав страницу, какую нужно, сел и стал читать вслух.

Нина Федоровна была московская уроженка. Детство и юность ее и двух братьев прошли на Пятницкой улице, в родной купеческой семье. Детство было длинное, скучное; отец обходился сурово и даже раза три наказывал ее розгами, а мать чем-то долго болела и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемерная; часто приходили в дом попы и монахи, тоже грубые и

лицемерие: они пили и закусывали и грубо льстили ее отцу, которого не любили. Мальчикам посчастливилось поступить в гимназию, а Нина так и осталась неученой, всю жизнь писала каракулями и читала одни только исторические романы. Лет семнадцать назад, когда ей было двадцать два года, она на даче в Химках познакомилась с теперешним своим мужем Панауровым, помещиком, влюбилась и вышла за него замуж против воли отца, тайно. Панауров, красивый, немножко наглый, закуривающий из лампадки и посвистывающий, казался ее отцу совершенным ничтожеством, и когда потом зять в своих письмах стал требовать приданого, старик написал дочери, что посылает ей в деревню шубы, серебро и разные вещи, оставшиеся после матери, и тридцать тысяч деньгами, но без родительского благословения; потом прислал еще двадцать тысяч. Деньги эти и приданое были прожиты, имение продано, и Панауров переселился с семьей в город и поступил на службу в губернское правление. В городе он завел себе другую семью, и это вызывало каждый день много разговоров, так как незаконная семья его жила открыто.

Нина Федоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая исторический роман, она думала о том, как она много пережила, сколько выстрадала за все время, и что если бы кто-нибудь описал ее жизнь, то вышло бы очень жалостно. Так как опухоль у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной жизни, и что в постель ее уложили ревность и слезы.

Но вот Алексей Федорыч закрыл книгу и сказал:

— Конец и богу слава. Завтра другой начнем.

Нина Федоровна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Лаптев стал замечать, что у нее от болезни минутами как будто ослабевал рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины.

— Без тебя тут до обеда приходила Юлия,— сказала она.— Как я поглядела, она не очень-то верит своему папаше. Пусть, говорит, вас лечит мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу,

чтобы он за вас помолился. Тут у них завелся старец какой-то. Юлечка у меня зонтик свой забыла, ты ей пошли завтра,—продолжала она, помолчав немного.— Нет, уж когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы.

— Нина, отчего ты по ночам не спишь? — спросил Лаптев, чтобы переменить разговор.

— Да так. Не сплю, вот и все. Лежу себе и думаю.

— О чем же ты думаешь, милая?

— О детях, о тебе... о своей жизни. Я ведь, Алеша, много пережила. Как начнешь вспоминать, как начнешь... Господи боже мой!—Она засмеялась.—Шутка ли, пять раз рожала, троих похоронила... Бывало, собираешься родить, а мой Григорий Николаич в это время у другой сидит, послать за акушеркой или за бабкой некого; пойдешь в сени или в кухню за прислугой, а там жиды, лавочники, ростовщики — ждут, когда он домой вернется. Голова, бывало, кружится... Он не любил меня, хоть и не высказывал этого. Теперь-то я угомонилась, отлегло от сердца, а прежде, когда помоложе была, обидно было,— обидно, ах, как обидно, голубчик! Раз — это еще в деревне было—застала я его в саду с одною дамой, и ушла я... ушла куда глаза мои глядят и не знаю, как очутилась на паперти, упала на колени: «Царица, говорю, небесная!» А на дворе ночь, месяц светит...

Она утомилась, стала задыхаться; потом, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабым, беззвучным голосом:

— Какой ты, Алеша, добрый... Какой ты умный... Какой из тебя хороший человек вышел!

В полночь Лаптев простился с нею и, уходя, взял с собой зонтик, забытый Юлией Сергеевной. Несмотря на позднее время, в столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой беспорядок! Дети не спали и находились тут же в столовой. Говорили тихо, вполголоса и не замечали, что лампа хмурится и скоро погаснет. Все эти большие и маленькие люди были обеспокоены целым рядом неблагоприятных примет, и настроение было угнетенное: разбилось в передней зеркало, самовар гудел каждый день и, как нарочно,

даже теперь гудел; рассказывали, что из ботинки Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь. И страшное значение всех этих примет было уже известно детям; старшая девочка, Саша, худенькая брюнетка, сидела за столом неподвижно, и лицо у нее было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лет, полная блондинка, стояла возле сестры и смотрела на огонь исподлобья.

Лаптев спустился к себе в нижний этаж, в комнаты с низкими потолками, где постоянно пахло геранью и было душно. В гостиной у него сидел Панауров, муж Нины Федоровны, и читал газету. Лаптев кивнул ему головой и сел против. Оба сидели и молчали. Случалось, что так молча они проводили целые вечера, и это молчание не стесняло их.

Пришли сверху девочки прощаться. Панауров молча, не спеша, несколько раз перекрестил обеих и дал им поцеловать свою руку, они сделали реверанс, затем подошли к Лаптеву, который тоже должен был крестить их и давать им целовать свою руку. Эта церемония с поцелуями и реверансами повторялась каждый вечер.

Когда девочки вышли, Панауров отложил в сторону газету и сказал:

— Скучно в нашем богоспасаемом городе! Признаюсь, дорогой мой,— добавил он со вздохом,— я очень рад, что вы, наконец, нашли себе развлечение.

— Вы о чем это? — спросил Лаптев.

— Давеча я видел, как вы выходили из дома доктора Белавина. Надеюсь, вы ходили туда не ради папаши.

— Конечно,— сказал Лаптев и покраснел.

— Ну, конечно. А кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, не сыскать днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинцией только с лирической стороны, так сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет, а есть только дикость, подлость, мерзость—и больше ничего. Возьмите вы здешних жрецов

науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию. Можете ли себе представить, здесь в городе двадцать восемь докторов, все они нажили себе состояния и живут в собственных домах, а население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положении. Вот понадобилось сделать Нине операцию, в сущности, пустую, а ведь для этого пришлось выписывать хирурга из Москвы,— здесь ни один не взялся. Вы не можете себе представить. Ничего они не знают, не понимают, ничем не интересуются. Спросите-ка их, например, что такое рак? Что? Отчего он происходит?

И Панауров стал объяснять, что такое рак. Он был специалистом по всем наукам и объяснял научно все, о чем бы ни зашла речь. Но объяснял он все как-то по-своему. У него была своя собственная теория кровообращения, своя химия, своя астрономия. Говорил он медленно, мягко, убедительно и слова «вы не можете себе представить» произносил умоляющим голосом, щурил глаза, томно вздыхал и улыбался милостиво, как король, и видно было, что он очень доволен собой и совсем не думает о том, что ему уже пятьдесят лет.

— Мне что-то есть захотелось,— сказал Лаптев.— Я с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого.

— Ну, что же? Это можно сейчас устроить.

Немного погодя Лаптев и его зять сидели наверху в столовой и ужинали. Лаптев выпил рюмку водки и потом стал пить вино, Панауров же ничего не пил. Он никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, все-таки прожил свое и женино состояние и наделал много долгов. Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то особый талант. Панауров любил вкусно поесть, любил хорошую сервировку, музыку за обедом, спичи, поклоны лакеев, которым небрежно бросал на чай по десяти и даже по двадцати пяти рублей; он участвовал всегда во всех подписках и лотереях, посылал знакомым именинницам букеты, покупал чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачек, попугаев, японские вещи, древности; ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат

настоящий бухарский и т. п., и на все это ежедневно уходило, как он сам выражался, «прорва денег».

За ужином он все вздыхал и покачивал головой.

— Да, все на этом свете имеет конец,— тихо говорил он, щуря свои темные глаза.— Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будут вам изменять, потому что нет женщины, которая бы не изменяла, вы будете страдать, приходить в отчаяние и сами будете изменять. Но настанет время, когда все это станет уже воспоминанием и вы будете холодно рассуждать и считать это совершенными пустяками...

А Лаптев, усталый, слегка пьяный, смотрел на его красивую голову, на черную подстриженную бородку и, казалось, понимал, почему это женщины так любят этого избалованного, самоуверенного и физически обаятельного человека.

После ужина Панауров не остался дома, а пошел к себе на другую квартиру. Лаптев вышел проводить его. Во всем городе только один Панауров носил цилиндр, и около серых заборов, жалких трехоконных домиков и кустов крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндр и оранжевые перчатки производили всякий раз и странное и грустное впечатление.

Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша. Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам.

— Я люблю! — произнес он вслух, и ему захотелось вдруг бежать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денег и потом бежать куда-нибудь в поле, в рощу, и все бежать без оглядки.

Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была из простой белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, и ему казалось, что около него даже пахнет счастьем.

Он сел поудобнее и, не выпуская из рук зонтика, стал писать в Москву, к одному из своих друзей:

«Милый, дорогой Костя, вот вам новость: я опять

люблю! Говорю *опять* потому, что лет шесть назад я был влюблен в одну московскую актрису, с которой мне не удалось даже познакомиться, и в последние полтора года жил с известною вам «особой»—женщиной немолодой и некрасивой. Ах, голубчик, как вообще мне не везло в любви! Я никогда не имел успеха у женщин, а если говорю *опять,* то потому только, что как-то грустно и обидно сознаваться перед самим собой, что молодость моя прошла вовсе без любви и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в тридцать четыре года. Пусть будет *опять* люблю.

Если бы вы знали, что это за девушка! Красавицей ее назвать нельзя,— у нее широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выражение доброты, как улыбается! Голос ее, когда она говорит, поет и звенит. Она со мной никогда не вступает в разговор, я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое, необыкновенное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями. Она религиозна, и вы не можете себе представить, до какой степени это трогает меня и возвышает ее в моих глазах. По этому пункту я готов спорить с вами без конца. Вы правы, пусть будет по-вашему, но все же я люблю, когда она в церкви молится. Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю... Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя и пр. и пр. Но, милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь.

Моя сестра благодарит вас за поклон. Она часто вспоминает, как когда-то возила Костю Кочевого отдавать в приготовительный класс, и до сих пор еще называет вас *бедный,* так как у нее сохранилось воспоминание о вас, как о сироте-мальчике. Итак, бедный сирота, я люблю. Пока это секрет, ничего не говорите *там* известной вам «особе». Это, я думаю, само собой уладится, или, как говорит лакей у Толстого, *образуется...»*

Кончив письмо, Лаптев лег в постель. От усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось;

казалось, что мешает уличный шум. Стадо прогнали мимо и играли на рожке, потом вскоре зазвонили к ранней обедне. То телега проедет со скрипом, то раздается голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. И воробьи чирикали все время.

II

Утро было веселое, праздничное. Часов в десять Нину Федоровну, одетую в коричневое платье, причесанную, вывели под руки в гостиную, и здесь она прошлась немного и постояла у открытого окна, и улыбка у нее была широкая, наивная, и при взгляде на нее вспоминался один местный художник, пьяный человек, который называл ее лицо ликом и хотел писать с нее русскую масленицу. И у всех — у детей, у прислуги и даже у брата Алексея Федорыча и у нее самой — явилась вдруг уверенность, что она непременно выздоровеет. Девочки с визгливым смехом гонялись за дядей, ловили его, и в доме стало шумно.

Приходили чужие справиться насчет ее здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всех церквах служили молебны. Она в своем городе была благотворительницей, ее любили. Благотворила она с необыкновенною легкостью, так же как брат Алексей, который раздавал деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нет. Нина Федоровна платила за бедных учеников, раздавала старухам чай, сахар, варенье, наряжала небогатых невест и если ей в руки попадала газета, то она прежде всего искала, нет ли какого-нибудь воззвания или заметки о чьем-нибудь бедственном положении.

Теперь у нее в руках была пачка записок, по которым разные бедняки, ее просители, забирали товар в бакалейной лавке и которые накануне прислал ей купец с просьбой уплатить восемьдесят два рубля.

— Ишь ты, сколько набрали, бессовестные! — говорила она, едва разбирая на записках свой некрасивый почерк. — Шутка ли? Восемьдесят два! Возьму вот и не отдам.

— Я сегодня заплачу,— сказал Лаптев.

— Зачем это, зачем? — встревожилась Нина Федоровна.— Довольно и того, что я каждый месяц по двести пятьдесят получаю от тебя и брата. Спаси вас господи,—добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

— Ну, а я в месяц две тысячи пятьсот проживаю,— сказал он.— Я тебе еще раз повторяю, милая: ты имеешь такое же право тратить, как и я и Федор. Пойми это раз навсегда. Нас у отца трое, и из каждых трех копеек одна принадлежит тебе.

Но Нина Федоровна не понимала, и выражение у нее было такое, как будто она мысленно решала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость в денежных делах всякий раз беспокоила и смущала Лаптева. Он подозревал, кроме того, что у нее лично есть долги, о которых она стесняется сказать ему и которые заставляют ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыхание: это вверх по лестнице поднимался доктор, по обыкновению, растрепанный и нечесаный.

— Ру-ру-ру,— напевал он.— Ру-ру.

Чтобы не встречаться с ним, Лаптев вышел в столовую, потом спустился к себе вниз. Для него было ясно, что сойтись с доктором покороче и бывать в его доме запросто — дело невозможное; и встречаться с этим «одром», как называл его Панауров, было неприятно. И оттого он так редко виделся с Юлией Сергеевной. Он сообразил теперь, что отца нет дома, что если понесет теперь Юлии Сергеевне ее зонтик, то, наверное, он застанет дома ее одну, и сердце у него сжалось от радости. Скорей, скорей!

Он взял зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви. На улице было жарко. У доктора, в громадном дворе, поросшем бурьяном и крапивой, десятка два мальчиков играли в мяч. Все это были дети жильцов, мастеровых, живших в трех старых, неприглядных флигелях, которые доктор каждый год собирался ремонтировать и все откладывал. Раздавались звонкие, здоровые голоса. Далеко в стороне, около своего крыльца, стояла Юлия Сергеевна, заложив руки назад, и смотрела на игру.

— Здравствуйте! — окликнул Лаптев.

Она оглянулась. Обыкновенно он видел ее равнодушною, холодною или, как вчера, усталою, теперь же выражение у нее было живое и резвое, как у мальчиков, которые играли в мяч.

— Посмотрите, в Москве никогда не играют так весело,— говорила она, идя к нему навстречу.— Впрочем, ведь там нет таких больших дворов, бегать там негде. А папа только что пошел к вам,— добавила она, оглядываясь на детей.

— Я знаю, но я не к нему, а к вам,— сказал Лаптев, любуясь ее молодостью, которой не замечал раньше и которую как будто лишь сегодня открыл в ней; ему казалось, что ее тонкую белую шею с золотою цепочкой он видел теперь только в первый раз.— Я к вам...— повторил он.— Сестра вот прислала зонтик, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтик, но он прижал его к груди и проговорил страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой он испытал вчера ночью, сидя под зонтиком:

— Прошу вас, подарите мне его. Я сохраню на память о вас... о нашем знакомстве. Он такой чудесный!

— Возьмите,— сказала она и покраснела.— Но чудесного ничего в нем нет.

Он смотрел на нее с упоением, молча и не зная, что сказать.

— Что же это я держу вас на жаре? — сказала она после некоторого молчания и рассмеялась.— Пойдемте в комнаты.

— А я вас не обеспокою?

Вошли в сени. Юлия Сергеевна побежала наверх, шумя своим платьем, белым с голубыми цветочками.

— Меня нельзя обеспокоить,— ответила она, останавливаясь на лестнице,— я ведь никогда ничего не делаю. У меня праздник каждый день, от утра до вечера.

— Для меня то, что вы говорите, непонятно,— сказал он, подходя к ней.— Я вырос в среде, где трудятся каждый день, все без исключения, и мужчины и женщины.

— А если нечего делать? — спросила она.

— Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни.

Он опять прижал к груди зонтик и сказал тихо, неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса:

— Если бы вы согласились быть моею женой, я бы все отдал. Я бы все отдал... Нет цены, нет жертвы, на какую бы я ни пошел.

Она вздрогнула и посмотрела на него с удивлением и страхом.

— Что вы, что вы! — проговорила она бледнея.— Это невозможно, уверяю вас. Извините.

Затем быстро, все так же шумя платьем, пошла выше и скрылась в дверях.

Лаптев понял, что это значит, и настроение у него переменилось сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет. Испытывая стыд, унижение человека, которым пренебрегли, который не нравился, противен, быть может гадок, от которого бегут, он вышел из дому.

«Отдал бы все,— передразнил он себя, идя домой по жаре и вспоминая подробности объяснения.— Отдал бы все — совсем по-купечески. Очень кому нужно это твое *все!*»

Все, что он только что говорил, казалось ему, было глупо до отвращения. Зачем он солгал, что он вырос в среде, где трудятся все без исключения? Зачем он говорил назидательным тоном о чистой, радостной жизни? Это неумно, неинтересно, фальшиво,— фальшиво по-московски. Но вот мало-помалу наступило безразличное настроение, в какое впадают преступники после сурового приговора, он думал уже о том, что, слава богу, теперь все уже прошло и нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно по целым дням ожидать, томиться, думать все об одном; теперь все ясно; нужно оставить всякие надежды на личное счастье, жить без желаний, без надежд, не мечтать, не ждать, а чтобы не было этой скуки, с которой уже так надоело нянчиться, можно заняться чужими делами, чужим счастьем, а там незаметно наступит старость, жизнь придет к концу — и больше ничего не нужно. Ему уж

было все равно, он ничего не хотел и мог холодно рассуждать, но в лице, особенно под глазами, была какая-то тяжесть, лоб напрягался, как резина,— вот-вот брызнут слезы. Чувствуя во всем теле слабость, он лег в постель и минут через пять крепко уснул.

III

Предложение, которое так неожиданно сделал Лаптев, привело Юлию Сергеевну в отчаяние.

Она знала Лаптева немного, познакомилась с ним случайно; это был богатый человек, представитель известной московской фирмы «Федор Лаптев и сыновья», всегда очень серьезный, по-видимому умный, озабоченный болезнью сестры; казалось ей, что он не обращал на нее никакого внимания, и сама она была к нему совершенно равнодушна,— и вдруг это объяснение на лестнице, это жалкое, восхищенное лицо...

Предложение смутило ее и своею внезапностью, и тем, что произнесено было слово *жена*, и тем, что пришлось ответить отказом. Она уже не помнила, что сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать следы того порывистого, неприятного чувства, с каким отказала ему. Он не нравился ей; наружность у него была приказчицкая, сам он был неинтересен, она не могла ответить иначе, как отказом, но все же ей было неловко, как будто она поступила дурно.

— Боже мой, не входя в комнаты, прямо на лестнице,— говорила она с отчаянием, обращаясь к образку, который висел над ее изголовьем,— и не ухаживал раньше, а как-то странно, необыкновенно...

В одиночестве с каждым часом ее тревога становилась все сильнее, и ей одной было не под силу справиться с этим тяжелым чувством. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушал ее и сказал ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не с кем. Матери у нее не было уже давно, отца считала она странным человеком и не могла говорить с ним серьезно. Он стеснял ее своими капризами, чрезмерною обидчивостью и неопределенными жестами; и стоило только завести

с ним разговор, как он тотчас же начинал говорить о себе самом. И во время молитвы она не была вполне откровенной, так как не знала наверное, чего, собственно, ей нужно просить у бога.

Подали самовар. Юлия Сергеевна, очень бледная, усталая, с беспомощным видом, вышла в столовую, заварила чай,— это было на ее обязанности,— и налила отцу стакан. Сергей Борисыч, в своем длинном сюртуке ниже колен, красный, непричесанный, заложив руки в карманы, ходил по столовой, не из угла в угол, а как придется, точно зверь в клетке. Остановится у стола, отопьет из стакана с аппетитом и опять ходит и о чем-то все думает.

— Мне сегодня Лаптев сделал предложение,— сказала Юлия Сергеевна и покраснела.

Доктор поглядел на нее и как будто не понял.

— Лаптев? — спросил он.— Брат Панауровой?

Он любил дочь; было вероятно, что она рано или поздно выйдет замуж и оставит его, но он старался не думать об этом. Его пугало одиночество, и почему-то казалось ему, что если он останется в этом большом доме один, то с ним сделается апоплексический удар, но об этом он не любил говорить прямо.

— Что ж, я очень рад,— сказал он и пожал плечами.— От души тебя поздравляю. Теперь представляется тебе прекрасный случай расстаться со мной, к великому твоему удовольствию. И я вполне тебя понимаю. Жить у старика отца, человека больного, полоумного, в твои годы должно быть очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. И если бы я околел поскорей и если бы меня черти взяли, то все были бы рады. От души поздравляю.

— Я ему отказала.

У доктора стало легче на душе, но он уже был не в силах остановиться и продолжал:

— Я удивляюсь, я давно удивляюсь, отчего меня до сих пор не посадили в сумасшедший дом? Почему на мне этот сюртук, а не горячечная рубаха? Я верю еще в правду, в добро, я дурак идеалист, а разве в наше время это не сумасшествие? И как мне отвечают на мою правду, на мое честное отношение? В меня чуть

не бросают камнями и ездят на мне верхом. И даже близкие родные стараются только ездить на моей шее, черт бы побрал меня, старика болвана...

— С вами нельзя говорить по-человечески! — сказала Юлия.

Она порывисто встала из-за стола и ушла к себе, в сильном гневе, вспоминая, как часто отец бывал к ней несправедлив. Но немного погодя ей уже было жаль отца, и когда он уходил в клуб, она проводила его вниз и сама заперла за ним дверь. А на дворе была погода нехорошая, беспокойная; дверь дрожала от напора ветра, и в сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна и двери; ветер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше. Никогда еще не было так скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой.

Она спросила себя: хорошо ли она поступила, что отказала человеку только потому, что ей не нравится его наружность? Правда, это нелюбимый человек и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятиями о счастье и супружеской жизни, но встретит ли она когда-нибудь того, о ком мечтала, и полюбит ли? Ей уже двадцать один год. Женихов в городе нет. Она представила себе всех знакомых мужчин — чиновников, педагогов, офицеров, и одни из них были уже женаты, и их семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другие были неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев же, как бы ни было, москвич, кончил в университете, говорит по-французски; он живет в столице, где много умных, благородных, замечательных людей, где шумно, прекрасные театры, музыкальные вечера, превосходные портнихи, кондитерские... В священном писании сказано, что жена должна любить своего мужа, и в романах любви придается громадное значение, но нет ли преувеличения в этом? Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ведь говорят, что любовь скоро проходит и остается одна привычка и что самая цель семейной жизни не в любви, не в счастье, а в обязанностях, например в воспитании детей, в заботах по хозяйству и

проч. Да и священное писание, быть может, имеет в виду любовь к мужу, как к ближнему, уважение к нему, снисхождение.

Ночью Юлия Сергеевна внимательно прочла вечерние молитвы, потом стала на колени и, прижав руки к груди, глядя на огонек лампадки, говорила с чувством:

— Вразуми, заступница! Вразуми, господи!

Ей в своей жизни приходилось встречать пожилых девушек, бедных и ничтожных, которые горько раскаивались и выражали сожаление, что когда-то отказывали своим женихам. Не случится ли и с ней то же самое? Не пойти ли ей в монастырь или в сестры милосердия?

Она разделась и легла в постель, крестясь и крестя вокруг себя воздух. Вдруг в коридоре резко и жалобно прозвучал звонок.

— Ах, боже мой! — проговорила она, чувствуя от этого звонка болезненное раздражение во всем теле. Она лежала и все думала о том, как эта провинциальная жизнь бедна событиями, однообразна и в то же время беспокойна. То и дело приходится вздрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноватой, и нервы в конце концов портятся до такой степени, что страшно бывает выглянуть из-под одеяла.

Через полчаса опять раздался звонок и такой же резкий. Должно быть, прислуга спала и не слышала. Юлия Сергеевна зажгла свечу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одеваться, и когда, одевшись, вышла в коридор, то внизу горничная уже запирала дверь.

— Думала, что барин, а это от больного приезжали,— сказала она.

Юлия Сергеевна вернулась к себе. Она достала из комода колоду карт и решила, что если хорошо стасовать карты и потом снять и если под низом будет красная масть, то это значит *да*, то есть надо согласиться на предложение Лаптева, если же черная, то *нет*. Карта оказалась пиковою десяткой.

Это ее успокоило, она уснула, но утром опять уже не было ни *да*, ни *нет*, и она думала о том, что может теперь, если захочет, переменить свою жизнь. Мысли

утомили ее, она изнемогала и чувствовала себя больной, но все же в начале двенадцатого часа оделась и пошла проведать Нину Федоровну. Ей хотелось увидеть Лаптева: быть может, теперь он покажется ей лучше; быть может, она ошибалась до сих пор...

Ей трудно было идти против ветра, она едва шла, придерживая обеими руками шляпу, и ничего не видела от пыли.

IV

Войдя к сестре и увидев неожиданно Юлию Сергеевну, Лаптев опять испытал унизительное состояние человека, который противен. Он заключил, что если она так легко может после вчерашнего бывать у сестры и встречаться с ним, то, значит, она не замечает его или считает полнейшим ничтожеством. Но когда он здоровался с ней, она, бледная, с пылью под глазами, поглядела на него печально и виновато; он понял, что она тоже страдает.

Ей нездоровилось. Посидела она очень недолго, минут десять, и стала прощаться. И, уходя, сказала Лаптеву:

— Проводите меня домой, Алексей Федорыч.

По улице шли они молча, придерживая шляпы, и он, идя сзади, старался заслонить ее от ветра. В переулке было тише, и тут оба пошли рядом.

— Если я вчера была неласкова, то вы простите, — начала она, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась заплакать. — Это такое мученье! Я всю ночь не спала.

— А я отлично проспал всю ночь, — сказал Лаптев, не глядя на нее, — но это не значит, что мне хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастлив, и после вчерашнего вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера, сегодня с вами я уже не чувствую стеснения и могу говорить прямо. Я люблю вас больше, чем сестру, больше, чем покойную мать... Без сестры и без матери я мог жить и жил, но жить без вас — для меня это бессмыслица, я не могу...

И теперь, как обыкновенно, он угадывал ее намерения. Ему было понятно, что она хочет продолжать вчерашнее и только для этого попросила его проводить ее и теперь вот ведет к себе в дом. Но что она может еще прибавить к своему отказу? Что она придумала нового? По всему, по взглядам, по улыбке и даже по тому, как она, идя с ним рядом, держала голову и плечи, он видел, что она по-прежнему не любит его, что он чужой для нее. Что же она хочет еще сказать?

Доктор Сергей Борисыч был дома.

— Добро пожаловать, весьма рад вас видеть, Федор Алексеич,— сказал он, путая его имя и отчество.— Весьма рад, весьма рад.

Раньше он не бывал так приветлив, и Лаптев заключил, что о предложении его уже известно доктору; и это ему не понравилось. Он сидел теперь в гостиной, и эта комната производила странное впечатление своею бедною, мещанскою обстановкой, своими плохими картинами, и хотя в ней были и кресла, и громадная лампа с абажуром, она все же походила на нежилое помещение, на просторный сарай, и было очевидно, что в этой комнате мог чувствовать себя дома только такой человек, как доктор; другая комната, почти вдвое больше, называлась залой, и тут стояли одни только стулья, как в танцклассе. И Лаптева, пока он сидел в гостиной и говорил с доктором о своей сестре, стало мучить одно подозрение. Не затем ли Юлия Сергеевна была у сестры Нины и потом привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимает его предложение? О, как это ужасно, но ужаснее всего, что его душа доступна для подобных подозрений. Он представлял себе, как вчера вечером и ночью отец и дочь долго советовались, быть может, долго спорили, и потом пришли к соглашению, что Юлия поступила легкомысленно, отказавши богатому человеку. В его ушах звучали даже слова, какие в подобных случаях говорятся родителями:

«Правда, ты не любишь его, но зато, подумай, сколько ты можешь сделать добра!»

Доктор собрался к больным. Лаптев хотел выйти с ним вместе, но Юлия Сергеевна сказала:

— А вы останьтесь, прошу вас.

Она замучилась, пала духом и уверяла себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человеку только потому, что он не нравится, особенно когда с этим замужеством представляется возможность изменить свою жизнь, свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходит и не предвидится в будущем ничего более светлого, отказывать при таких обстоятельствах — это безумие, это каприз и прихоть, и за это может даже наказать бог.

Отец вышел. Когда шаги его затихли, она вдруг остановилась перед Лаптевым и сказала решительно, и при этом страшно побледнела:

— Я вчера долго думала, Алексей Федорыч... Я принимаю ваше предложение.

Он нагнулся и поцеловал ей руку, она неловко поцеловала его холодными губами в голову. Он чувствовал, что в этом любовном объяснении нет главного — ее любви, и есть много лишнего, и ему захотелось закричать, убежать, тотчас же уехать в Москву, но она стояла близко, казалась ему такою прекрасной, и страсть вдруг овладела им, он сообразил, что рассуждать тут уже поздно, обнял ее страстно, прижал к груди и, бормоча какие-то слова, называя ее *ты*, поцеловал ее в шею, потом в щеку, в голову...

Она отошла к окну, боясь этих ласк, и уже оба сожалели, что объяснились, и оба в смущении спрашивали себя:

«Зачем это произошло?»

— Если бы вы знали, как я несчастна! — проговорила она, сжимая руки.

— Что с вами? — спросил он, подходя к ней и тоже сжимая руки.— Дорогая моя, ради бога, говорите — что? Но только правду, умоляю вас, только одну правду!

— Не обращайте внимания, — сказала она и насильно улыбнулась.— Я обещаю вам, я буду верною, преданною женой... Приходите сегодня вечером.

Сидя потом у сестры и читая исторический роман, он вспоминал все это, и ему было обидно, что на его великолепное, чистое, широкое чувство ответили так мелко; его не любили, но предложение его приняли,

вероятно только потому, что он богат, то есть предпочли в нем то, что сам он ценил в себе меньше всего. Можно допустить, что Юлия, чистая и верующая в бога, ни разу не подумала о деньгах, но ведь она не любила его, не любила, и, очевидно, у нее был расчет, хотя, быть может, и не вполне осмысленный, смутный, но все же расчет. Дом доктора был ему противен своею мещанскою обстановкой, сам доктор представлялся жалким, жирным скрягой, каким-то опереточным Гаспаром из *Корневильских колоколов,* самое имя Юлия звучало уже вульгарно. Он воображал, как он и его Юлия пойдут под венец, в сущности, совершенно незнакомые друг другу, без капли чувства с ее стороны, точно их сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утешение, такое же банальное, как и самый этот брак, утешение, что он не первый и не последний, что так женятся и выходят замуж тысячи людей и что Юлия со временем, когда покороче узнает его, то, быть может, полюбит.

— Ромео и Юлия! — сказал он, закрывая книгу, и засмеялся.— Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, я сегодня сделал предложение Юлии Белавиной.

Нина Федоровна думала, что он шутит, но потом поверила и заплакала. Эта новость ей не понравилась.

— Что ж, поздравляю,— сказала она.— Но почему же это так вдруг?

— Нет, это не вдруг. Это тянется с марта, только ты ничего не замечаешь... Я влюбился еще в марте, когда познакомился с ней вот тут, в твоей комнате.

— А я думала, что ты женишься на какой-нибудь нашей, московской,—сказала Нина Федоровна, помолчав.— Девушки из нашего круга будут попроще. Но, главное, Алеша, чтобы ты был счастлив, это самое главное. Мой Григорий Николаич не любил меня, и, скрыть нельзя, ты видишь, как мы живем. Конечно, каждая женщина может полюбить тебя за доброту и за ум, но ведь Юлечка институтка и дворянка, ей мало ума и доброты. Она молода, а ты сам, Алеша, уже не молод и не красив.

Чтобы смягчить последние слова, она погладила его по щеке и сказала:

— Ты не красив, но ты славненький.

Она разволновалась, так что даже на щеках у нее выступил легкий румянец, и с увлечением говорила о том, будет ли прилично, если она благословит Алешу образом; ведь она старшая сестра и заменяет ему мать; и она все старалась убедить своего печального брата, что надо сыграть свадьбу как следует, торжественно и весело, чтобы не осудили люди.

Затем он стал ходить к Белавиным как жених, раза по три, по четыре в день, и уже некогда ему было сменять Сашу и читать исторический роман. Юлия принимала его в своих двух комнатах, вдали от гостиной и отцовского кабинета, и они ему очень нравились. Тут были темные стены, в углу стоял киот с образами; пахло хорошими духами и лампадным маслом. Она жила в самых дальних комнатах, кровать и туалет ее были заставлены ширмами, и дверцы в книжном шкафу задернуты изнутри зеленою занавеской, и ходила она у себя по коврам, так что совсем не бывало слышно ее шагов,— и из этого он заключил, что у нее скрытный характер и любит она тихую, покойную, замкнутую жизнь. В доме она была еще на положении несовершеннолетней, у нее не было собственных денег, и, случалось, во время прогулок она конфузилась, что при ней нет ни копейки. На наряды и книги выдавал ей отец понемножку, не больше ста рублей в год. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечер он играл в клубе в карты и всегда проигрывал. Кроме того, он покупал дома в обществе взаимного кредита с переводом долга и отдавал их внаймы; жильцы платили ему неисправно, но он уверял, что эти операции с домами очень выгодны. Свой дом, в котором он жил с дочерью, он заложил и на эти деньги купил пустошь и уже начал строить на ней большой двухэтажный дом, чтобы заложить его.

Лаптев жил теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник, и делал многое такое, чего бы он не решился сделать прежде. Он раза три ходил с доктором в клуб, ужинал с ним и сам предложил

ему денег на постройку; он даже побывал у Панаурова на его другой квартире. Как-то Панауров пригласил его к себе обедать, и Лаптев, не подумав, согласился. Его встретила дама лет тридцати пяти, высокая и худощавая, с легкою проседью и с черными бровями, по-видимому не русская. На ее лице лежали белые пятна от пудры, улыбнулась она приторно и пожала руку порывисто, так что зазвенели на белых руках браслеты. Лаптеву казалось, что она улыбается так потому, что хочет скрыть от других и от самой себя, что она несчастна. Увидел он и двух девочек, пяти и трех лет, похожих на Сашу. За обедом подавали молочный суп, холодную телятину с морковью и шоколад,— это было слащаво и невкусно, но зато на столе блестели золотые вилочки, флаконы с соей и кайенским перцем, необыкновенно вычурный судок, золотая перечница.

Только поевши молочного супу, Лаптев сообразил, как это, в сущности, было некстати, что он пришел сюда обедать. Дама была смущена, все время улыбалась, показывая зубы, Панауров объяснял научно, что такое влюбленность и отчего она происходит.

— Мы тут имеем дело с одним из явлений электричества,— говорил он по-французски, обращаясь к даме.— В коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. Если вы встречаетесь с особью, токи которой параллельны вашим, то вот вам и любовь.

Когда Лаптев вернулся домой и сестра спросила, где он был, ему стало неловко, и он ничего не ответил.

Все время до свадьбы он чувствовал себя в ложном положении. Любовь его с каждым днем становилась все сильнее, и Юлия казалась ему поэтической и возвышенной, но все же взаимной любви не было, а сущность была та, что он покупал, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, он приходил просто в отчаяние и спрашивал себя: не бежать ли? Он уже не спал по целым ночам и все думал о том, как он после свадьбы встретится в Москве с госпожой, которую в своих письмах к друзьям называл «особой»,

и как его отец и брат, люди тяжелые, отнесутся к его женитьбе и к Юлии. Он боялся, что отец при первой же встрече скажет Юлии какую-нибудь грубость. А с братом Федором в последнее время происходило что-то странное. Он в своих длинных письмах писал о важности здоровья, о влиянии болезней на психическое состояние, о том, что такое религия, но ни слова о Москве и о делах. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характер брата меняется к худшему.

Свадьба была в сентябре. Венчание происходило в церкви Петра и Павла, после обедни, и в тот же день молодые уехали в Москву. Когда Лаптев и его жена, в черном платье со шлейфом, уже по виду не девушка, а настоящая дама, прощались с Ниной Федоровной, все лицо у больной покривилось, но из сухих глаз не вытекло ни одной слезы. Она сказала:

— Если, не дай бог, умру, возьмите к себе моих девочек.

— О, обещаю вам! — ответила Юлия Сергеевна, и у нее тоже стали нервно подергиваться губы и веки.

— Я приеду к тебе в октябре,— сказал Лаптев, растроганный.— Выздоравливай, моя дорогая.

Они ехали в отдельном купе. Обоим было грустно и неловко. Она сидела в углу, не снимая шляпы, и делала вид, что дремлет, а он лежал против нее на диване, и его беспокоили разные мысли: об отце, об «особе», о том, понравится ли Юлии его московская квартира. И, поглядывая на жену, которая не любила его, он думал уныло: «Зачем это произошло?»

V

Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром: бахромой, тесьмой, аграмантом, вязальною бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход приблизительно в триста тысяч и говорили, что он был бы тысяч на

его больше, если бы старик «не раскидывался», то есть не отпускал в кредит без разбору; за последние десять лет одних безнадежных векселей набралось почти на миллион, и старший приказчик, когда заходила речь об этом, хитро подмигивал глазом и говорил слова, значение которых было не для всех ясно:

— Психологическое последствие века.

Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещенную узким окном с железною решеткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с острожным окном: это — контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и снующих людей она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут в амбаре каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей.

Когда на другой день по приезде в Москву, в полдень, Лаптев пришел в амбар, то артельщики, запаковывая товар, стучали по ящикам так громко, что в первой комнате и в конторе никто не слышал, как он вошел; по лестнице вниз спускался знакомый почтальон с пачкой писем в руке и морщился от стука

и тоже не заметил его. Первый, кто встретил его наверху, был брат Федор Федорыч, похожий на него до такой степени, что их считали близнецами. Это сходство постоянно напоминало Лаптеву об его собственной наружности, и теперь, видя перед собой человека небольшого роста, с румянцем, с редкими волосами на голове, с худыми, непородистыми бедрами, такого неинтересного и неинтеллигентного на вид, он спросил себя: «Неужели и я такой?»

— Как я рад тебя видеть! — сказал Федор, целуясь с братом и крепко пожимая ему руку.— Я с нетерпением ожидал тебя каждый день, милый мой. Как ты написал, что женишься, меня стало мучить любопытство, да и соскучился, брат. Сам посуди, полгода не видались. Ну, что? Как? Плоха Нина? Очень?

— Очень плоха.

— Божья воля,— вздохнул Федор.— Ну, а жена твоя? Небось красавица? Я ее уже люблю, ведь она приходится мне сестреночкой. Будем ее вместе баловать.

Показалась давно знакомая Лаптеву широкая, сутулая спина его отца Федора Степаныча. Старик сидел возле прилавка на табурете и разговаривал с покупателем.

— Папаша, бог радость послал! — крикнул Федор.— Брат приехал!

Федор Степаныч был высокого роста и чрезвычайно крепкого сложения, так что, несмотря на свои восемьдесят лет и морщины, все еще имел вид здорового, сильного человека. Говорил он тяжелым, густым, гудящим басом, который выходил из его широкой груди, как из бочки. Он брил бороду, носил солдатские подстриженные усы и курил сигары. Так как ему всегда казалось жарко, то в амбаре и дома во всякое время года он ходил в просторном парусинковом пиджаке. Ему недавно снимали катаракту, он плохо видел и уже не занимался делом, а только разговаривал и пил чай с вареньем.

Лаптев нагнулся и поцеловал его в руку, потом в губы.

— Давненько не видались, милостивый государь,— сказал старик.— Давненько. Что ж, прикажешь с законным браком поздравить? Ну, изволь, поздравляю.

И он подставил губы для поцелуя. Лаптев нагнулся и поцеловал.

— Что ж, и барышню свою привез? — спросил старик и, не дожидаясь ответа, сказал, обращаясь к покупателю: — Сим извещаю вас, папаша, вступаю я в брак с девицей такой-то. Да. А того, чтоб у папаши попросить благословения и совета, нету в правилах. Теперь они своим умом. Когда я женился, мне больше сорока было, а я в ногах у отца валялся и совета просил. Нынче уже этого нету.

Старик обрадовался сыну, но считал неприличным приласкать его и как-нибудь обнаружить свою радость. Его голос, манера говорить и «барышня» навеяли на Лаптева то дурное настроение, какое он испытывал всякий раз в амбаре. Тут каждая мелочь напоминала ему о прошлом, когда его секли и держали на постной пище; он знал, что и теперь мальчиков секут и до крови разбивают им носы и что когда эти мальчики вырастут, то сами тоже будут бить. И достаточно ему было пробыть в амбаре минут пять, как ему начало казаться, что его сейчас обругают или ударят по носу.

Федор похлопал покупателя по плечу и сказал брату:

— Вот, Алеша, рекомендую, наш тамбовский кормилец, Григорий Тимофеич. Может служить примером для современной молодежи: уже шестой десяток пошел, а он грудных детей имеет.

Приказчики засмеялись, и покупатель, тощий старик с бледным лицом, тоже засмеялся.

— Природа сверх обыкновенного действия,— заметил старший приказчик, стоявший тут же за прилавком.— Куда вошло, оттуда и выйдет.

Старший приказчик, высокий мужчина лет пятидесяти, с темною бородой, в очках и с карандашом за ухом, обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбке видно

было при этом, что своим словам он придавал какой-то особенный, тонкий смысл. Свою речь он любил загромождать книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова часто употреблял он не в том значении, какое они имеют. Например, слово «кроме». Когда он выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел, чтоб ему противоречили, то протягивал вперед правую руку и произносил:

— Кроме!

И удивительнее всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иван Васильич Початкин, и родом он был из Каширы. Теперь, поздравляя Лаптева, он выразился так:

— С вашей стороны заслуга храбрости, так как женское сердце есть Шамиль.

Другим важным лицом в амбаре был приказчик Макеичев, полный, солидный блондин с лысиной во все темя и с бакенами. Он подошел к Лаптеву и поздравил его почтительно, вполголоса:

— Честь имею-с... Господь услышал молитвы вашего родителя-с. Слава богу-с.

Затем стали подходить другие приказчики и поздравлять с законным браком. Все они были одеты по моде и имели вид вполне порядочных, воспитанных людей. Говорили они на *о*, *г* произносили как латинское *g*; оттого что почти через каждые два слова они употребляли *с*, их поздравления, произносимые скороговоркой, например фраза: «желаю вам-с всего хорошего-с» — слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху — «жвыссс».

Лаптеву все это скоро наскучило и захотелось домой, но уйти было неловко. Из приличия нужно было пробыть в амбаре по крайней мере два часа. Он отошел в сторону от прилавка и стал расспрашивать Макеичева, благополучно ли прошло лето и нет ли чего нового, и тот отвечал почтительно, не глядя ему в глаза. Мальчик, стриженый, в серой блузе, подал Лаптеву стакан чаю без блюдечка; немного погодя другой мальчик, проходя мимо, спотыкнулся о ящик

и едва не упал, и солидный Макеичев вдруг сделал страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнул на него:

— Ходи ногами!

Приказчики были рады, что молодой хозяин женился и, наконец, приехал, они поглядывали на него с любопытством и приветливо, и каждый, проходя мимо, считал долгом сказать ему почтительно что-нибудь приятное. Но Лаптев был убежден, что все это неискренно и что ему льстят потому, что боятся его. Он никак не мог забыть, как лет пятнадцать назад один приказчик, заболевший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили; и над беднягой, когда он потом выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев: «плантаторы!» — вместо «эксплуататоры». Вообще служащим жилось у Лаптевых очень плохо, и об этом давно уже говорили все ряды. Хуже всего было то, что по отношению к ним старик Федор Степаныч держался какой-то азиатской политики. Так, никому не было известно, сколько жалованья получали его любимцы Початкин и Макеичев; получали они по три тысячи в год вместе с наградными, не больше, он же делал вид, что платит им по семи; наградные выдавались каждый год всем приказчикам, но тайно, так что получивший мало должен был из самолюбия говорить, что получил много; ни один мальчик не знал, когда его произведут в приказчики; ни один служащий не знал, доволен им хозяин или нет. Ничто не запрещалось приказчикам прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что — нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях, но в девять часов вечера уже запирались ворота, и каждое утро хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой: «А ну-ка, дыхни!»

Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обедне и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюда-

лись. В торжественные дни, например в именины хозяина или членов его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладкий пирог от Флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате, и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали.

Лаптев сознавал, что из них разве одни только неиспорченные стариковским воспитанием серьезно могли считать его благодетелем, остальные же видели в нем врага и «плантатора». Теперь, после полугодового отсутствия, он не видел перемен к лучшему; и было даже еще что-то новое, не предвещавшее ничего хорошего. Брат Федор, бывший раньше тихим, вдумчивым и чрезвычайно деликатным, теперь, с видом очень занятого и делового человека, с карандашом за ухом, бегал по амбару, похлопывал покупателей по плечу и кричал на приказчиков: «Друзья!» По-видимому, он играл какую-то роль, и в этой новой роли Алексей не узнавал его.

Голос старика гудел непрерывно. От нечего делать старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести свои дела, и при этом все ставил в пример самого себя. Это хвастовство, этот авторитетный, подавляющий тон Лаптев слышал и десять, и пятнадцать, и двадцать лет назад. Старик обожал себя; из его слов всегда выходило так, что свою покойную жену и ее родню он осчастливил, детей наградил, приказчиков и служащих облагодетельствовал и всю улицу и всех знакомых заставил за себя вечно бога молить; что он ни делал, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идут дела, то потому только, что они не хотят посоветоваться с ним; без его совета не может удаться никакое дело. В церкви он всегда становился впереди всех и даже делал замечания священникам, когда они, по его мнению, не так служили, и думал, что это угодно богу, так как бог его любит.

К двум часам в амбаре все уже были заняты делом, кроме старика, который продолжал гудеть. Лап

тев, чтобы не стоять без дела, принял у одной мастерицы аграмант и отпустил ее, потом выслушал покупателя, вологодского купца, и приказал приказчику заняться.

— Твердо, веди, аз! — слышалось со всех сторон (буквами в амбаре означались цены и номера товаров).— Рцы, иже, твердо!

Уходя, Лаптев простился с одним только Федором.

— Я завтра приеду с женой на Пятницкую,— сказал он,— но предупреждаю, если отец скажет ей хоть одно грубое слово, то я минуты там не останусь.

— А ты все такой же,— вздохнул Федор.— Женился, не переменился. Надо, брат, снисходить к старику. Итак, значит, завтра часам к одиннадцати. Будем с нетерпением ждать. Так приезжай прямо с обедни.

— Я в обедне не бываю.

— Ну, это все равно. Главное, чтобы не позже одиннадцати, чтоб успеть и богу помолиться и позавтракать вместе. Кланяйся сестреночке и поцелуй ручку. У меня предчувствие, что я ее полюблю,— добавил Федор вполне искренно.— Завидую, брат! — крикнул он, когда уже Алексей спускался вниз.

«И почему это он все жмется как-то застенчиво, будто кажется ему, что он голый? — думал Лаптев, идя по Никольской и стараясь понять перемену, какая произошла в Федоре.— И язык какой-то новый у него: брат, милый брат, бог милости прислал, богу помолимся,— точно щедринский Иудушка».

VI

На другой день, в воскресенье, в одиннадцать часов, он уже ехал с женой по Пятницкой, в легкой коляске, на одной лошади. Он боялся со стороны Федора Степаныча какой-нибудь выходки, и уже заранее ему было неприятно. После двух ночей, проведенных в доме мужа, Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастием, и если бы ей пришлось жить с мужем не в Москве, а где-нибудь в другом городе, то, казалось ей, она не перенесла

бы этого ужаса. Москва же развлекала ее; улицы, дома и церкви нравились ей очень, и если бы можно было ездить по Москве, в этих прекрасных санях, на дорогих лошадях, ездить целый день от утра до вечера, и при очень быстрой езде дышать прохладным осенним воздухом, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной.

Около белого, недавно оштукатуренного двухэтажного дома кучер сдержал лошадь и стал поворачивать вправо. Тут уже ждали. Около ворот стояли дворник, в новом кафтане, в высоких сапогах и калошах, и двое городовых; все пространство с середины улицы до ворот и потом по двору до крыльца было посыпано свежим песком. Дворник снял шапку, городовые сделали под козырек. Около крыльца встретил Федор с очень серьезным лицом.

— Очень рад познакомиться, сестреночка,— сказал он, целуя Юлии руку.— Добро пожаловать.

Он повел ее под руку вверх по лестнице, потом по коридору сквозь толпу каких-то мужчин и женщин. В передней тоже было тесно, пахло ладаном.

— Я представлю вас сейчас нашему батюшке,— прошептал Федор среди гробовой торжественной тишины.— Почтенный старичок, pater familias[1].

В большой зале около стола, приготовленного для молебна, стояли, очевидно, в ожидании, Федор Степаныч, священник в камилавке и дьякон. Старик подал Юлии руку и не сказал ни слова. Все молчали. Юлия сконфузилась.

Священник и дьякон начали облачаться. Принесли кадило, из которого сыпались искры и шел запах ладана и угля. Зажгли свечи. Приказчики вошли в залу на цыпочках и стали у стены в два ряда. Было тихо, даже никто не кашлянул.

— Благослови, владыко,— начал дьякон.

Молебен служили торжественно, ничего не пропуская, и читали два акафиста: Иисусу сладчайшему и пресвятой богородице. Певчие пели только нотное, очень долго. Лаптев заметил, как давеча сконфузи-

---

[1] отец семейства *(лат.)*

лась его жена; пока читались акафисты и певчие на разные лады выводили тройное «господи помилуй», он с душевным напряжением ожидал, что вот-вот старик оглянется и сделает какое-нибудь замечание, вроде «вы не умеете креститься»; и ему было досадно: к чему эта толпа, к чему вся эта церемония с попами и певчими. Это было слишком по-купечески. Но когда она вместе со стариком подставила голову под евангелие и потом несколько раз опускалась на колени, он понял, что ей все это нравится, и успокоился.

В конце молебна, во время многолетия, священник дал приложиться к кресту старику и Алексею, но когда подошла Юлия Сергеевна, он прикрыл крест рукой и сделал вид, что желает говорить. Замахали певчим, чтобы те замолчали.

— Пророк Самуил,— начал священник,— пришел в Вифлеем по повелению господню, и тут городские старейшины вопрошали его с трепетом: «Мир ли вход твой, о прозорливче?» И рече пророк: «Мир, пожрети бо господу приидох, осветитеся и возвеселитеся днесь со мною». Станем ли и мы, раба божия Юлия, вопрошать тебя о мире твоего пришествия в дом сей?..

Юлия раскраснелась от волнения. Кончив, священник дал ей приложиться ко кресту и сказал уже совсем другим тоном:

— Теперь Федора Федорыча надо женить. Пора.

Опять запели певчие, народ задвигался и стало шумно. Растроганный старик, с глазами полными слез, три раза поцеловал Юлию, перекрестил ей лицо и сказал:

— Это ваш дом. Мне, старику, ничего не нужно.

Приказчики поздравляли и говорили что-то, но певчие пели так громко, что ничего нельзя было расслышать. Потом завтракали и пили шампанское. Она сидела рядом со стариком, и он говорил ей о том, что нехорошо жить врозь, надо жить вместе, в одном доме, а разделы и несогласия ведут к разорению.

— Я наживал, а дети только проживают,— говорил он.— Теперь вы живите со мной в одном доме и наживайте. Мне, старику, пора и отдохнуть.

Перед глазами у Юлии все время мелькал Федор,

очень похожий на мужа, но более подвижной и более застенчивый; он суетился возле и часто целовал ей руку.

— Мы, сестреночка, люди простые,— говорил он, и при этом красные пятна выступали у него на лице.— Мы живем просто, по-русски, по-христиански, сестреночка.

Когда возвращались домой, Лаптев, очень довольный, что все обошлось благополучно и сверх ожидания не произошло ничего особенного, говорил жене:

— Ты удивляешься, что у крупного, широкоплечего отца такие малорослые, слабогрудые дети, как я и Федор. Да, но это так понятно! Отец женился на моей матери, когда ему было сорок пять лет, а ей только семнадцать. Она бледнела и дрожала в его присутствии. Нина родилась первая, родилась от сравнительно здоровой матери, и потому вышла крепче и лучше нас; я же и Федор были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постоянным страхом. Я помню, отец начал учить меня, или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрене и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре, и так до двадцати двух лет, пока я не познакомился в университете с Ярцевым, который убедил меня уйти из отцовского дома. Этот Ярцев сделал мне много добра. Знаешь что,— сказал Лаптев и засмеялся от удовольствия,— давай поедем сейчас с визитом к Ярцеву. Это благороднейший человек! Как он будет тронут!

VII

В одну из ноябрьских суббот в симфоническом дирижировал Антон Рубинштейн. Было очень тесно и жарко. Лаптев стоял за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидели далеко впереди, в третьем или четвертом ряду. В самом начале антракта мимо него совершенно неожиданно прошла «особа», Полина Николаевна Рассудина. После свадьбы он часто с тревогой помышлял о возможной встрече с ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, он вспомнил, что до сих пор еще не собрался объясниться с ней или написать по-дружески хотя две-три строчки, точно прятался от нее; ему стало стыдно, и он покраснел. Она крепко и порывисто пожала ему руку и спросила:

— Вы Ярцева видели?

И не дожидаясь ответа, пошла дальше стремительно, широко шагая, будто кто толкал ее сзади.

Она была очень худа и некрасива, с длинным носом, и лицо у нее всегда было утомленное, замученное, и казалось, что ей стоило больших усилий, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нее были прекрасные темные глаза и умное, доброе, искреннее выражение, но движения угловатые, резкие. Говорить с ней было не легко, так как она не умела слушать и говорить покойно. Любить же ее было тяжело. Бывало, оставаясь с Лаптевым, она долго хохотала, закрыв лицо руками, и уверяла, что любовь для нее не составляет главного в жизни, жеманилась, как семнадцатилетняя девушка, и, прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи. Ей было уже тридцать лет. Она была замужем за педагогом, но давно уже не жила с мужем. Средства к жизни добывала уроками музыки и участием в квартетах.

Во время Девятой симфонии она опять прошла мимо, как бы нечаянно, но толпа мужчин, стоявшая густою стеной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась. Лаптев увидел на ней ту же самую бархатную кофточку, в которой она ходила на концерты в прошлом и третьем году. Перчатки у нее были

новые, веер тоже новый, но дешевый. Она любила наряжаться, но не умела и жалела на это деньги, и одевалась дурно и неряшливо, так что на улице обыкновенно, когда она, торопливо и широко шагая, шла на урок, ее легко можно было принять за молодого послушника.

Публика аплодировала и кричала bis.

— Вы проведете сегодня вечер со мной,— сказала Полина Николаевна, подходя к Лаптеву и глядя на него сурово.— Мы отсюда поедем вместе чай пить. Слышите? Я этого требую. Вы мне многим обязаны и не имеете нравственного права отказать мне в этом пустяке.

— Хорошо, поедемте,— согласился Лаптев.

После симфонии начались нескончаемые вызовы. Публика вставала с мест и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптев не мог уехать, не сказавшись жене. Надо было стоять у двери и ждать.

— Мучительно хочу чаю,— пожаловалась Рассудина.— Душа горит.

— Здесь можно напиться,— сказал Лаптев.— Пойдемте в буфет.

— Ну, у меня нет денег, чтобы бросать буфетчику. Я не купчишка.

Он предложил ей руку, она отказалась, проговорив длинную, утомительную фразу, которую он слышал от нее уже много раз, именно, что она не причисляет себя к слабому прекрасному полу и не нуждается в услугах господ мужчин.

Разговаривая с ним, она оглядывала публику и часто здоровалась со знакомыми; это были ее товарки по курсам Герье и по консерватории, и ученики, и ученицы. Она пожимала им руки крепко и порывисто, будто дергала. Но вот она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и, наконец, проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом:

— На ком вы женились? Где у вас были глаза, сумасшедший вы человек? Что вы нашли в этой глупой, ничтожной девчонке? Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги!

— Оставим это, Полина,— сказал он умоляющим голосом.— Все, что вы можете сказать мне по поводу моей женитьбы, я сам уже говорил себе много раз... Не причиняйте мне лишней боли.

Показалась Юлия Сергеевна в черном платье и с большою брильянтовой брошью, которую прислал ей свекор после молебна; за нею шла ее свита: Кочевой, два знакомых доктора, офицер и полный молодой человек в студенческой форме, по фамилии Киш.

— Поезжай с Костей,— сказал Лаптев жене.— Я приеду после.

Юлия кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядом, дрожа всем телом и нервно пожимаясь, и этот взгляд ее был полон отвращения, ненависти и боли.

Лаптев боялся ехать к ней, предчувствуя неприятное объяснение, резкости и слезы, и предложил отправиться пить чай в какой-нибудь ресторан. Но она сказала:

— Нет, нет, поедемте ко мне. Не смейте говорить мне о ресторанах.

Она не любила бывать в ресторанах, потому что ресторанный воздух казался ей отравленным табаком и дыханием мужчин. Ко всем незнакомым мужчинам она относилась с странным предубеждением, считала их всех развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кроме того, ее раздражала до головной боли трактирная музыка.

Выйдя из Благородного собрания, наняли извозчика на Остоженку, в Савеловский переулок, где жила Рассудина. Лаптев всю дорогу думал о ней. В самом деле, он был ей многим обязан. Познакомился он с нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорию музыки. Она полюбила его сильно, совершенно бескорыстно и, сойдясь с ним, продолжала ходить на уроки и трудиться по-прежнему до изнеможения. Благодаря ей он стал понимать и любить музыку, к которой раньше был почти равнодушен.

— Полцарства за стакан чаю! — проговорила она глухим голосом, закрывая рот муфтой, чтобы не про-

студиться.— Я была на пяти уроках, чтоб их черт взял! Ученики такие тупицы, такие толкачи, я чуть не умерла от злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Как только скоплю триста рублей, брошу все и поеду в Крым. Лягу на берегу и буду глотать кислород. Как я люблю море, ах, как я люблю море!

— Никуда вы не поедете,— сказал Лаптев.— Во-первых, вы ничего не скопите, и, во-вторых, вы скупы. Простите, я опять повторю: неужели собрать эти триста рублей по грошам у праздных людей, которые учатся у вас музыке от нечего делать, менее унизительно, чем взять их взаймы у ваших друзей?

— У меня нет друзей! — сказала она раздраженно.— И прошу вас не говорить глупостей. У рабочего класса, к которому я принадлежу, есть одна привилегия: сознание своей неподкупности, право не одолжаться у купчишек и презирать. Нет-с, меня не купите! Я не Юлечка!

Лаптев не стал платить извозчику, зная, что это вызовет целый поток слов, много раз уже слышанных раньше. Заплатила она сама.

Она нанимала маленькую комнату с мебелью и со столом в квартире одинокой дамы. Ее большой беккеровский рояль стоял пока у Ярцева, на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. В ее комнате были кресла в чехлах, кровать с белым летним одеялом и хозяйские цветы, на стенах висели олеографии, и не было ничего, что напоминало бы о том, что здесь живет женщина и бывшая курсистка. Не было ни туалета, ни книг, ни даже письменного стола. Видно было, что она ложилась спать, как только приходила домой, и, вставая утром, тотчас же уходила из дому.

Кухарка принесла самовар. Полина Николаевна заварила чай и, все еще дрожа,— в комнате было холодно,— стала бранить певцов, которые пели в Девятой симфонии. У нее закрывались глаза от утомления. Она выпила один стакан, потом другой, потом третий.

— Итак, вы женаты,— сказала она.— Но не беспокойтесь, я киснуть не буду, я сумею вырвать вас из своего сердца. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, как все, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект, а тело, красота, молодость... Молодость! — проговорила она в нос, как будто передразнивая кого-то, и засмеялась.— Молодость! Вам нужна чистота, Reinheit! Reinheit! [1] — захохотала она, откидываясь на спинку кресла.— Reinheit!

Когда она кончила хохотать, глаза у нее были заплаканные.

— Вы счастливы по крайней мере? — спросила она.

— Нет.

— Она вас любит?

— Нет.

Лаптев, взволнованный, чувствуя себя несчастным, встал и начал ходить по комнате.

— Нет,— повторил он.— Я, Полина, если хотите знать, очень несчастлив. Что делать? Сделал глупость, теперь уже не поправишь. Надо философски относиться. Она вышла без любви, глупо, быть может, и по расчету, но не рассуждая, и теперь, очевидно, сознает свою ошибку и страдает. Я вижу. Ночью мы спим, но днем она боится остаться со мной наедине хотя бы пять минут и ищет развлечений, общества. Ей со мной стыдно и страшно.

— А деньги все-таки берет у вас?

— Глупо, Полина! — крикнул Лаптев.— Она берет у меня деньги потому, что для нее решительно все равно, есть они у нее или нет. Она честный, чистый человек. Вышла она за меня просто потому, что ей хотелось уйти от отца, вот и все.

— А вы уверены, что она вышла бы за вас, если бы вы не были богаты? — спросила Рассудина.

— Ни в чем я не уверен,— сказал с тоской Лаптев.— Ни в чем. Я ничего не понимаю. Ради бога, Полина, не будем говорить об этом.

— Вы ее любите?

— Безумно.

---

[1] чистота, невинность! *(нем.)*

Затем наступило молчание. Она пила четвертый стакан, а он ходил и думал о том, что жена теперь, вероятно, в Докторском клубе, ужинает.

— Но разве можно любить, не зная за что? — спросила Рассудина и пожала плечами. — Нет, в вас говорит животная страсть! Вы опьянены! Вы отравлены этим красивым телом, этой Reinheit! Уйдите от меня, вы грязны! Ступайте к ней!

Она махнула ему рукой, потом взяла его шапку и швырнула в него. Он молча надел шубу и вышел, но она побежала в сени и судорожно вцепилась ему в руку около плеча и зарыдала.

— Перестаньте, Полина! Полно! — говорил он и никак не мог разжать ее пальцев. — Успокойтесь, прошу вас!

Она закрыла глаза и побледнела, и длинный нос ее стал неприятного воскового цвета, как у мертвой, и Лаптев все еще не мог разжать ее пальцев. Она была в обмороке. Он осторожно поднял ее и положил на постель и просидел возле нее минут десять, пока она очнулась. Руки у нее были холодные, пульс слабый, с перебоями.

— Уходите домой, — сказала она, открывая глаза. — Уходите, а то я опять зареву. Надо взять себя в руки.

Выйдя от нее, он отправился не в Докторский клуб, где ожидала его компания, а домой. Всю дорогу он спрашивал себя с упреком: почему он устроил себе семью не с этой женщиной, которая его так любит и была уже на самом деле его женой и подругой? Это был единственный человек, который был к нему привязан, и разве, кроме того, не было бы благодарною, достойною задачей дать счастье, приют и покой этому умному, гордому и замученному трудом существу? К лицу ли ему, — спрашивал он себя, — эти претензии на красоту, молодость, на то самое счастье, которого не может быть и которое, точно в наказание или насмешку, вот уже три месяца держит его в мрачном, угнетенном состоянии? Медовый месяц давно прошел, а он, смешно сказать, еще не знает, что за человек его жена. Своим институтским подругам и

отцу она пишет длинные письма на пяти листах, и находит же, о чем писать, а с ним говорит только о погоде и о том, что пора обедать или ужинать. Когда она перед сном долго молится богу и потом целует свои крестики и образки, он, глядя на нее, думает с ненавистью: «Вот она молится, но о чем молится? О чем?» Он в мыслях оскорблял ее и себя, говоря, что, ложась с ней спать и принимая ее в свои объятия, он берет то, за что платит, но это выходило ужасно; будь это здоровая, смелая, грешная женщина, но ведь тут молодость, религиозность, кротость, невинные, чистые глаза... Когда она была его невестой, ее религиозность трогала его, теперь же эта условная определенность взглядов и убеждений представлялась ему заставой, из-за которой не видно было настоящей правды. В его семейной жизни уже все было мучительно. Когда жена, сидя с ним рядом в театре, вздыхала и искренно хохотала, ему было горько, что она наслаждается одна и не хочет поделиться с ним своим восторгом. И замечательно, она подружилась со всеми его приятелями, и все они уже знали, что она за человек, а он ничего не знал, а только хандрил и молча ревновал.

Придя домой, Лаптев надел халат и туфли и сел у себя в кабинете читать роман. Жены дома не было. Но прошло не больше получаса, как в передней позвонили и глухо раздались шаги Петра, побежавшего отворять. Это была Юлия. Она вошла в кабинет в шубке, с красными от мороза щеками.

— На Пресне большой пожар,— проговорила она, запыхавшись.— Громадное зарево. Я поеду туда с Константином Иванычем.

— С богом!

Вид здоровья, свежести и детского страха в глазах успокоил Лаптева. Он почитал еще с полчаса и пошел спать.

На другой день Полина Николаевна прислала ему в амбар две книги, которые когда-то брала у него, все его письма и его фотографии; при этом была записка, состоявшая только из одного слова: «Баста!»

VIII

Уже в конце октября у Нины Федоровны ясно определился рецидив. Она быстро худела и изменялась в лице. Несмотря на сильные боли, она воображала, что уже выздоравливает, и каждое утро одевалась, как здоровая, и потом целый день лежала в постели одетая. И под конец она стала очень разговорчива. Лежит на спине и рассказывает что-нибудь тихо, через силу, тяжело дыша. Умерла она внезапно и при следующих обстоятельствах.

Был лунный, ясный вечер, на улице катались по свежему снегу, и в комнату с улицы доносился шум. Нина Федоровна лежала в постели на спине, а Саша, которую уже некому было сменить, сидела возле и дремала.

— Отчества его не помню,— рассказывала Нина Федоровна тихо,— а звали его Иван, по фамилии Кочевой, бедный чиновник. Пьяница был горький, царство небесное. Ходил он к нам, и каждый месяц мы выдавали ему по фунту сахару и по осьмушке чаю. Ну, случалось и деньгами, конечно. Да... Затем такое происшествие: запил шибко наш Кочевой и помер, от водки сгорел. Остался после него сынишка, мальчоночек лет семи. Сироточка... Взяли мы его и спрятали у приказчиков, и жил он так цельный год, и папаша не знал. А как увидел папаша, только рукой махнул и ничего не сказал. Когда Косте, сиротке-то, пошел девятый годок,— а я в ту пору уже невестой была,— повезла я его по всем гимназиям. Туда-сюда, нигде не принимают. А он плачет... «Что же ты, говорю, дурачок, плачешь?» Повезла я его на Разгуляй во Вторую гимназию и там, дай бог здоровья, приняли... И стал мальчишечка ходить каждый день пешком с Пятницкой на Разгуляй, да с Разгуляя на Пятницкую... Алеша за него платил... Милости господни, стал мальчик хорошо учиться, вникать, и вышел из него толк... Адвокатом теперь в Москве, Алешин друг, такой же высокой науки. Вот не пренебрегли человеком, приняли его в дом, и теперь он за нас небось бога молит... Да...

Нина Федоровна стала говорить все тише, с долгими паузами, потом, помолчав немного, вдруг поднялась и села.

— А мне не того... нехорошо как будто,— сказала она.— Господи помилуй. Ой, дышать не могу!

Саша знала, что мать должна скоро умереть; увидев теперь, как вдруг осунулось ее лицо, она угадала, что это конец, и испугалась.

— Мамочка, это не надо! — зарыдала она.— Это не надо!

— Сбегай в кухню, пусть за отцом сходят. Мне очень даже нехорошо.

Саша бегала по всем комнатам и звала, но во всем доме не было никого из прислуги, и только в столовой на сундуке спала Лида в одежде и без подушки. Саша, как была, без калош выбежала на двор, потом на улицу. За воротами на лавочке сидела няня и смотрела на катанье. С реки, где был каток, доносились звуки военной музыки.

— Няня, мама умирает! — сказала Саша, рыдая.— Надо сходить за папой!..

Няня пошла наверх в спальню и, взглянув на больную, сунула ей в руки зажженную восковую свечу. Саша в ужасе суетилась и умоляла, сама не зная кого, сходить за папой, потом надела пальто и платок и выбежала на улицу. От прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и две девочки, с которыми он живет на Базарной. Она побежала влево от ворот, плача и боясь чужих людей, и скоро стала грузнуть в снегу и зябнуть.

Встретился ей извозчик порожнем, но она не наняла его: пожалуй, завезет ее за город, ограбит и бросит на кладбище (за чаем рассказывала прислуга: был такой случай). Она все шла и шла, задыхаясь от утомления и рыдая. Выйдя на Базарную, она спросила, где здесь живет господин Панауров. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей и, видя, что она ничего не понимает, привела ее за руку к одноэтажному дому с подъездом. Дверь была не заперта. Саша пробежала через сени, потом коридор и, наконец, очутилась в светлой, теплой комнате, где за

самоваром сидел отец и с ним дама и две девочки. Но уж она не могла выговорить ни одного слова и только рыдала. Панауров понял.

— Вероятно, маме нехорошо? — спросил он.— Скажи, девочка: маме нехорошо?

Он встревожился и послал за извозчиком.

Когда приехали домой, Нина Федоровна сидела обложенная подушками, со свечой в руке. Лицо потемнело, и глаза были уже закрыты. В спальне стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужик Прокофий и еще какие-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шепотом, и ее не понимали. В глубине комнаты у окна стояла Лида, бледная, заспанная, и сурово глядела оттуда на мать.

Панауров взял у Нины Федоровны из рук свечу и, брезгливо морщась, швырнул на комод.

— Это ужасно! — проговорил он, и плечи у него вздрогнули.— Нина, тебе лечь нужно,— сказал он ласково.— Ложись, милая.

Она взглянула и не узнала его... Ее положили на спину.

Когда пришли священник и доктор Сергей Борисыч, прислуга уже набожно крестилась и поминала ее.

— Вот она какова история! — сказал доктор в раздумье, выходя в гостиную.— А ведь еще молода, ей и сорока не было.

Слышались громкие рыдания девочек. Панауров, бледный, с влажными глазами, подошел к доктору и сказал слабым, томным голосом:

— Дорогой мой, окажите услугу, пошлите в Москву телеграмму. Я решительно не в силах.

Доктор добыл чернил и написал дочери такую телеграмму: «Панаурова скончалась восемь вечера. Скажи мужу: на Дворянской продается дом переводом долга, доплатить девять. Торги двенадцатого. Советую не упустить».

IX

Лаптев жил в одном из переулков Малой Дмитровки, недалеко от Старого Пимена. Кроме большого дома на улицу, он нанимал также еще двухэтаж-

ный флигель во дворе для своего друга Кочевого, помощника присяжного поверенного, которого все Лаптевы звали просто Костей, так как он вырос на их глазах. Против этого флигеля стоял другой, тоже двухэтажный, в котором жило какое-то французское семейство, состоявшее из мужа, жены и пяти дочерей.

Был мороз градусов в двадцать. Окна заиндевели. Проснувшись утром, Костя с озабоченным лицом принял пятнадцать капель какого-то лекарства, потом, доставши из книжного шкафа две гири, занялся гимнастикой. Он был высок, очень худ, с большими рыжеватыми усами; но самое заметное в его наружности — это были его необыкновенно длинные ноги.

Петр, мужик средних лет, в пиджаке и в ситцевых брюках, засунутых в высокие сапоги, принес самовар и заварил чай.

— Очень нынче хорошая погода, Константин Иваныч,— сказал он.

— Да, хорошая, только вот, брат, жаль, живется нам с тобой не ахти как.

Петр вздохнул из вежливости.

— Что девочки? — спросил Кочевой.

— Батюшка не пришли, Алексей Федорыч сами с ними занимаются.

Костя нашел на окне необледенелое местечко и стал смотреть в бинокль, направляя его на окна, где жило французское семейство.

— Не видать,— сказал он.

В это время внизу Алексей Федорыч занимался по закону божию с Сашей и Лидой. Вот уже полтора месяца, как они жили в Москве, в нижнем этаже флигеля, вместе со своею гувернанткой, и к ним приходили три раза в неделю учитель городского училища и священник. Саша проходила Новый завет, а Лида недавно начала Ветхий. В последний раз Лиде было задано повторить до Авраама.

— Итак, у Адама и Евы было два сына,— сказал Лаптев.— Прекрасно. Но как их звали? Припомни-ка!

Лида, по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами; а старшая Саша смотрела ей в лицо и мучилась.

— Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться,— сказал Лаптев.— Ну, как же звать сыновей Адама?

— Авель и Кавель,— прошептала Лида.

— Каин и Авель,— поправил Лаптев.

По щеке у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснела, готовая заплакать. Лаптев от жалости не мог уже говорить, слезы подступили у него к горлу; он встал из-за стола и закурил папироску. В это время сошел сверху Кочевой с газетой в руках. Девочки поднялись и, не глядя на него, сделали реверанс.

— Бога ради, Костя, займитесь вы с ними,— обратился к нему Лаптев.— Я боюсь, что сам заплачу, и мне нужно до обеда в амбар съездить.

— Ладно.

Алексей Федорыч ушел. Костя с очень серьезным лицом, нахмурясь, сел за стол и потянул к себе священную историю.

— Ну-с? — спросил он.— О чем вы тут?

— Она знает о потопе,— сказала Саша.

— О потопе? Ладно, будем жарить о потопе. Валяй о потопе.— Костя пробежал в книжке краткое описание потопа и сказал: — Должен я вам заметить, такого потопа, как здесь описано, на самом деле не было. И никакого Ноя не было. За несколько тысяч лет до рождества Христова было на земле необыкновенное наводнение, и об этом упоминается не в одной еврейской библии, но также в книгах других древних народов, как-то: греков, халдеев, индусов. Но какое бы ни было наводнение, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то небось остались. Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно верьте.

У Лиды опять потекли слезы, она отвернулась и вдруг зарыдала так громко, что Костя вздрогнул и поднялся с места в сильном смущении.

— Я хочу домой,— проговорила она.— К папе и к няне.

Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе наверх и сказал в телефон Юлии Сергеевне:

— Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности.

Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек.

— Верьте мне, верьте,— говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую,— ваш папа приедет сегодня, он прислал телеграмму. Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ведь не пойдешь против бога!

Когда они перестали плакать, она окутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитровке, потом мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком.

Обедали Лаптевы в третьем часу. Кушанья подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтамт, то в амбар, то в окружной суд для Кости, прислуживал; по вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать зельтерскую воду, и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли.

— Дай бог! — сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки.

В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне; его бас, его словечки вроде: «выставил, заехал в харю, мразь, изобрази самоварчик», его привычка чокаться и причитывать за рюмкой казались ей тривиальными. Но, узнавши его покороче, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вечерам поговорить с нею вполголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли тайну даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичьи усадьбы, хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче, а в помещичьей

усадьбе был раз в жизни, когда ездил в Волоколамск по судебному делу. Любовного элемента он избегал, будто стыдился, природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как прихотливые очертания гор, причудливые формы облаков или аккорд таинственных созвучий... Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями.

Адвокатская деятельность нравилась ему, но все же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте и совершенно был лишен музыкального слуха, но посещал все симфонические и филармонические собрания, устраивал концерты с благотворительною целью, знакомился с певцами...

Во время обеда разговаривали.

— Удивительное дело,— сказал Лаптев,— опять меня поставил в тупик мой Федор! Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.

Говорили о Федоре, о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем, как начальник.

После обеда нечего было делать, пошли в кабинет. Говорили о декадентах, об «Орлеанской деве», и Костя прочел целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть в винт. Девочки не уходили к себе во флигель, а, бледные, печальные, сидели, обе в одном кресле, и прислушивались к шуму на улице: не отец ли едет? По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывали тоску. Разговор за винтом, шаги Петра, треск в камине раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь; по вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно

говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама.

— Что вы сегодня видели в бинокль? — спросила Юлия Сергеевна у Кости.

— Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал.

В семь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками.

— А пора бы уже вашему папе приехать,— говорил он, посматривая на часы.— Должно быть, поезд опоздал.

Девочки сидели в кресле молча, прижавшись друг к другу, как зверьки, которым холодно, а он все ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо. Но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел отворять.

Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панауров был в роскошной дохе, и борода и усы у него побелели от мороза.

— Сейчас, сейчас,— бормотал он, а Саша и Лида, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он, не спеша, приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки:

— А я к вам ненадолго, друзья мои. Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город.

Остановился он в «Дрездене».

X

У Лаптевых часто бывал Ярцев, Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом; его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что он стриг волосы низко, почти до́гола. В университете когда-то благодаря его хорошему росту и силе студенты называли его вышибалой.

Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естествен-

ный и теперь был магистром химии. На кафедру он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц, он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение. Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русскою историей и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой Я. Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то походил на естественника.

Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым). Чистенький, немножко плешивый, с золотистыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить. Он все хлопотал по чужим делам: то носился с подписным листом, то с раннего утра мерз около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет. Про него только и говорили: Киш сходит, Киш сделает, Киш купит. Поручения исполнял он большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но он всегда молчал и в затруднительных случаях только вздыхал. Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно, и остроты его всякий раз вызывали смех потому только, что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру: «Петр, ты не осетр», и это вызвало общий смех, и сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками,

Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю. Если хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:

— Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу,— говорил Костя, сердито глядя на Ярцева.— Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где ах да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил,— такие произведения, говорю я, ничтожны, и черт их побери.

— Я с вами согласна, Константин Иваныч,— сказала Юлия Сергеевна.— Один описывает любовное свидание, другой — измену, третий — встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно быть, противно все это читать.

Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и двадцати двух лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так.

— Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными,— сказал Ярцев,— то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульетте» вместо любви шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?

— Дядя, это крайности! — перебил Костя.— Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспир или Гёте, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей.

Киш, картавя и немножко в нос, стал рассказывать содержание повести, которую он недавно прочел. Рас-

сказывал он обстоятельно, не спеша; прошло три минуты, потом пять, десять, а он все продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает, и лицо его становилось все более равнодушным, и глаза потускнели.

— Киш, рассказывайте поскорее,— не выдержала Юлия Сергеевна,— а то ведь это мучительно!

— Перестаньте, Киш! — крикнул на него Костя.

Засмеялись все, и сам Киш.

Пришел Федор. С красными пятнами на лице, торопясь, он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многолюдных собраний и предпочитал общество одного человека.

— Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам,— сказал он, садясь в глубокое кресло, подальше от лампы.— Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, с неделю.

— Да. Нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться.

— Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, как говорится. Бог труды любит.

Петр принес на подносе стакан чаю. Федор выпил без сахару и еще попросил. Он пил много чаю и в один вечер мог выпить стаканов десять.

— Знаешь что, брат? — сказал он, вставая и подходя к брату.— Не мудрствуя лукаво, баллотируйся-ка ты в гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведем тебя в члены управы, а потом в товарищи головы. Дальше — больше, человек ты умный, образованный, тебя заметят и пригласят в Петербург,— земские и городские деятели теперь там в моде, брат, и, гляди, пятидесяти лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и лента через плечо.

Лаптев ничего не ответил; он понял, что всего этого — и тайного советника и ленты — хочется самому Федору, и он не знал, что ответить.

Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вни-

манием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеву странным.

Позвали ужинать. Лаптев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию:

— Вследствие разности климатов, энергий, вкусов, возрастов равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями. Достиг же один ученый того, что у него кошка, мышь, кобчик и воробей ели из одной тарелки, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и, очевидно, настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняли девок на собак.

— Это будет не скоро, очень не скоро,— сказал Костя и усмехнулся,— очень не скоро, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду. Ну, нет-с, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то, вы думаете, она проникнута сознанием? Как бы не так. Ее заставили силой.

— Я и Федор богаты, наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться! — проговорил Лаптев и потер ладонью лоб.— Бороться со мной — как это не укладывается в моем сознании! Я богат, но что мне дали до сих пор деньги, что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розог. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил сто миллионов.

— Зато вы можете много добра сделать,— сказал Киш.

— Какое там добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищет должности. Верьте, я могу сделать для него так же мало, как и

вы. Я могу дать денег, но ведь это не то, что он хочет. Как-то у одного известного музыканта я просил места для бедняка скрипача, а он ответил так: «Вы обратились именно ко мне потому, что вы не музыкант». Так и я вам отвечу: вы обращаетесь ко мне за помощью так уверенно потому, что сами ни разу еще не были в положении богатого человека.

— Для чего тут сравнение с известным музыкантом, не понимаю! — проговорила Юлия Сергеевна и покраснела.— При чем тут известный музыкант!

Лицо ее задрожало от ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. И выражение ее лица понял не один только муж, но и все сидевшие за столом.

— При чем тут известный музыкант! — повторила она тихо.— Нет ничего легче, как помочь бедному человеку.

Наступило молчание. Петр подал рябчиков, но никто не стал есть их, и все ели один салат. Лаптев уже не помнил, что он сказал, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а уж одно то, что он вмешался в разговор.

После ужина он пошел к себе в кабинет; напряженно, с биением сердца, ожидая еще новых унижений, он прислушивался к тому, что происходило в зале. Там опять начался спор; потом Ярцев сел за рояль и спел чувствительный романс. Это был мастер на все руки: он и пел, и играл, и даже умел показывать фокусы.

— Как вам угодно, господа, а я не желаю сидеть дома, — сказала Юлия.— Надо поехать куда-нибудь.

Решили ехать за город и послали Кишу к Купеческому клубу за тройкой. Лаптева не приглашали с собой, потому что обыкновенно он не ездил за город и потому что у него сидел теперь брат, но он понял это так, что его общество скучно для них, что он в этой веселой, молодой компании совсем лишний. И его досада, его горькое чувство были так сильны, что он едва не плакал; он даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно, что им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой мешок, и ему казалось, что он был бы еще больше рад, если бы его жена из-

менила ему в эту ночь с лучшим другом и потом созналась бы в этом, глядя на него с ненавистью... Он ревновал ее к знакомым студентам, к актерам, певцам, к Ярцеву, даже к встречным, и теперь ему страстно хотелось, чтобы она в самом деле была неверна ему, хотелось застать ее с кем-нибудь, потом отравиться, отделаться раз навсегда от этого кошмара. Федор пил чай и громко глотал. Но вот и он собрался уходить.

— А у нашего старичка, должно быть, темная вода,— сказал он, надевая шубу.— Совсем стал плохо видеть.

Лаптев тоже надел шубу и вышел. Проводив брата до Страстного, он взял извозчика и поехал к Яру.

«И это называется семейным счастьем! — смеялся он над собой.— Это любовь!»

У него стучали зубы, и он не знал, ревность это или что другое. У Яра он прошелся около столов, послушал в зале куплетиста; на случай встречи со своими у него не было ни одной готовой фразы, и он заранее был уверен, что при встрече с женой он только улыбнется жалко и неумно, и все поймут, какое чувство заставило его приехать сюда. От электрического света, громкой музыки, запаха пудры и оттого, что встречные дамы смотрели на него, его мутило. Он останавливался у дверей, старался подсмотреть и подслушать, что делается в отдельных кабинетах, и ему казалось, что он играет заодно с куплетистом и этими дамами какую-то низкую, презренную роль. Затем он поехал в Стрельну, но и там не встретил никого из своих, и только, когда, возвращаясь назад, опять подъезжал к Яру, его с шумом обогнала тройка; пьяный ямщик кричал, и слышно было, как хохотал Ярцев: «Га-га-га!»

Вернулся Лаптев домой в четвертом часу. Юлия Сергеевна была уже в постели. Заметив, что она не спит, он подошел к ней и сказал резко:

— Я понимаю ваше отвращение, вашу ненависть, но вы могли бы пощадить меня при посторонних, могли бы скрыть свое чувство.

Она села на постели, спустив ноги. При свете лампадки глаза у нее казались большими, черными.

— Я прошу извинения,— проговорила она.

От волнения и дрожи во всем теле он уже не мог выговорить ни одного слова, а стоял перед ней и молчал. Она тоже дрожала и сидела с видом преступницы, ожидая объяснения.

— Как я страдаю! — сказал он, наконец, и взял себя за голову.— Я как в аду, я с ума сошел!

— А мне разве легко? — спросила она дрогнувшим голосом.— Один бог знает, каково мне.

— Ты моя жена уже полгода, но в твоей душе ни даже искры любви, нет никакой надежды, никакого просвета! Зачем ты вышла за меня? — продолжал Лаптев с отчаянием.— Зачем? Какой демон толкал тебя в мои объятия? На что ты надеялась? Чего ты хотела?

А она смотрела на него с ужасом, точно боясь, что он убьет ее.

— Я тебе нравился? Ты любила меня? — продолжал он задыхаясь.— Нет! Так что же? Что? Говори: что? — крикнул он.— О проклятые деньги! Проклятые деньги!

— Клянусь богом, нет! — вскрикнула она и перекрестилась; она вся сжалась от оскорбления, и он в первый раз услышал, как она плачет.— Клянусь богом, нет! — повторила она.— Я не думала о деньгах, они мне не нужны, мне просто казалось, что если я откажу тебе, то поступлю дурно. Я боялась испортить жизнь тебе и себе. И теперь страдаю за свою ошибку, невыносимо страдаю!

Она горько зарыдала, и он понял, как ей больно, и, не зная, что сказать, он опустился перед ней на ковер.

— Довольно, довольно,— бормотал он.— Оскорбил я тебя, потому что люблю безумно,— он вдруг поцеловал ее в ногу и страстно обнял.— Хоть искру любви!— бормотал он.— Ну, солги мне! Солги! Не говори, что это ошибка!..

Но она продолжала плакать, и он чувствовал, что его ласки она переносит только как неизбежное последствие своей ошибки. И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица. Ему стало жаль ее.

Она легла и укрылась с головой, он разделся и тоже лег. Утром оба они чувствовали смущение и не

знали, о чем говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал.

Перед обедом приезжал прощаться Панауров. Юлии неудержимо захотелось домой, на родину; хорошо бы уехать, думала она, и отдохнуть от семейной жизни, от этого смущения и постоянного сознания, что она поступила дурно. Решено было за обедом, что она уедет с Панауровым и погостит у отца недели две-три, пока не соскучится.

XI

Она и Панауров ехали в отдельном купе; на голове у него был картуз из барашкового меха, какой-то странной формы.

— Да, не удовлетворил меня Петербург,— говорил он с расстановкою, вздыхая.— Обещают много, но ничего определенного. Да, дорогая моя. Был я мировым судьей, непременным членом, председателем мирового съезда, наконец, советником губернского правления; кажется, послужил отечеству и имею право на внимание, но вот вам: никак не могу добиться, чтобы меня перевели в другой город...

Панауров закрыл глаза и покачал головой.

— Меня не признают,— продолжал он, как бы засыпая.— Конечно, я не гениальный администратор, но зато я порядочный, честный человек, а по нынешним временам и это редкость. Каюсь, иногда женщин я обманывал слегка, но по отношению к русскому правительству я всегда был джентльменом. Но довольно об этом,— сказал он, открывая глаза,— будем говорить о вас. Что это вам вздумалось вдруг ехать к папаше?

— Так, с мужем немножко не поладила,— сказала Юлия, глядя на его картуз.

— Да, какой-то он у вас странный. Все Лаптевы странные. Муж ваш еще ничего, туда-сюда, но брат его Федор совсем дурак.

Панауров вздохнул и спросил серьезно:

— А любовник у вас уже есть?

Юлия посмотрела на него с удивлением и усмехнулась.

— Бог знает, что вы говорите.

На большой станции, часу в одиннадцатом, оба вышли и поужинали. Когда поезд пошел дальше, Панауров снял пальто и свой картузик и сел рядом с Юлией.

— А вы очень милы, надо вам сказать,— начал он.— Извините за трактирное сравнение, вы напоминаете мне свежепросоленный огурчик; он, так сказать, еще пахнет парником, но уже содержит в себе немножко соли и запах укропа. Из вас мало-помалу формируется великолепная женщина, чудесная, изящная женщина. Если б эта наша поездка происходила лет пять назад,— вздохнул он,— то я почел бы приятным долгом поступить в ряды ваших поклонников, но теперь, увы, я инвалид.

Он грустно и в то же время милостиво улыбнулся и обнял ее за талию.

— Вы с ума сошли! — сказала она, покраснела и испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги.— Оставьте, Григорий Николаич!

— Что же вы боитесь, милая? — спросил он мягко.— Что тут ужасного? Вы просто не привыкли.

Если женщина протестовала, то для него это только значило, что он произвел впечатление и нравится. Держа Юлию за талию, он крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы, в полной уверенности, что доставляет ей большое удовольствие. Юлия оправилась от страха и смущения и стала смеяться. Он поцеловал ее еще раз и сказал, надевая свой смешной картуз:

— Вот и все, что может дать вам инвалид. Один турецкий паша, добрый старичок, получил от кого-то в подарок или, кажется, в наследство целый гарем. Когда его молодые, красивые жены выстроились перед ним в шеренгу, он обошел их, поцеловал каждую и сказал: «Вот и все, что я теперь в состоянии дать вам». То же самое говорю и я.

Все это казалось ей глупым, необыкновенным и веселило ее. Хотелось шалить. Ставши на диван и напевая, она достала с полки коробку с конфетами и крикнула, бросив кусочек шоколада:

— Ловите!

Он поймал; она бросила ему другую конфетку с громким смехом, потом третью, а он все ловил и клал себе в рот, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что в его лице, в чертах и в выражении много женского и детского. И когда она, запыхавшись, села на диван и продолжала смотреть на него со смехом, он двумя пальцами дотронулся до ее щеки и проговорил как бы с досадой:

— Подлая девчонка!

— Возьмите,— сказала она, подавая ему коробку.— Я не люблю сладкого.

Он съел конфеты, все до одной, и пустую коробку запер к себе в чемодан; он любил коробки с картинками.

— Однако довольно шалить,— сказал он.— Инвалиду пора бай-бай.

Он достал из портпледа свой бухарский халат и подушку, лег и укрылся халатом.

— Спокойной ночи, голубка! — тихо проговорил он и вздохнул так, как будто у него болело все тело.

И скоро послышался храп. Не чувствуя никакого стеснения, она тоже легла и скоро уснула.

Когда на другой день утром она в своем родном городе ехала с вокзала домой, то улицы казались ей пустынными, безлюдными, снег серым, а дома маленькими, точно кто приплюснул их. Встретилась ей процессия: несли покойника в открытом гробе, с хоругвями.

«Покойника встретить, говорят, к счастью»,— подумала она.

На окнах того дома, в котором жила когда-то Нина Федоровна, теперь были приклеены белые билетики.

С замиранием сердца она въехала в свой двор и позвонила у двери. Ей отворила незнакомая горничная, полная, заспанная, в теплой ватной кофте. Идя по лестнице, Юлия вспомнила, как здесь объяснялся ей в любви Лаптев, но теперь лестница была немытая, вся в следах. Наверху, в холодном коридоре, ожидали больные в шубах. И почему-то сердце у нее сильно билось, и она едва шла от волнения.

Доктор, еще больше пополневший, красный, как кирпич, и с взъерошенными волосами, пил чай. Увидев дочь, он очень обрадовался и даже прослезился; она подумала, что в жизни этого старика она — единственная радость, и, растроганная, крепко обняла его и сказала, что будет жить у него долго, до пасхи. Переодевшись у себя в комнате, она пришла в столовую, чтобы вместе пить чай, он ходил из угла в угол, засунув руки в карманы, и пел: «ру-ру-ру»,— значит, был чем-то недоволен.

— Тебе в Москве живется очень весело,— сказал он.— Я за тебя очень рад... Мне же, старику, ничего не нужно. Я скоро издохну и освобожу вас всех. И надо удивляться, что у меня такая крепкая шкура, что я еще жив! Изумительно!

Он сказал, что он старый, двужильный осел, на котором ездят все. На него взвалили лечение Нины Федоровны, заботы об ее детях, ее похороны; а этот хлыщ Панауров ничего знать не хотел и даже взял у него сто рублей взаймы и до сих пор не отдает.

— Возьми меня в Москву и посади там в сумасшедший дом! — сказал доктор.— Я сумасшедший, я наивный ребенок, так как все еще верю в правду и справедливость!

Затем он упрекал ее мужа в недальновидности: не покупает домов, которые продаются так выгодно. И теперь уж Юлии казалось, что в жизни этого старика она — не единственная радость. Когда он принимал больных и потом уехал на практику, она ходила по всем комнатам, не зная, что делать и о чем думать. Она уже отвыкла от родного города и родного дома; ее не тянуло теперь ни на улицу, ни к знакомым, и при воспоминании о прежних подругах и о девичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлого.

Вечером она оделась понаряднее и пошла ко всенощной. Но в церкви были только простые люди, и ее великолепная шуба и шляпка не произвели никакого впечатления. И казалось ей, будто произошла какая-то перемена и в церкви и в ней самой. Прежде она любила, когда во всенощной читали канон и певчие пели ирмосы, например «Отверзу уста моя», любила

медленно подвигаться в толпе к священнику, стоящему среди церкви, и потом ощущать на своем лбу святой елей, теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя из церкви, она уже боялась, чтобы у нее не попросили нищие; было бы скучно останавливаться и искать карманы, да и в карманах у нее уже не было медных денег, а были только рубли.

Легла она в постель рано, а уснула поздно. Снились ей все какие-то портреты и похоронная процессия, которую она видела утром; открытый гроб с мертвецом внесли во двор и остановились у двери, потом долго раскачивали гроб на полотенцах и со всего размаха ударили им в дверь. Юлия проснулась и вскочила в ужасе. В самом деле, внизу стучали в дверь, и проволока от звонка шуршала по стене, но звонка не было слышно.

Закашлял доктор. Вот, слышно, горничная сошла вниз, потом вернулась.

— Барыня! — сказала она и постучала в дверь.— Барыня!

— Что такое? — спросила Юлия.

— Вам телеграмма!

Юлия со свечой вышла к ней. Позади горничной стоял доктор, в нижнем белье и пальто, и тоже со свечой.

— Звонок у нас испортился,— говорил он, зевая спросонок.— Давно бы починить надо.

Юлия распечатала телеграмму и прочла: «Пьем ваше здоровье. Ярцев, Кочевой».

— Ах, какие дураки! — сказала она и захохотала; на душе у нее стало легко и весело.

Вернувшись к себе в комнату, она тихо умылась, оделась, потом долго укладывала свои вещи, пока не рассвело, а в полдень уехала в Москву.

XII

На святой неделе Лаптевы были в Училище живописи на картинной выставке. Отправились они туда всем домом, по-московски, взявши с собой обеих девочек, гувернантку и Костю.

Лаптев знал фамилии всех известных художников и не пропускал ни одной выставки. Иногда летом на даче он сам писал красками пейзажи, и ему казалось, что у него много вкуса и что если б он учился, то из него, пожалуй, вышел бы хороший художник. За границей он заходил иногда к антиквариям и с видом знатока осматривал древности и высказывал свое мнение, покупал какую-нибудь вещь, антикварий брал с него сколько хотел, и купленная вещь лежала потом, забитая в ящик, в каретном сарае, пока не исчезала неизвестно куда. Или, зайдя в эстампный магазин, он долго и внимательно осматривал картины, бронзу, делал разные замечания и вдруг покупал какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги. Дома у него были картины всё больших размеров, но плохие; хорошие же были дурно повешены. Случалось ему не раз платить дорого за вещи, которые потом оказывались грубою подделкой. И замечательно, что робкий вообще в жизни, он был чрезвычайно смел и самоуверен на картинных выставках. Отчего?

Юлия Сергеевна смотрела на картины, как муж, в кулак или бинокль и удивлялась, что люди на картинах, как живые, а деревья, как настоящие; но она не понимала, ей казалось, что на выставке много картин одинаковых и что вся цель искусства именно в том, чтобы на картинах, когда смотришь на них в кулак, люди и предметы выделялись как настоящие.

— Это лес Шишкина,— объяснял ей муж.— Всегда он пишет одно и то же... А вот обрати внимание: такого лилового снега никогда не бывает... А у этого мальчика левая рука короче правой.

Когда все утомились и Лаптев пошел отыскивать Костю, чтобы ехать домой, Юлия остановилась перед небольшим пейзажем и смотрела на него равнодушно. На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около него костер: должно быть, ночное стерегут. А вдали догорает вечерняя заря.

Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, потом тропинкой, все дальше и дальше, а кругом тихо, кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле она видела уже давно и много раз, она почувствовала себя одинокой, и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного.

— Как это хорошо написано! — проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна.— Посмотри, Алеша! Замечаешь, как тут тихо?

Она старалась объяснить, почему так нравится ей этот пейзаж, но ни муж, ни Костя не понимали ее. Она все смотрела на пейзаж с грустною улыбкой, и то, что другие не находили в нем ничего особенного, волновало ее; потом она начала снова ходить по залам и осматривать картины, хотела понять их, и уже ей не казалось, что на выставке много одинаковых картин. Когда она, вернувшись домой, в первый раз за все время обратила внимание на большую картину, висевшую в зале над роялем, то почувствовала к ней вражду и сказала:

— Охота же иметь такие картины!

И после того золотые карнизы, венецианские зеркала с цветами и картины вроде той, что висела над роялем, а также рассуждения мужа и Кости об искусстве уже возбуждали в ней чувство скуки и досады и порой даже ненависти.

Жизнь текла обыкновенно, изо дня в день, не обещая ничего особенного. Театральный сезон уже кончился, наступало теплое время. Погода все время стояла превосходная. Как-то утром Лаптевы собрались в окружной суд послушать Костю, который защищал кого-то по назначению суда. Они замешкались дома и приехали в суд, когда уже начался допрос свидетелей. Обвинялся запасный рядовой в краже со взломом. Было много свидетельниц-прачек; они показывали, что подсудимый часто бывал у хозяйки, содержательницы прачечной; под воздвиженье он пришел поздно вечером и стал просить денег, чтобы опо-

хмелиться, но никто ему не дал; тогда он ушел, но через час вернулся и принес с собой пива и мятных пряников для девушек. Пили и пели песни почти до рассвета, а когда утром хватились, то замок у входа на чердак был сломан и из белья пропало: три мужских сорочки, юбка и две простыни. Костя у каждой свидетельницы спрашивал насмешливо: не пила ли она под воздвиженье того пива, которое принес подсудимый? Очевидно, он гнул к тому, что прачки сами себя обокрали. Говорил он свою речь без малейшего волнения, сердито глядя на присяжных.

Он объяснял, что такое кража со взломом и простая кража. Говорил очень подробно, убедительно, обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезным тоном о том, что давно уже всем известно. И трудно было понять, чего, собственно, он хочет? Из его длинной речи присяжный заседатель мог сделать только такой вывод: «Взлом был, но кражи не было, так как белье пропили сами прачки, а если кража была, то без взлома». Но, очевидно, он говорил именно то, что нужно, так как речь его растрогала присяжных и публику и очень понравилась. Когда вынесли оправдательный приговор, Юлия закивала головой Косте и потом крепко пожала ему руку.

В мае Лаптевы переехали на дачу в Сокольники. В это время Юлия была уже беременна.

XIII

Прошло больше года. В Сокольниках, недалеко от полотна Ярославской дороги, сидели на траве Юлия и Ярцев; немного в стороне лежал Кочевой, подложив руки под голову, и смотрел на небо. Все трое уже нагулялись и ждали, когда пройдет дачный шестичасовой поезд, чтоб идти домой пить чай.

— Матери видят в своих детях что-то необыкновенное,— так уж природа устроила,— говорила Юлия.— Целые часы мать стоит у постельки, смотрит, какие у ребенка ушки, глазки, носик, восхищается. Если кто посторонний целует ее ребенка, то ей, бед-

ной, кажется, что это доставляет ему большое удовольствие. И ни о чем мать не говорит, только о ребенке. Я знаю эту слабость матерей и слежу за собой, но, право, моя Оля необыкновенная. Как она смотрит, когда сосет! Как смеется! Ей только восемь месяцев, но, ей-богу, таких умных глаз я не видала даже у трехлетних.

— Скажите, между прочим,— спросил Ярцев,— кого вы любите больше: мужа или ребенка?

Юлия пожала плечами.

— Не знаю,— сказала она.— Я никогда сильно не любила мужа, и Оля,— это, в сущности, моя первая любовь. Вы знаете, я ведь не по любви шла за Алексея. Прежде я была глупа, страдала, все думала, что погубила и его и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, все вздор.

— Но если не любовь, то какое же чувство привязывает вас к мужу? Отчего вы живете с ним?

— Не знаю... Так, привычка, должно быть. Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это — не любовь. Он умный, честный человек, и для моего счастья этого достаточно. Он очень добрый, простой...

— Алеша умный, Алеша добрый,— проговорил Костя, лениво поднимая голову,— но, милая моя, чтобы узнать, что он умный, добрый и интересный, нужно с ним три пуда соли съесть... И какой толк в его доброте или в его уме? Денег он вам отвалит сколько угодно, это он может, но где нужно употребить характер, дать отпор наглецу и нахалу, там он конфузится и падает духом. Такие люди, как ваш любезный Алексис, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно не годны. Да и вообще ни на что не годны.

Наконец, показался поезд. Из трубы валил и поднимался над рощей совершенно розовый пар, и два окна в последнем вагоне вдруг блеснули от солнца так ярко, что было больно смотреть.

— Чай пить! — сказала Юлия Сергеевна, поднимаясь.

Она в последнее время пополнела, и походка у нее была уже дамская, немножко ленивая.

— А все-таки без любви нехорошо,— сказал Яр-

цев, идя за ней.— Мы всё только говорим и читаем о любви, но сами мало любим, а это, право, нехорошо.

— Все это пустяки, Иван Гаврилыч,— сказала Юлия.— Не в этом счастье.

Чай пили в садике, где цвели резеда, левкои, табак и уже распускались ранние шпажники. Ярцев и Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время душевного спокойствия и равновесия, что ей ничего не нужно, кроме того, что уже есть, и у них самих становилось на душе покойно, славно. Кто бы что ни сказал, все выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, как никогда раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая девочка...

После чаю Ярцев пел романсы, аккомпанируя себе на рояле, а Юлия и Кочевой сидели молча и слушали, и только Юлия изредка вставала и тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вот уже два дня лежала вся в жару и ничего не ела.

— «Мой друг, мой нежный друг...» — пел Ярцев.— Нет, господа, хоть зарежьте,— сказал он и встряхнул головой,— не понимаю, почему вы против любви! Если б я не был занят пятнадцать часов в сутки, то непременно бы влюбился.

Ужинать накрыли на террасе; было тепло и тихо, но Юлия куталась в платок и жаловалась на сырость. Когда потемнело, ей почему-то стало не по себе, она все вздрагивала и упрашивала гостей посидеть подольше; она угощала их вином и после ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотелось оставаться одной с детьми и прислугой.

— Мы, дачницы, затеваем здесь спектакль для детей,— сказала она.— Уже все есть у нас — и театр, и актеры, остановка только за пьесой. Прислали нам десятка два разных пьес, но ни одна не годится. Вот вы любите театр и хорошо знаете историю,— обратилась она к Ярцеву,— напишите-ка нам историческую пьесу.

— Что ж, это можно.

Гости выпили весь коньяк и собрались уходить. Был уже одиннадцатый час, а по-дачному это поздно.

— Как темно, зги не видать! — говорила Юлия,

провожая их за ворота.— И не знаю, как вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно!

Она окуталась плотнее и пошла назад к крыльцу.

— А мой Алексей, должно быть, где-нибудь в карты играет! — крикнула она.— Спокойной ночи!

После светлых комнат не было ничего видно. Ярцев и Костя ощупью, как слепые, добрались до полотна железной дороги и перешли его.

— Ни черта не видать,— сказал Костя басом, останавливаясь, и поглядел на небо.— А звезды-то, звезды, точно новенькие пятиалтынные! Гаврилыч!

— А? — отозвался где-то Ярцев.

— Я говорю: не видать ничего. Где вы?

Ярцев, посвистывая, подошел к нему и взял его под руку.

— Эй, дачники! — вдруг закричал Костя во все горло.— Социалиста поймали!

Навеселе он всегда был очень беспокоен, кричал, придирался к городовым и извозчикам, пел, неистово хохотал.

— Природа, черт бы тебя подрал! — закричал он.

— Ну, ну,— унимал его Ярцев.— Не надо этого. Прошу вас.

Скоро приятели освоились с потемками и стали различать силуэты высоких сосен и телеграфных столбов. С московских вокзалов доносились изредка свистки, и жалобно гудели проволоки. Самая же роща не издавала ни звука, и в этом молчании чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное, и теперь ночью казалось, что верхушки сосен почти касаются неба. Приятели отыскали свою просеку и пошли по ней. Было тут совсем темно, и только по длинной полосе неба, усеянной звездами, да по тому, что под ногами была утоптанная земля, они знали, что идут по аллее. Шли рядом молча, и обоим чудилось, будто навстречу им идут какие-то люди. Хмельное настроение покинуло их. Ярцеву пришло в голову, что, быть может, в этой роще носятся теперь души московских царей, бояр и патриархов, и хотел сказать это Косте, но удержался.

Когда вышли к заставе, на небе чуть брезжило. Продолжая молчать, Ярцев и Кочевой шли по мосто-

вой мимо дешевых дач, трактиров, лесных складов; под мостом соединительной ветви их прохватила сырость, приятная, с запахом липы, и потом открылась широкая длинная улица, и на ней ни души, ни огня... Когда дошли до Красного пруда, уже светало.

— Москва — это город, которому придется еще много страдать,— сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь.

— Что это вам пришло в голову?

— Так. Люблю я Москву.

И Ярцев и Костя родились в Москве и обожали ее, и относились почему-то враждебно к другим городам; они были убеждены, что Москва — замечательный город, а Россия — замечательная страна. В Крыму, на Кавказе и за границей им было скучно, неуютно, неудобно, и свою серенькую московскую погоду они находили самой приятной и здоровой. Дни, когда в окна стучит холодный дождь и рано наступают сумерки, и стены домов и церквей принимают бурый, печальный цвет, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надеть,— такие дни приятно возбуждали их.

Наконец, около вокзала они наняли извозчика.

— В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу,— сказал Ярцев,— но, знаете, без Ляпуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха... Я ненавижу русские исторические пьесы все, кроме монолога Пимена. Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником и когда читаешь даже учебник русской истории, то кажется, что в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю в театре историческую пьесу, то русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, неоригинальной.

Около Дмитровки приятели расстались, и Ярцев поехал дальше к себе на Никитскую. Он дремал, покачивался и все думал о пьесе. Вдруг он вообразил страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке; и какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые инеем и нежно-розовые от пожара, видны далеко кругом, и так ясно, что можно различить каждую елочку;

К рассказу «Учитель словесности».

Художник Т. Шишмарева. 1954.

какие-то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне, их лошади и они сами так же багровы, как зарево на небе.

«Это половцы»,— думает Ярцев.

Один из них — старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный — привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно... Ярцев встряхнул головой и проснулся.

— «Мой друг, мой нежный друг...» — запел он.

Расплачиваясь с извозчиком и потом поднимаясь к себе по лестнице, он все никак не мог очнуться и видел, как пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес; громадный дикий кабан, обезумевший от ужаса, несся по деревне... А девушка, привязанная к седлу, все смотрела.

Когда он вошел к себе в комнату, то было уже светло. На рояле около раскрытых нот догорали две свечи. На диване лежала Рассудина в черном платье, в кушаке, с газетой в руках и крепко спала. Должно быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцев, и, не дождавшись, уснула.

«Эка, умаялась!» — подумал он.

Осторожно вынув у нее из рук газету, он укрыл ее пледом, потушил свечи и пошел к себе в спальню. Ложась, он думал об исторической пьесе, и из головы у него все не выходил мотив: «Мой друг, мой нежный друг...»

Через два дня заезжал к нему на минутку Лаптев сказать, что Лида заболела дифтеритом и что от нее заразились Юлия Сергеевна и ребенок, а еще через пять дней пришло известие, что Лида и Юлия выздоравливают, а ребенок умер, и что Лаптевы бежали из своей сокольницкой дачи в город.

XIV

Лаптеву было уже неприятно оставаться подолгу дома. Жена его часто уходила во флигель, говоря, что ей нужно заняться с девочками, но он знал, что она

ходит туда не заниматься, а плакать у Кости. Был девятый день, потом двадцатый, потом сороковой, и все нужно было ездить на Алексеевское кладбище слушать панихиду и потом томиться целые сутки, думать только об этом несчастном ребенке и говорить жене в утешение разные пошлости. Он уже редко бывал в амбаре и занимался только благотворительностью, придумывая для себя разные заботы и хлопоты, и бывал рад, когда случалось из-за какого-нибудь пустяка проездить целый день. В последнее время он собирался ехать за границу, чтобы познакомиться там с устройством ночлежных приютов, и эта мысль теперь развлекала его.

Был осенний день. Юлия только что пошла во флигель плакать, а Лаптев лежал в кабинете на диване и придумывал, куда бы уйти. Как раз в это время Петр доложил, что пришла Рассудина. Лаптев обрадовался очень, вскочил и пошел навстречу нежданной гостье, своей бывшей подруге, о которой он уже почти стал забывать. С того вечера, как он видел ее в последний раз, она нисколько не изменилась и была все такая же.

— Полина! — сказал он, протягивая к ней обе руки.— Сколько зим, сколько лет! Если б вы знали, как я рад вас видеть! Милости просим.

Рассудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла в кабинет и села.

— Я к вам на одну минуту,— сказала она.— О пустяках мне разговаривать некогда. Извольте сесть и слушать. Рады вы меня видеть или не рады, для меня решительно все равно, так как милостивое внимание ко мне господ мужчин я не ставлю ни в грош. Если же я пришла к вам, то потому, что была сегодня уже в пяти местах и везде получила отказ, между тем дело неотложное. Слушайте,— продолжала она, глядя ему в глаза,— пять знакомых студентов, люди ограниченные и бестолковые, но, несомненно, бедные, не внесли платы, и их теперь исключают. Ваше богатство налагает на вас обязанность поехать сейчас же в университет и заплатить за них.

— С удовольствием, Полина.

— Вот вам их фамилии,— сказала Рассудина, подавая Лаптеву записку.— Поезжайте сию же минуту, а наслаждаться семейным счастьем успеете после.

В это время за дверью, ведущею в гостиную, послышался какой-то шорох: должно быть, чесалась собака. Рассудина покраснела и вскочила.

— Ваша дульцинея нас подслушивает! — сказала она.— Это гадко!

Лаптеву стало обидно за Юлию.

— Ее здесь нет, она во флигеле,— сказал он.— И не говорите о ней так. У нас умер ребенок, и она теперь в ужасном горе.

— Можете успокоить ее,— усмехнулась Рассудина, опять садясь,— будет еще целый десяток. Чтобы рожать детей, кому ума недоставало?

Лаптев вспомнил, что это самое или нечто подобное он слышал уже много раз когда-то давно, и на него пахнуло поэзией минувшего, свободой одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что он молод и может все, что хочет, и когда не было любви к жене и воспоминаний о ребенке.

— Поедемте вместе,— сказал он, потягиваясь.

Когда приехали в университет, Рассудина осталась ждать у ворот, а Лаптев пошел в канцелярию; немного погодя он вернулся и вручил Рассудиной пять квитанций.

— Вы теперь куда? — спросил он.

— К Ярцеву.

— И я с вами.

— Но ведь вы будете мешать ему работать.

— Нет, уверяю вас! — сказал он и посмотрел на нее умоляюще.

На ней была черная, точно траурная шляпка с креповою отделкой и очень короткое поношенное пальто, в котором оттопырились карманы. Нос у нее казался длиннее, чем был раньше, и на лице не было ни кровинки, несмотря на холод. Лаптеву было приятно идти за ней, повиноваться ей и слушать ее ворчание. Он шел и думал про нее: какова, должно быть, внутренняя сила у этой женщины, если, будучи такою некрасивой, угловатой, беспокойной, не умея одеться

порядочно, всегда неряшливо причесанная и всегда какая-то нескладная, она все-таки обаятельна.

К Ярцеву прошли они черным ходом, через кухню, где встретила их кухарка, чистенькая старушка с седыми кудрями; она очень сконфузилась, сладко улыбнулась, причем ее маленькое лицо стало похоже на пирожное, и сказала:

— Пожалуйте-с.

Ярцева дома не было. Рассудина села за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы, приказав Лаптеву не мешать ей. И он не развлекал ее разговорами, а сидел в стороне и перелистывал «Вестник Европы». Проиграв два часа,— это была ее дневная порция,— она поела чего-то в кухне и ушла на уроки. Лаптев прочел продолжение какого-то романа, потом долго сидел, не читая и не испытывая скуки и довольный, что уже опоздал домой к обеду.

— Га-га-га! — послышался смех Ярцева, и вошел он сам, здоровый, бодрый, краснощекий, в новеньком фраке со светлыми пуговицами.— Га-га-га!

Приятели пообедали вместе. Потом Лаптев лег на диван, а Ярцев сел около и закурил сигару. Наступили сумерки.

— Я, должно быть, начинаю стареть,— сказал Лаптев.— С тех пор как умерла сестра Нина, я почему-то стал часто подумывать о смерти.

Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не по-земному.

— А не хочется умирать,— тихо сказал Ярцев.— Никакая философия не может помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется.

— Вы любите жизнь, Гаврилыч?

— Да, люблю.

— А вот я никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, неуверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать

ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно, я же, случается, сознательно делаю добро и испытываю при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Все это, Гаврилыч, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазые, выбьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет костьми!

— Все это хорошо, голубчик,— сказал Ярцев и вздохнул.— Это только показывает лишний раз, как богата, разнообразна русская жизнь. Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите верьте, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети!

Ярцев подошел к роялю и взял аккорд.

— Я химик, мыслю химически и умру химиком,— продолжал он.— Но я жаден, я боюсь, что умру не насытившись; и мне мало одной химии, я хватаюсь за русскую историю, историю искусств, педагогию, музыку... Как-то летом ваша жена сказала, чтобы я написал историческую пьесу, и теперь мне хочется писать, писать; так бы, кажется, просидел трое суток, не вставая, и все писал бы. Образы истомили меня, в голове теснота, и я чувствую, как в мозгу моем бьется пульс. Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать... Жизнь, голубчик, коротка, и надо прожить ее получше.

После этой дружеской беседы, которая кончилась только в полночь, Лаптев стал бывать у Ярцева почти каждый день. Его тянуло к нему. Обыкновенно он приходил перед вечером, ложился и ждал его прихода терпеливо, не ощущая ни малейшей скуки. Ярцев, вернувшись со службы и пообедав, садился за работу, но Лаптев задавал ему какой-нибудь вопрос, начинался разговор, было уж не до работы, а в полночь приятели расставались, очень довольные друг другом.

Но это продолжалось недолго. Как-то придя к Ярцеву, Лаптев застал у него одну Рассудину, которая сидела за роялем и играла свои экзерцисы. Она посмотрела на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки:

— Скажите, пожалуйста, когда этому будет конец?

— Чему этому? — спросил Лаптев не понимая.

— Вы ходите сюда каждый день и мешаете Ярцеву работать. Ярцев не купчишка, а ученый, каждая минута его жизни драгоценна. Надо же понимать и иметь хотя немножко деликатности!

— Если вы находите, что я мешаю,— сказал Лаптев кротко, смутившись,— то я прекращу свои посещения.

— И прекрасно. Уходите же, а то он может сейчас прийти и застать вас здесь.

Тон, каким это было сказано, и равнодушные глаза Рассудиной окончательно смутили его. У нее уже не было никаких чувств к нему, кроме желания, чтобы он поскорее ушел,— и как это не было похоже на прежнюю любовь! Он вышел, не пожав ей руки, и казалось ему, что она окликнет его и позовет назад, но послышались опять гаммы, и он, медленно спускаясь по лестнице, понял, что он уже чужой для нее.

Дня через три пришел к нему Ярцев, чтобы вместе провести вечер.

— А у меня новость,— сказал он и засмеялся.— Полина Николаевна перебралась ко мне совсем.— Он немножко смутился и продолжал вполголоса: — Что же? Конечно, мы не влюблены друг в друга, но, я думаю, это... это все равно. Я рад, что могу дать ей приют и покой и возможность не работать в случае, если она заболеет, ей же кажется, что оттого, что она сошлась со мной, в моей жизни будет больше порядка и что под ее влиянием я сделаюсь великим ученым. Так она думает. И пускай себе думает. У южан есть поговорка: дурень думкой богатеет. Га-га-га!

Лаптев молчал. Ярцев прошелся по кабинету, посмотрел на картины, которые он уже видел много раз раньше, и сказал, вздыхая:

— Да, друг мой. Я старше вас на три года, и мне уже поздно думать о настоящей любви, и, в сущности,

такая женщина, как Полина Николаевна, для меня находка, и, конечно, я проживу с ней благополучно до самой старости, но, черт его знает, все чего-то жалко, все чего-то хочется и все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и снится мне бал. Одним словом, никогда человек не бывает доволен тем, что у него есть.

Он пошел в гостиную и как ни в чем не бывало пел романсы, а Лаптев сидел у себя в кабинете, закрывши глаза, старался понять, почему Рассудина сошлась с Ярцевым. А потом он все грустил, что нет прочных, постоянных привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась с Ярцевым, и досадно на себя, что чувство его к жене было уже совсем не то, что раньше.

XV

Лаптев сидел в кресле и читал, покачиваясь; Юлия была тут же в кабинете и тоже читала. Казалось, говорить было не о чем, и оба с утра молчали. Изредка он посматривал на нее через книгу и думал: женишься по страстной любви или совсем без любви — не все ли равно? И то время, когда он ревновал, волновался, страдал, представлялось ему теперь далеким. Он успел уже побывать за границей и теперь отдыхал от поездки и рассчитывал с наступлением весны опять поехать в Англию, где ему очень понравилось.

А Юлия Сергеевна привыкла к своему горю, уже не ходила во флигель плакать. В эту зиму она уже не ездила по магазинам, не бывала в театрах и на концертах, а оставалась дома. Она не любила больших комнат, и всегда была или в кабинете мужа, или у себя в комнате, где у нее были киоты, полученные в приданое, и висел на стене тот самый пейзаж, который так понравился ей на выставке. Денег на себя она почти не тратила и проживала теперь так же мало, как когда-то в доме отца.

Зима протекала невесело. Везде в Москве играли в карты, но если вместо этого придумывали какое-нибудь другое развлечение, например пели, читали,

рисовали, то выходило еще скучнее. И оттого, что в Москве было мало талантливых людей и на всех вечерах участвовали всё одни и те же певцы и чтецы, само наслаждение искусством мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную, однообразную обязанность.

К тому же у Лаптевых не проходило ни одного дня без огорчений. Старик Федор Степаныч видел очень плохо и уже не бывал в амбаре, и глазные врачи говорили, что он скоро ослепнет; Федор тоже почему-то перестал бывать в амбаре, а сидел все время дома и что-то писал. Панауров получил перевод в другой город с производством в действительные статские советники и теперь жил в «Дрездене» и почти каждый день приезжал к Лаптеву просить денег. Киш, наконец, вышел из университета и в ожидании, пока Лаптевы найдут ему какую-нибудь должность, просиживал у них по целым дням, рассказывая длинные, скучные истории. Все это раздражало и утомляло и делало будничную жизнь неприятной.

Вошел в кабинет Петр и доложил, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточке, которую он подал, было: «Жозефина Иосифовна Милан».

Юлия Сергеевна лениво поднялась и вышла, слегка прихрамывая, так как отсидела ногу. В дверях показалась дама, худая, очень бледная, с темными бровями, одетая во все черное. Она сжала на груди руки и проговорила с мольбой:

— Мосье Лаптев, спасите моих детей!

Звон браслетов и лицо с пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы: он узнал ту самую даму, у которой как-то перед свадьбой ему пришлось так некстати пообедать. Это была вторая жена Панаурова.

— Спасите моих детей! — повторила она, и лицо ее задрожало и стало вдруг старым и жалким, и глаза покраснели.— Только вы один можете спасти нас, и я приехала к вам в Москву на последние деньги! Дети мои умрут с голоду!

Она сделала такое движение, как будто хотела стать на колени. Лаптев испугался и схватил ее за руки повыше локтей.

— Садитесь, садитесь...— бормотал он, усаживая ее.— Прошу вас, садитесь.

— У нас теперь нет денег, чтобы купить себе хлеба,— сказала она.— Григорий Николаич уезжает на новую должность, но меня с детьми не хочет брать с собой, и те деньги, которые вы, великодушный человек, присылали нам, тратит только на себя. Что же нам делать? Что? Бедные, несчастные дети!

— Успокойтесь, прошу вас. Я прикажу в конторе, чтобы эти деньги высылали на ваше имя.

Она зарыдала, потом успокоилась, и он заметил, что от слез у нее по напудренным щекам прошли дорожки и что у нее растут усы.

— Вы великодушны без конца, мосье Лаптев. Но будьте нашим ангелом, нашею доброю феей, уговорите Григория Николаича, чтобы он не покидал меня, а взял с собой. Ведь я его люблю, люблю безумно, он моя отрада.

Лаптев дал ей сто рублей и пообещал поговорить с Панауровым и, провожая до передней, все боялся, как бы она не зарыдала или не стала на колени.

После нее пришел Киш. Потом пришел Костя с фотографическим аппаратом. В последнее время он увлекался фотографией и каждый день по нескольку раз снимал всех в доме, и это новое занятие приносило ему много огорчений, и он даже похудел.

Перед вечерним чаем пришел Федор. Севши в кабинете в угол, он раскрыл книгу и долго смотрел все в одну страницу, по-видимому не читая. Потом долго пил чай; лицо у него было красное. В его присутствии Лаптев чувствовал на душе тяжесть; даже молчание его было ему неприятно.

— Можешь поздравить Россию с новым публицистом,— сказал Федор.— Впрочем, шутки в сторону, разрешился, брат, я одною статеечкой, проба пера, так сказать, и принес тебе показать. Прочти, голубчик, и скажи свое мнение. Только искренно.

Он вынул из кармана тетрадку и подал ее брату. Статья называлась так: «Русская душа»; написана она была скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, втайне самолюбивые

люди, и главная мысль ее была такая: интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь.

— Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу,— сказал Лаптев.

— Это понятно само собой.

— Ничего не понятно,— сказал Лаптев и прошелся в волнении.— Не понятно, для чего это ты написал. Впрочем, это твое дело.

— Хочу издать отдельною брошюрой.

— Это твое дело.

Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:

— Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разно мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобою люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идейшки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода.

— Какой там именитый род? — проговорил Лаптев, сдерживая раздражение.— Именитый род! Деда нашего помещики драли и каждый последний чиновнишка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы и какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал, — ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городовых жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!

В кабинет вошла Юлия Сергеевна и села у стола.

— Вы о чем-то тут спорили? — сказала она.— Я не помешала?

— Нет, сестреночка,— ответил Федор,— разговор у нас принципиальный. Вот ты говоришь: такой-сякой род,— обратился он к брату,— однако же этот род создал миллионное дело. Это чего-нибудь да стоит!

— Велика важность — миллионное дело! Человек без особенного ума, без способностей случайно становится торгашом, потом богачом, торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели, не имея даже жадности к деньгам, торгует машинально, и деньги сами идут к нему, а не он к ним. Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому только, что может начальствовать над приказчиками, издеваться над покупателями. Он старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими и гнуть их в дугу; он попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель — его подчиненный и что он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать, и ваш амбар не торговое учреждение, а застенок! Да, для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготовляете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы — их благодетели. Небось вот университетского человека ты в амбар к себе не возьмешь!

— Университетские люди для нашего дела не годятся.

— Неправда! — крикнул Лаптев.— Ложь!

— Извини, мне кажется, ты плюешь в колодезь, из которого пьешь,— сказал Федор и встал.— Наше дело тебе ненавистно, однако же ты пользуешься его доходами.

— Ага, договорились! — сказал Лаптев и засмеялся, сердито глядя на брата.— Да, не принадлежи я к вашему именитому роду, будь у меня хоть на грош воли и смелости, я давно бы швырнул от себя эти доходы и пошел бы зарабатывать себе хлеб. Но вы в своем амбаре с детства обезличили меня! Я ваш!

Федор взглянул на часы и стал торопливо прощаться. Он поцеловал руку у Юлии и вышел, но, вместо того чтобы идти в переднюю, прошел в гостиную, потом в спальню.

— Я забыл расположение комнат,— сказал он в сильном замешательстве.— Странный дом. Не правда ли, странный дом?

Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался, и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.

— Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать,— сказал он и погладил его по плечу.— Придешь?

— Да, да. Но дайте мне воды.

Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попалось ему под руки,— это была высокая пивная кружка,— налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.

Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.

— Это ничего,— утешала она.— Это у вас нервы...

— Голубушка, мне так тяжело! — говорил он.— Я несчастлив, несчастлив... но все время я скрывал, скрывал!

Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:

— Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели...

Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.

— Ты приезжай к нам завтра обедать,— говорил он дорогой, держа его под руку,— а на пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.

— Да, да. Я поеду, я поеду... И сестреночку с собой возьмем.

Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.

— Не уходи от меня, не уходи,— говорила она мужу.— Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.

Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему в страхе...

К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.

XVI

Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны, и проч.

В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю

ее приезда, служили молебен. Он, в своем парусинковом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.

— Это я, ваша невестка,— сказала она, подходя к нему.— Я приехала проведать вас.

Он стал тяжко дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.

— Спасибо, спасибо,— сказал он.— А я вот глаза потерял и ничего не вижу... Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.

И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.

— Прошу дорогую гостью закусить,— сказал старик.

Она взяла его под руку и подвела к столу и налила ему водки.

— Я к вам и завтра приеду,— сказала она,— и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас.

— Не нужно, не привозите. Они незаконные.

— Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны.

— Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними.

— Странно вы говорите, Федор Степаныч,— сказала Юлия и вздохнула.

— В евангелии сказано: дети должны уважать и бояться своих родителей.

— Ничего подобного. В евангелии сказано, что мы должны прощать даже врагам своим.

— В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь.

— Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому,— это выше дела, выше богатства!

Юлии хотелось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить в нем раскаяние, но все, что она говорила, он выслушивал только снисходительно, как взрослые слушают детей.

— Федор Степаныч,— сказала Юлия решительно,— вы уже стары, и скоро бог призовет вас к себе; он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям; не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например к прислуге, к приказчикам?

— Для своих служащих я был всегда благодетель, и они должны за меня вечно бога молить,— сказал старик с убеждением; но, тронутый искренним тоном Юлии и желая доставить ей удовольствие, он сказал: — Хорошо, привозите завтра внучек. Я велю им подарочков купить.

Старик был неаккуратно одет, и на груди и на коленях у него был сигарный пепел; по-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик и весь этот дом на Пятницкой имели заброшенный вид, и Юлии, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.

— Я к вам непременно приеду завтра,— сказала она.

Она прошлась по комнатам и приказала убрать в спальне старика и зажечь у него лампадку. Федор сидел у себя в комнате и смотрел в раскрытую книгу не читая; Юлия поговорила с ним и у него тоже велела убрать, потом пошла вниз к приказчикам. Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашеная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился; потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда во-

шла Юлия, они вскочили с мест и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее исподлобья, как арестанты.

— Господи, какое у вас дурное помещение! — сказала она, всплескивая руками.—И вам здесь не тесно?

— В тесноте, да не в обиде,— сказал Макеичев.— Много вами довольны и возносим наши молитвы милосердному богу.

— Соответствие жизни по амбиции личности,— сказал Початкин.

И, заметив, что Юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить:

— Мы — маленькие люди и должны жить соответственно званию.

Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню, познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна.

Вернувшись домой, она сказала мужу:

— Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницкую и жить там. И ты каждый день будешь ездить в амбар.

Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали. У него было тяжело на душе, и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем думает жена, и был не в силах противоречить ей. Он погладил ее по щеке и сказал:

— У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для нас серая полужизнь. Когда я узнал, что брат Федор безнадежно болен, я заплакал; мы вместе прожили наше детство и юность, когда-то я любил его всею душою, и вот тебе катастрофа, и мне кажется, что, теряя его, я окончательно разрываю со своим прошлым. А теперь, когда ты сказала, что нам необходимо переезжать на Пятницкую, в эту тюрьму, то мне стало казаться, что у меня нет уже и будущего.

Он встал и отошел к окну.

— Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье, — сказал он, глядя на улицу.— Его нет. Его не было никогда у меня, и, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счаст-

лив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? — спросил он, обернувшись к жене.— Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние.

В кабинете около шкафов с книгами стоял комод из красного дерева с бронзой, в котором Лаптев хранил разные ненужные вещи, в том числе зонтик. Он достал его и подал жене.

— Вот он.

Юлия минуту смотрела на зонтик, узнала и грустно улыбнулась.

— Помню,— сказала она.— Когда ты объяснялся мне в любви, то держал его в руках,— и, заметив, что он собирается уходить, она сказала: — Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Без тебя мне скучно.

И потом она ушла к себе в комнату и долго смотрела на зонтик.

XVII

В амбаре, несмотря на сложность дела и на громадный оборот, бухгалтера не было, и из книг, которые вел конторщик, ничего нельзя было понять. Каждый день приходили в амбар комиссионеры, немцы и англичане, с которыми приказчики говорили о политике и религии; приходил спившийся дворянин, больной, жалкий человек, который переводил в конторе иностранную корреспонденцию; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаем с солью. И в общем вся эта торговля представлялась Лаптеву каким-то большим чудачеством.

Он каждый день бывал в амбаре и старался заводить новые порядки; он запрещал сечь мальчиков и глумиться над покупателями, выходил из себя, когда приказчики с веселым смехом отпускали куда-нибудь в провинцию залежалый и негодный товар под видом свежего и самого модного. Теперь в амбаре он был главным лицом, но по-прежнему ему не было известно, как велико его состояние, хорошо ли идут его дела,

сколько получают жалованья старшие приказчики, и т. п. Початкин и Макеичев считали его молодым и неопытным, многое скрывали от него и каждый вечер о чем-то таинственно шептались со слепым стариком.

Как-то в начале июня Лаптев и Початкин пошли в Бубновский трактир, чтобы позавтракать и кстати поговорить о делах. Початкин служил у Лаптевых уже давно и поступил к ним, когда ему было еще восемь лет. Он был своим человеком, ему доверяли вполне, и когда, уходя из амбара, он забирал из кассы всю выручку и набивал ею карманы, то это не возбуждало никаких подозрений. Он был главным в амбаре и в доме, а также в церкви, где вместо старика исполнял обязанности старосты. За жестокое обращение с подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовым.

Когда пришли в трактир, он кивнул половому и сказал:

— Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками.

— Вот что, любезный,— сказал ему Початкин,— дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре.

Половой не понял и смутился и хотел что-то сказать, но Початкин строго поглядел на него и сказал:

— Кроме!

Половой думал с напряжением, потом пошел советоваться с товарищами, и в конце концов все-таки догадался, принес порцию языка. Когда выпили по две рюмки и закусили, Лаптев спросил:

— Скажите, Иван Васильич, правда ли, что наши дела в последние годы стали падать?

— Ни отнюдь.

— Скажите мне откровенно, начистоту, сколько мы получали и получаем дохода и как велико наше состояние? Нельзя же ведь в потемках ходить. У нас был недавно счет амбара, но, простите, я этому счету не верю; вы находите нужным что-то скрывать от ме-

ня и говорите правду только отцу. Вы с ранних лет привыкли к политике и уже не можете обходиться без нее. А к чему она? Так вот, прошу вас, будьте откровенны. В каком положении наши дела?

— Все зависимо от волнения кредита,— ответил Початкин, подумав.

— Что вы разумеете под волнением кредита?

Початкин стал объяснять, но Лаптев ничего не понял и послал за Макеичевым. Тот немедленно явился, закусил, помолясь, и своим солидным, густым баритоном заговорил прежде всего о том, что приказчики обязаны денно и нощно молить бога за своих благодетелей.

— Прекрасно, только позвольте мне не считать себя вашим благодетелем,— сказал Лаптев.

— Каждый человек должен помнить, что он есть, и чувствовать свое звание. Вы, по милости божией, наш отец и благодетель, и мы ваши рабы.

— Все это, наконец, мне надоело! — рассердился Лаптев.— Пожалуйста, теперь будьте вы моим благодетелем, объясните, в каком положении наши дела. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбар. Отец ослеп, брат в сумасшедшем доме, племянницы мои еще молоды; это дело я ненавижу, я охотно бы ушел, но заменить меня некому, вы сами знаете. Бросьте же политику, ради бога!

Пошли в амбар считать. Потом считали вечером дома, причем помогал сам старик; посвящая сына в свои коммерческие тайны, он говорил таким тоном, как будто занимался не торговлей, а колдовством. Оказалось, что доход ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую часть и что состояние Лаптевых, считая одни только деньги и ценные бумаги, равнялось шести миллионам рублей.

Когда в первом часу ночи, после счетов, Лаптев вышел на свежий воздух, то чувствовал себя под обаянием этих цифр. Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости, и недоставало

только часового с ружьем. Лаптев пошел в садик и сел на скамью около забора, отделявшего от соседнего двора, где тоже был садик. Цвела черемуха. Лаптев вспомнил, что эта черемуха во времена его детства была такою же корявой и такого же роста и нисколько не изменилась с тех пор. Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далекое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственны и строги тени, так же среди двора лежала черная собака и открыты были настежь окна у приказчиков. И все это были невеселые воспоминания.

За забором в чужом дворе послышались легкие шаги.

— Моя дорогая, моя милая...— прошептал мужской голос у самого забора, так что Лаптев слышал даже дыхание.

Вот поцеловались. Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба; он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и в конце концов умрет, как вообще умирают обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающих. Но что же мешает ему бросить и миллионы, и дело, и уйти из этого садика и двора, которые были ненавистны ему еще с детства?

Шепот и поцелуи за забором волновали его. Он вышел на средину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь...

Но он все стоял и не уходил и спрашивал себя: «Что же меня держит здесь?» И ему было досадно и на себя и на эту черную собаку, которая валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была не-

зависима, радостна. И ему и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию...

На другой день в полдень он поехал к жене и, чтобы скучно не было, пригласил с собой Ярцева. Юлия Сергеевна жила на даче в Бутове, и он не был у нее уже пять дней. Приехав на станцию, приятели сели в коляску, и Ярцев всю дорогу пел и восхищался великолепною погодой. Дача находилась недалеко от станции в большом парке. Где начиналась главная аллея, шагах в двадцати от ворот, под старым широким тополем сидела Юлия Сергеевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отделанное кружевами, платье светлое, кремового цвета, а в руках был все тот же старый знакомый зонтик. Ярцев поздоровался с ней и пошел к даче, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптев сел рядом с ней, чтобы поговорить о делах.

— Отчего ты так долго не был? — спросила она, не выпуская его руки.— Я целые дни все сижу здесь и смотрю: не едешь ли ты. Мне без тебя скучно!

Она встала и рукой провела по его волосам, и с любопытством оглядывала его лицо, плечи, шляпу.

— Ты знаешь, я люблю тебя,— сказала она и покраснела.— Ты мне дорог. Вот ты приехал, я вижу тебя и счастлива не знаю как. Ну, давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь.

Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелком своего платья его щеку; он осторожно отстранил ее руку, встал и, не сказав ни слова, пошел к даче. Навстречу ему бежали девочки.

«Как они выросли! — думал он.— И сколько перемен за эти три года... Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет... Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем — увидим».

Он обнял Сашу и Лиду, которые повисли ему на шею, и сказал:

— Кланяется дедушка... дядя Федя скоро умрет, дядя Костя прислал письмо из Америки и велит вам

кланяться. Он соскучился на выставке и скоро вернется. А дядя Алеша хочет есть.

Потом он сидел на террасе и видел, как по аллее тихо шла его жена, направляясь к даче. Она о чем-то думала, и на ее лице было грустное, очаровательное выражение, и на глазах блестели слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, бледнолицая девушка, а зрелая, красивая, сильная женщина. И Лаптев заметил, с каким восторгом смотрел ей навстречу Ярцев, как это ее новое, прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенном. Казалось, что он видел ее первый раз в жизни. И когда завтракали на террасе, Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и все смотрел на Юлию, на ее красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет... И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?

И думал:

«Поживем — увидим».

ПРИМЕЧАНИЯ

ЖЕНА

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1892, № 1, январь. С авторского разрешения перепечатано в газете «Орловский вестник», 1892, № 64, 66, 74, 8, 10 и 18 марта. Опубликовано в серии «Для интеллигентных читателей» изд-вом «Посредник», М. 1893 (2-е и 3-е изд., М. 1894 и 1899). В переработанном виде включено автором в том V собрания сочинений.

Для собрания сочинений текст значительно сокращен, сделаны многочисленные стилистические исправления. Более сжатыми стали сцены, характеризующие взаимоотношения героя и его жены, высказывания героя о своих переживаниях, а также речи Ивана Ивановича и доктора Соболя.

В этой повести Чехов говорил о неизбежном оскудении духовного мира человека, лишенного общественных интересов и живой, деятельной любви к людям. Вернуть утраченное душевное равновесие герой смог, лишь преодолев равнодушие к чужому страданию. В первой редакции сам герой выступал в защиту философии равнодушия, которая, по его признанию, помогла ему обрести душевный покой. Многие критики справедливо отметили, что эти высказывания героя не соответствуют изображению его нравственного возрождения. При переработке повести Чехов вычеркнул ряд мест, где говорилось о равнодушии как положительном качестве человека.

Так, например, в главе VI после слов «покорно лег» (стр. 45) ранее следовало: «Я с ума сошел, и я дурной, ничтожный человек,— думал я, пряча лицо в теплую подушку,— но об этом я никому не скажу. Пускай...

И тотчас же мне стали сниться жена, ее комната, начальник станции с ненавидящим лицом, кучи снега, пожар в театре; театр горит внутри, а я хладнокровно, как ни в чем не бывало поднимаю падающих и объясняю им, где выход, потом иду из театра домой, не возмущаюсь и не спрашиваю себя, по чьей вине произошел пожар — этак лучше».

В главе VII после слов: «Соболь ответил мне еще проще: — Ладно» (стр. 49) — был снят следующий текст:

«— За обедом вы говорили о климате, — сказал я.— Да, при таком климате, при таких пространствах, при неизбежно жалкой культуре и при этой удивительной бесчеловечности (я вспомнил, каким я был до сих пор), к которой я пригляделся в своей жизни и особенно, когда был на службе, единственное наше спасение — с одной стороны, простые человеческие отношения, позволяющие говорить друг другу правду, а с другой — полнейшее равнодушие. Страх, отчаяние, наши постоянные заботы о самосохранении — все это только осложняет опасность. Однако поедемте. Пора».

В конце повести после слов «и я весело улыбаюсь ей» было вычеркнуто. «С тех пор как я пошел в одном полку с равнодушными людьми, я стал сам равнодушен, и мне хорошо. Что будет дальше, не знаю».

В 1891—1892 гг. Чехов принимал активное участие в организации помощи голодающим губерниям (Нижегородской и Воронежской). Тема «голодного года» нашла отражение в повести «Жена».

Осенью 1891 г. Чехов обещал прислать новое произведение в «Северный вестник». Однако предназначаемый для этой цели «Рассказ неизвестного человека» вскоре был признан писателем неудобным для подцензурного издания.

22 октября Чехов известил редактора М. Н. Альбова, что пишет для журнала новую вещь, и вскоре сообщил ее название — «Жена». 20 ноября обещанная повесть была выслана, но с новым заглавием «В деревне», которое, по словам автора, было «общее, хотя и скучнее». Тогда же в письме к Альбову Чехов просил быстрее выслать корректуру повести: «Я прочту ее в день получения и не задержу. Вероятно, у меня в рассказах очень много всяких промахов, так как моя инфлуэнца все еще держит меня в тисках, и голова моя совсем отказывается работать. Вялость и полное равнодушие. Промахи придется поправить в корректуре».

Первое заглавие показалось Альбову более удачным. «Оно было пикантнее, а это, по нынешним временам, не лишнее»,— писал он Чехову 26 ноября. Повесть благополучно прошла цензуру, и издательница «Северного вестника» Л. Я. Гуревич известила автора, что «не выкинуто ни одно слово. А уж я боялась: цензура наша не особенно любит выдвигание вопроса о голоде» (11 декабря).

Повесть привлекла внимание руководителей изд-ва «Посредник», пропагандировавших нравственно-философские взгляды Л. Н. Толстого. В. Г. Чертков обратился к писателю за разрешением напечатать повесть «Жена» и «Именины» (письма от 30 мая и 6 июля 1892 г.). Не возражая против новой публикации этих произведений, Чехов, однако, просил не помещать их в одной книге (письмо к Черткову от 1 августа 1892 г.).

«Посредник» издал повесть «Жена» без авторской корректуры, что вызвало со стороны Чехова протест и требование уничтожить книгу. Конфликт был улажен И. И. Горбуновым-Посадовым при личном свидании с писателем в январе 1893 г.

Горбунов-Посадов сообщил Чехову 16 мая 1893 г. об успехе книги у читателей. «...из всех рассказов нашей первой серии многим «Жена» нравится более всего»,— писал он.

Критика отметила тяготение писателя в последние годы к разработке этических проблем. Задача последней повести показать, как «эгоизм, душевная грубость побеждаются простым, гуманным сердцем»,— писал И. Иванов («Русские ведомости», 1892, № 19, 20 января). Вместе с тем, с различными оговорками, вся критика была не удовлетворена изображением нравственного возрождения героя.

Наиболее резкой была статья реакционной газеты «Гражданин». В ней, в связи с публикацией повести «Жена», давалась оценка творчества Чехова в целом. Критик осудил и тему нового произведения и художественную манеру ее автора. Писатель обвинялся в излишней творческой «смелости», которая выражалась в отказе от привычных литературных канонов. (К отклонениям от этих канонов критики давно уже относили отказ Чехова от прямого проявления авторского отношения к изображаемому, заострение внимания на простых, обыденных явлениях жизни, углубленный психологический анализ, сюжетную «незавершенность».) В статье говорилось: «...он (Чехов.— *К. М.*) пренебрег литературной школой и литературными образцами авторитетов; пренебрег художественными вкусами читающей пуб-

лики (может быть, и дурными, но все же господствующими) и, положившись исключительно на свой ум (а не талант), в два-три прыжка захотел перескочить широкое и тернистое поле художественного развития и начать с того, чем лучшие силы его эпохи кончали».

Стр. 14. *Было дело под Полтавой* — первая строка из стихотворения И. Е. Молчанова (1809—1881), которое получило широкое распространение в виде песни.

Стр. 46. *Карно Сади* (1837—1894) — французский политический деятель, с 1887 г. президент республики.

ПОПРЫГУНЬЯ

Впервые напечатано в журнале «Север», 1892, № 1, 5 января, и № 2, 12 января. С небольшими поправками рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). После немногих исправлений включен автором в том VIII собрания сочинений.

Сохранилась беловая рукопись рассказа, с заглавием «Великий человек» (Центр. гос. архив литературы и искусства СССР — ЦГАЛИ).

В журнальной корректуре Чехов произвел стилистическую правку, снял некоторые детали и вычеркнул фразу во второй главе: «Ей казалось, что если бы она увидела настоящего великого человека, например, Пушкина или Глинку, то она умерла бы от наслаждения, и она надеялась, что рано или поздно она встретит такого человека».

12 сентября 1891 г. редактор журнала «Север» В. А. Тихонов обратился к Чехову с просьбой прислать рассказ. Ответив согласием на предложение о сотрудничестве, писатель, однако, отказался указать точное заглавие своего будущего произведения для объявления о подписке. 14 сентября 1891 г. он писал Тихонову: «Рассказ я пришлю... но сказать, как он будет называться, я не могу. Назвать его теперь так же трудно, как определить цвет курицы, которая вылупится из яйца, которое еще не снесено». В следующем письме (от 11 октября) Чехов сообщил, что он «ничего еще не придумал» и что для объявления можно взять «просто «Рассказ» или же «Обыватели». Оба названия подойдут».

Чехов начал работу 21 ноября, а 30 ноября уже отослал рассказ, получивший наименование «Великий человек», со сле-

дующим письмом: «Посылаю Вам маленький, чувствительный роман для семейного чтения. Это и есть «Обыватели», но, написавши рассказ, я дал ему, как видите, другое название, более подходящее». Но и новое заглавие не удовлетворило Чехова. После чтения корректуры, он писал Тихонову 14 декабря 1891 г.: «Право, не знаю, как быть с заглавием моего рассказа! «Великий человек» мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно. Назовите так — «Попрыгунья». Итак, значит, «Попрыгунья», не забудьте переменить».

29 апреля 1892 г. Чехов писал Л. А. Авиловой: «Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама [С. П. Кувшинникова] узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи» («Север, № 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником». Рассказ послужил причиной временного разрыва дружеских отношений Чехова и художника И. И. Левитана, увидевшего в «Попрыгунье» намек на свои отношения с Кувшинниковой.

«Попрыгунья» была положительно встречена читателями. Поэт и критик С. А. Андреевский в рецензии на сборник Чехова «Повести и рассказы» писал: «Попрыгунья», несомненно, причислится к жемчужинам между нашими новеллами. Вы не найдете другого рассказа, где бы простота и терпимость благородного, поистине великого человека — выступала бы так победно, в таком ореоле, над нервною ничтожностью его хорошенькой, грациозной и обожаемой им жены» («Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

29 марта 1907 г. Д. П. Маковицкий, домашний врач Л. Н. Толстого, записал в своем дневнике отзыв писателя о прочитанном им вслух рассказе «Попрыгунья»: «Превосходно, превосходно! Есть юмор сначала, а потом эта серьезность... И как чувствуется, что после его смерти она будет опять точно такая же» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 56, М. 1937, стр. 555).

И. А. Бунин включил «Попрыгунью» в список лучших, по его мнению, произведений Чехова со следующей оговоркой: «рассказ хорош, но ужасное заглавие» («Литературное наследство», т. 68, М. 1960, стр 677).

Стр. 64. *Мазини Анджело* (1845—1926) — итальянский певец.

Стр. 67. *«Укажи мне такую обитель...»* — популярная в революционной среде и среди интеллигенции песня; является отрывком из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858). (У Некрасова «Назови» вм. «Укажи».)

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник.

Стр. 71. *Барнай* Людвиг (1842—1924) — немецкий драматический артист.

Стр. 72. *...гоголевского Осипа* — персонаж комедии «Ревизор» (1836).

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1892, № 94, 7 апреля, под заглавием «Радость». С исправлениями и новым заглавием включено автором в том II собрания сочинений.

При переработке рассказа Чехов внес в текст небольшие стилистические исправления, сократил письмо Нади и ее воспоминания о студенте Груздеве.

ОТРЫВОК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1892, № 16, 18 апреля. Подпись: Человек без селезенки.

В письмах 1888—1889 гг. Чехов высказывал желание вернуться к работе над мелкими рассказами и обещал Н. А. Лейкину писать «мелочи» для журнала «Осколки» (см., например, письма от 23 апреля и 29 августа 1888 г., 17 ноября 1889 г.) Это желание, однако, было осуществлено писателем только в 1892 г. 31 марта он сообщил Лейкину, что написал «рассказ и две мелочишки в осколочном духе. Написал и бросил в стол. Как-нибудь соберусь с духом, напишу еще несколько штучек и пришлю оптом». 7 апреля Чехов отослал свои произведения, подписав их псевдонимами «Человек без селезенки» и «Грач» («ибо — Чехонте уже упразднен мною, а Чехова позвольте оставить для рассказов иного тона»). Присланные рассказы (см. ниже) были опубликованы в «Осколках», 1892, № 16, 18, 21.

Стр. 82. *Цинцинат* Луций Квинкций (р. ок. 519 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец; в перерывах между походами занимался обработкой своего небольшого поля; являлся образцом древнеримских добродетелей.

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924) — профессор, автор трудов по фенологии и лесной технологии.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1892, № 18, 2 мая, Подпись: Грач.

Стр. 84. *Михайловский* Николай Константинович (1842—1904) — теоретик народничества, публицист и литературный критик.

Стр. 85. *Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868) — революционный демократ, публицист и литературный критик.

«Родное слово» — школьная хрестоматия.

Стр. 87. *«Вестник Европы»* — ежемесячный либерально-буржуазный журнал, издавался в Петербурге с 1866 г.

В ССЫЛКЕ

Впервые напечатано в журнале «Всемирная иллюстрация», 1892, № 20, 9 мая, с подзаголовком *Очерк Ант. П. Чехова.* После исправлений вошло в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). Включено автором в том V собрания сочинений.

При переработке рассказа для сборника были сделаны значительные сокращения, главным образом в речах Толкового. В журнальном тексте ссыльного покидали жена, а затем дочь; во второй редакции Чехов заменил рассказ Толкового о побеге дочери рассказом о ее болезни, несколько изменив в связи с этим композицию произведения.

Приводим вычеркнутую сцену. После слов: «и баржа тяжело ударилась о пристань» (стр. 95) — ранее следовало:

«На берегу стоял тарантас с опущенным верхом, заложенный в тройку; колокольчики были подвязаны. В тарантасе сидела закутанная женская фигура; около лошадей ходили ямщик и какой-то человек с черной окладистой бородой, в полушубке и в бобровой шапке, по-видимому, чиновник или проезжий барин.

— Скорее, скорее! — торопил он, помогая распрягать лошадей.— Пошевеливайтесь!

Лошадей распрягли и повели по досткам на баржу, потом стащили туда и тарантас с женской фигурой. Перевозчики сели у весел. Толковый налег животом на руль, и баркас тронулся от берега. Мужчина в бобровой шапке закурил папиросу и что-то

сказал по-французски. Из тарантаса ответили ему тоже по-французски.

— Скорее, Семен! На водку дадим! — сказала женская фигура.

— А я не узнал вас, барышня,— засмеялся Толковый.— Богатой вам быть. Далече изволите ехать?

— Далече, дед... Так далеко, так далеко, что даже страшно...

— Так-с... Счастливой дороги. А папенька ваш?

— Ничего, здоров,— сказала барышня и вздохнула.— А все-таки скажу,— повернулась она вдруг к мужчине,— напрасно мы письма не оставили.

— Пустое, милая...— ответил мужчина и с жаром проговорил что-то по-французски.

Когда на берегу запрягли лошадей, мужчина сел рядом с барышней и обнял ее за талию, и когда развязали ремешки под дугой и дали волю колокольчикам, тарантас со звоном тронулся с места, барышня оглянулась и крикнула:

— Прощай, дед. Больше уже никогда не увидимся!

Дед засмеялся и покачал головой.

— Легка на помине,— сказал он татарину, когда звонки стали затихать.— Это дочка Василия Сергеича, про которую я тебе давеча рассказывал. Видишь, по-моему история выходит. Как по писаному... Да... Я словно сова,— накликал...

Перевозчики ушли в избушку спать, а Толковый и татарин опять сели у костра.

— Уехала,— сказал старик, помолчав, и покрутил головой.— Девка выросла, поняла, какая ей цена. Ишь какого бородатого себе подцепила! Молодчина девка... И то подумать: за каким лешим тут ей жить? Отец отцом, да и об себе вспомнить надо. Что ей за радость с отцом-то? Он любит, не надышится, это точно, но, брат, пальца в рот не клади ему: строгий, крутой старик. А молодым девкам не нужна строгость... Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся.— Водка вся вышла значит, спать пора... А? Пойду, брат...»

После слов: «Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку» (стр. 95) — ранее следовало: «то он спросил:

— Тут должна была проехать ночью моя дочь... В каком часу она была тут?

— Должно, часа в два, а может, и раньше, часов у нас нет, Василий Сергеич...

Втащили тарантас...»

После слов: «сел в тарантас и поехал дальше» (стр. 96) — ранее было: «Все выходит, как по писаному! — сказал Семен, весело смеясь.— Как говорил, так и вышло, язви его душу! Вот поскакал догонять, глупый человек... Ну да, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост!

Татарин подошел к Толковому».

Рассказ, направленный против пассивного отношения к жизни, не вызвал откликов в современной печати. Позднее он был высоко оценен и русской и зарубежной критикой. Так, например, английская писательница К. Мэнсфилд писала в декабре 1920 г.: «...я должна сказать, что Чехов в самом деле представляется мне изумительным писателем. Я убеждена, что такие рассказы, как «В ссылке» и «Беглец», попросту ни с чем нельзя сравнить» («Литературное наследство», т. 68, М. 1960, стр. 817).

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СТАРОГО ПЕДАГОГА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1892, № 21, 23 мая, под заглавием «Из записной книжки отставного старого педагога». Подпись: Человек без селезенки. Заглавие это было дано редактором журнала «Осколки» Н. А. Лейкиным, который писал Чехову 12 апреля 1892 г.: «Цензура не любит, когда мы трогаем педагогов, хотя и старых, потому, посылая в цензуру мелочишку, слово «старого» заменил словом «отставного». Суть не изменится, а цензура не так испугается...» В журнале заглавие было опубликовано не с заменой, а с добавлением слова.

РЫБЬЯ ЛЮБОВЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1892, № 24, 13 июня. Подпись: Человек без селезенки.

7 июня 1892 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «Господи! Что цензура делает! Уж чего, кажется, невиннее Вашего рассказа «Рыбья любовь», но и он был задержан в цензуре на две недели, рассматривался в общем собрании цензоров и хотя и дозволен к печати, но с помарками нескольких слов».

Стр. 100. *Леда* — жена спартанского царя Тиндарея; стала возлюбленной бога Зевса, принявшего вид лебедя *(ант. миф)*.

СОСЕДИ

Впервые напечатано в журнале «Книжки недели», 1892, № 7, июль. В переработанном виде рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). После новых исправлений включен автором в том VIII собрания сочинений.

В редакции 1894 г. фамилия Кашинцевы исправлена на Ивашины, текст сокращен и стилистически переработан.

В конце рассказа сжаты размышления Петра Михайловича. Приводим вычеркнутый текст. После слов: «Оливьер поступил бесчеловечно» (стр. 122) — следовало: «но он в тысячу раз больше похож на человека, чем я, — подумал он, вглядываясь в темную фигуру, похожую на привидение.— Он говорил и делал то, что думал.— Петр Михайлович спросил себя: зачем он сегодня, как мальчишка, солгал исправнику и вообще зачем всегда говорил не то, что думал? Если бы раньше он имел привычку смело высказывать свои мысли, то Зина не ушла бы к Власичу и картины будущего не были бы теперь так мрачны. Разве не он каждый день уверял всех, что он одних убеждений с Власичем? Разве не он конфузливо отрекался от своих мыслей? И зачем, с какой стати он сегодня сказал Зине, что она права и хорошо поступила, если это не так?

«Да, я сделал их счастливыми на один вечер, ну а потом что? — думал он, подъезжая к темной фигуре: это был старый, гниющий столб, уцелевший от какой-то постройки.— Что же потом? Я ехал, чтобы решить вопрос, но ведь ни один из житейских вопросов не имеет специального решения; в каждом отдельном случае нужно говорить и делать то, что думаешь,— в этом решение всех вопросов».

Из рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами».

При переработке рассказа для собрания сочинений Чехов подверг текст небольшой стилистической правке и вновь сократил размышления Петра Михайловича о своем бездействии и нерешительности. После слов: «не хватало духу противоречить ему» (стр. 115) — в сборнике было:

«Он боялся, что его мысли покажутся грубыми и странными и его самого сочтут отсталым, упрямым и тяжелым человеком. Иной раз приходило страстное желание облегчить душу и высказать вслух все свои мысли, но он боялся, что Власич вдруг

обидится, разочаруется и будет страдать, а с ним вместе разочаруется Зина и все знакомые. Он любил свои мысли и хотел быть свободным и смелым; но кто мог поручиться ему, что его мысли справедливы? Сомнения были постоянные... А тут еще несчастная фамильная черта всех Ивашиных: деликатное, мягкое, ленивое сердце,— слизняк, а не сердце. Кажется, приди кто-нибудь сейчас и сядь верхом на Петра Михайловича, и он не скажет ни слова, а, пожалуй, еще извинится, что у него плечи недостаточно удобны».

Ранее в журнальной редакции этот текст имел продолжение, снятое при переработке рассказа в 1894 г.:

«Ведь он причинил мне зло, испортил мне жизнь, как злейший мой враг,— думал Петр Михайлович.— В сущности, я должен был бы насильно увезти от него сестру и даже уничтожить его, а я вот смирнехонько сижу и хлопаю ушами. И Зина и весь уезд думают, что я одного образа мыслей с Власичем и заодно с ним. Будут думать, что я благословил их союз... Как это скверно!»

Слова Власича: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее» — приводятся в «Чайке» (действие третье) как цитата из книги Тригорина.

Рассказ был создан в течение марта — июня 1892 г. О своей работе над «Соседями» Чехов писал А. С. Суворину: «Я пишу повесть — маленькую любовную историю. Пишу с удовольствием, находя приятность в самом процессе письма, а процесс у меня кропотливый, медлительный» (4 июня). Рассказ не удовлетворил автора; «...вышло нечто такое,— писал он И. Л. Щеглову 24 октября,— что не следовало бы печатать: ни начала, ни конца, а какая-то облезлая середка». Ранее в письме к Суворину (от 10 октября) рассказ был назван «сносным».

Произведение, раскрывавшее отрицательное отношение автора к догматикам либерально-народнического толка — типа Власича, не вызвало в печати развернутых оценок. Положительные отзывы о нем были даны в письмах читателей.

И. Е. Репин писал Чехову по поводу сборника «Повести и рассказы»: «...развернув Вашу книжку, я уже не мог оторваться от нее: я уже с грустью дочитывал последнюю повесть, последнюю страницу. Кончились эти полные жизни, полные глубокого смысла рассказы; действующие лица, как живые, проходят в моем воображении, и я боюсь упустить их, готов бежать за ними, чтобы узнать, что дальше произошло с ними в этой про-

стой, обыденной действительности. Сделает ли что-нибудь умное Анна Акимовна? («Бабье царство».— *К. М.*). Изменит ли свои мировоззрения Ольга Ивановна? («Попрыгунья».— *К. М.*). Много ли еще интересных жертв увлечет призрак черного монаха?.. А «Соседей» жаль. Да, все эти люди сделались мне почему-то близки, и мне очень хочется еще что-нибудь услышать о них» (13 февраля 1895 г.— И. Е. Репин, Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929, М. 1950, стр. 122).

Стр. 115. *Дон-Кихот* — герой романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (1606—1615).

Стр. 117. *Хома Брут* — герой повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835).

ПАЛАТА № 6

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1892, № 11, ноябрь. С новым делением на главы и с небольшими исправлениями повесть вошла в сборник Чехова «Палата № 6» (Спб. 1893) и повторена в последующих, 2—7, его изданиях (1893—1899). С цензурным изъятием вышла в серии «Для интеллигентных читателей» изд-ва «Посредник», М. 1893 (2-е и 3-е изд., М. 1894 и 1899). После немногих изменений включена автором в том VI собрания сочинений.

Первые сведения о работе над «Палатой № 6» содержатся в письме Чехова к А. С. Суворину от 31 марта 1892 г.: «Пишу повесть. Прежде чем печатать, хотел бы прислать Вам ее для цензуры... В повести много рассуждений и отсутствует элемент любви. Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное. Размер — 2 печатных листа». О том же произведении Чехов писал Л. А. Авиловой. «Кончаю повесть, очень скучную, так как в ней совершенно отсутствуют женщина и элемент любви. Терпеть не могу таких повестей, написал же как-то нечаянно, по легкомыслию» (29 апреля 1892 г.).

«Палата № 6» была отдана в журнал «Русское обозрение», в мае Чехов читал уже корректуру. Однако длительная задержка редакцией гонорара заставила его взять повесть обратно.

В июне 1892 г. Чехов получил приглашение стать сотрудником «Русской мысли» (письмо редактора-издателя В. М. Лаврова от 23 июня). В октябре он отдал в журнал повести «Рассказ неизвестного человека» и «Палату № 6», предполагая напеча-

тать последнюю только в 1893 году. Однако Лавров, опасаясь цензурных затруднений с «Рассказом неизвестного человека», просил разрешения ранее опубликовать «Палату № 6» (письмо от 25 октября). Чехов ответил: «Да будет воля Ваша! Печатайте вперед «Палату № 6», хотя мне это будет немножко стыдно, так как я говорил Боборыкину (издателю «Русского обозрения».— *К. М.*), что беру повесть от него только для того, чтобы подержать ее у себя и переделать. Я ему не врал, а теперь выйдет так, что соврал» (25 октября 1892 г.).

Вскоре после появления повести в печати В. Г. Чертков прислал Чехову восторженное письмо (от 26 ноября), а затем (в письме от 15 января 1893 г.) попросил разрешить «Посреднику» издать ее в серии «Для интеллигентных читателей». О «Палате № 6» он писал и в следующем письме, от 20 января: «Нам со всех сторон указывают на эту вещь. Еще недавно мы получили самый сочувственный о ней отзыв Л. Н. Толстого».

Писатель ответил (20 января), что его произведение уже печатается в сборнике, издаваемом Сувориным. Но это не изменило решения Черткова содействовать ее широкому распространению.

В издании «Посредника» в главе XV цензура изъяла текст, начиная от слов: «Правда, он служил не честно» — кончая словами: «Почему же он один должен составлять исключение?» (стр. 169 наст. изд.). Посылая корректуру, И. И. Горбунов-Посадов сообщил автору 13 марта 1893 г.: «Там есть маленькая цензурная помарка. Место очень тонкое и хорошее, но что же делать? И то к «Палате № 6» они (для предварительной) были деликатнее других оригиналов». Предлагая издательству учесть поправки, внесенные при переработке повести для сборника «Палата № 6», Чехов писал: «Я не думал, что московская цензура отнесется к моей «Палате № 6» так милостиво» (28 марта).

Повесть вызвала восторженные оценки передовой интеллигенции. В «Палате № 6» Чехов гневно выступал против современной ему российской действительности, обличал философию бездействия и примирения с существующим злом.

Об оценке повести молодым В. И. Лениным сохранилось свидетельство его сестры. «Говоря о талантливости этого рассказа,— вспоминает А. И. Ульянова-Елизарова,— о сильном впечатлении, произведенном им,— Володя вообще любил Чехова — он определил всего лучше это впечатление следующими словами:

«Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6» (А. И. Ульянова-Елизарова, Воспоминания об Ильиче — в сб. «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М. 1960, стр. 616).

«Палата № 6» многими современниками, в том числе и В. Г. Короленко (Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 90), рассматривалась, как произведение, знаменующее новый период творческой деятельности писателя. Они связывали «новое настроение» Чехова, выражавшееся в стремлении поставить вопрос о смысле жизни, осудить социальный индифферентизм, с углублением его демократических взглядов.

Читатели отмечали исключительную художественную простоту и выразительность нового произведения. И. Е. Репин писал Чехову в апреле 1893 г.: «Как я Вам благодарен... за Вашу «Палата № 6». Какая страшная сила впечатлений поднимается из этой вещи! Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа, вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества!! Да нет, куда мне оценивать эту чудную вещь... Я поражен, очарован, рад, что я еще не в положении Андрея Ефимовича.. Спасибо, спасибо, спасибо! Какой Вы силач!.. Вот это так вещь!» (И. Е. Репин, Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929, М. 1950, стр. 102).

Писатель А. И. Эртель дал оценку «Палаты № 6» в письме к В. М. Лаврову от 14 декабря 1892 г.: «Какая мастерская и глубокая вещь «Палата № 6», хотя и не без ущерба в смысле пушкинской ясности и трезвости. Это не сама жизнь, но *беллетристическое размышление о жизни* — тем не менее талант смахивает на талант „плеяды"»,— то есть на таланты крупнейших писателей пушкинской поры. (Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 8, М. 1941, стр. 94).

По отзыву Н. С. Лескова, «В «Палате № 6» в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это — Россия... Чехов сам не думал того, что написал (он мне говорил это), а между тем это так. Палата его — это Русь!» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1947, стр. 316).

Однако большинство критиков продолжало, вопреки действительности, говорить о неопределенности миросозерцания Чехова и его идейной позиции. Признав «Палату № 6» выдающимся произведением, эти критики тем не менее находили ее общественный смысл неясным и неодобрительно отзывались о художественной манере писателя. Н. К. Михайловский писал, что признающие дарование Чехова резко делятся на две группы: «одни возводят своеобразную манеру его писания в принцип»,— все достойно изображения, другие «скорбят об этой неразборчивой растрате большого таланта!» В «Палате № 6» Михайловский, как и в других произведениях Чехова, увидел лишь ряд талантливых набросков, лишенных общей идеи («Русские ведомости», 1892, № 335, 4 декабря).

В связи с обсуждением вопроса, удалось ли Чехову создать обобщенную картину русской действительности, в печати возникла полемика. «Палата № 6» вызвала негодование реакционной прессы; она отрицала типичность явлений, нашедших отражение в повести. Критик «Гражданина» М. Южный писал: «Откуда автор взял этот мертвый город — мертвый не потому, что в нем мало людей, мало жизни и деятельности, но потому, что в нем и невозможна вовсе жизнь, человеческая жизнь?» («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября). Однако в утверждениях, что изображенный автором город российской империи нетипичен, вопреки намерениям критики, прозвучало признание большой впечатляющей силы «Палаты № 6».

В защиту Чехова выступил либерально-буржуазный критик А. М. Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1892, № 334 и 341, 3 и 10 декабря), заявивший, что в «Палате № 6» потрясающее впечатление производит не только тонкий и «глубокий анализ», свойственный Чехову, но и «общая картина общества захолустного городка, жизнь которого дошла до такой всеобщей нелепицы, что вы положительно теряете сознание, кого в этой среде можно считать здоровыми, кого душевнобольными людьми, где кончается палата № 6 и начинается область якобы здравого смысла?..» (№ 341).

Критика и в дальнейшем не раз возвращалась к оценкам этого произведения.

Отзывы о «Палате № 6» и «Рассказе неизвестного человека», объединенные во втором томе «Сочинений» А. Скабичевского (Спб. 1895) под заглавием «Есть ли у г. А. Чехова идеалы?» (на этот вопрос давался положительный ответ), вызвали резкий

отклик Буренина («Новое время», 1895, № 6794, 27 января). Демократическая направленность творчества Чехова подвергалась резким нападкам реакционной прессы.

Стр. 137. *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист.

Стр. 144. *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — хирург и педагог, основатель русской военно-полевой хирургии.

Стр. 145. *Пастер* Луи (1822—1895) — французский бактериолог и химик, основоположник современной микробиологии и учения о заразных болезнях.

Кох Роберт (1843—1910) — немецкий бактериолог; открыл бактерии туберкулеза, сибирской язвы и холеры.

Бастилия — тюрьма в Париже, разрушенная 14 июля 1789 г. во время французской буржуазной революции.

Стр. 150. *У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди.*— Слова французского писателя, философа и публициста Ф. Вольтера: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать» — взяты из его «Послания к автору новой книги о трех самозванцах» (1769). Эта же цитата с добавлением слов: «И действительно, человек выдумал бога» — приведена в речи Ивана Карамазова в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879—1880), книга пятая, глава третья.

Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — греческий философ. О его жизни сохранилось множество преданий. Утверждалось, что, будучи сторонником аскетизма, Диоген жил в бочке. По преданию, философ искал при дневном свете с фонарем человека, который бы имел право им называться.

Стр. 154. *Марк Аврелий* (121—180) — римский император, философ. В личной библиотеке Чехова (Таганрог) хранится книга «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя. Перевод Л. Урусова» (Тула, 1882) с многочисленными пометами писателя. Приведенная в «Палате № 6» цитата заимствована из этой книги.

СТРАХ

Рассказ моего приятеля

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1892, № 6045, 25 декабря. С незначительными изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «Палата № 6» (Спб. 1893) и повторен в после-

дующих, 2—7, его изданиях (1893—1899). С небольшими исправлениями включен автором в том VI собрания сочинений.

В ответ на просьбы В. Г. Черткова и А. М. Хирьякова в марте 1893 г. разрешить перепечатать рассказ в одном из сборников изд-ва «Посредник», Чехов ответил: «...мне не кажется, что «Страх» годится для «Посредника» (письмо И. И. Горбунову-Посадову от 28 марта 1893 г.).

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1893, № 2, февраль, и № 3, март. В переработанном виде включено автором в том VI собрания сочинений.

При подготовке собрания сочинений Чехов значительно сократил повесть и подверг ее большой стилистической правке (сокращен текст, раскрывающий взаимоотношения Орлова и Зинаиды Федоровны, сцены объяснения с нею «неизвестного человека», характеристики персонажей повести).

Так, в главе XI после слов: «Давно бросил» (стр. 243) — вычеркнут следующий текст: «Он нехотя сел и, подумав, заиграл бетховенскую квази-фантазию. Как прекрасно он играл! Сначала захотелось плакать и вспомнилось почему-то посещение старика, решившее мою судьбу, потом же стало казаться, что жизнь моя не так уж плоха, как я думал, и что сегодня я могу начать свою жизнь снова. Чахотка не помешает, от нее можно вылечиться в Каире или на Мадейре. Материала же для радостной, плодотворной и высокой жизни на этом свете так много! Я замечтался, но, к великой моей досаде, Грузин скоро стал сбиваться и фантазировать.

— Кум! — сказала с огорчением Зинаида Федоровна.

— Все перезабыл! — вздохнул Грузин.

Глядя на потолок и припоминая, он с чудесным выражением и с теплотой сыграл две пьесы Чайковского: «Баркаролу» и, кажется, «Подснежник».

В главе VIII после слов: «У подъезда давно уже ждали извозчики» (стр. 229) — ранее было: «Ефим и Данило, фавориты Орлова, избалованные его подачками и делавшие вид, что они со своими лошадьми существуют только ради его одного. Оба были сыты, жадны и презрительно грубы со мной. Швейцар рассказывал мне, будто оба они, когда бывали свободны, катали по вечерам Полю и за это она была их любовницей и сбывала им краденные у господ вещи. Такие люди, как Орлов, и не подо-

зревают, какою хорошею питательною средой служат их деньги и даже их жизнь для всей этой мерзкой плесени, покрывающей половину Петербурга».

В главе XIII после слов. «Куда вы намерены ехать отсюда?» (стр. 253) — снят следующий текст:

«Я подошел к ней и продолжал нежно, со слезами в голосе: — Доверьтесь мне, прошу вас. В Петербурге у вас нет ни одной родной души, но зато есть верный, преданный слуга. Ведь вы позволите мне так называть себя? Умоляю вас, не возвращайтесь к этим людям! Нехороший, гнилой здесь воздух! Этим истасканным джентльменам нужны вы только, когда они наиболее расположены к любовным излияниям и бывают в ударе,— это он сам говорил,— тут нужны вы только, когда бываете нарядны, остроумны, фальшивы и ловко обманываете вашего мужа, а порыв, чистота, ясный ум, честные взгляды — это тургеневщина, плохие повести, это скучно и мешает жить. Вы шли к Орлову и думали, что исполняете свой долг, а вас осмеяли и ошикали в первый же день; вы, в простоте сердечной, воображали, что вы идейный человек, а на самом деле вышло, что вы смешная, назойливая любовница, от которой ничем не отделаешься. Он — ваша жертва. Всему Петербургу уже известно, что у него, у бедняги, по вашей милости нет уже собственной квартиры; он везде жалуется и старается громче смеяться, потому что ему стыдно, стыдно, что он так глупо влетел, не предусмотрел скандала, то есть вашего переезда к нему. Жить с этими людьми, любить их, иметь с ними общее — значит играть жалкую, унизительную роль. Подальше от них! — продолжал я горячо, с вдохновением, какого у меня давно уже не было и глубоко веря в то, что говорю и хочу сказать.— Оставьте этих несчастных, чуждых вам людей, и пойдемте в иную среду. Там займете вы положение, достойное вас...»

Замысел повести возник в конце 80-х годов. 22 мая 1893 г. Чехов сообщил Л. Я. Гуревич, что «Рассказ неизвестного человека» он «начал писать в 1887—88 г., не имея намерения печатать его где-либо, потом бросил...»; в 1891 г. писатель вновь вернулся к своей работе.

30 сентября он писал М. Н. Альбову в ответ на просьбу возобновить сотрудничество в «Северном вестнике»: «...у меня почти готова для Вас маленькая повесть: набросано, но не отделано и не переписано начисто. Работы осталось на 1—2 недели, не больше. Называется она так: «Рассказ моего пациента». Но

меня обуревают сомнения весьма серьезного свойства: пропустит ли ее цензура? Ведь «Северный вестник» подцензурное издание, а рассказ мой хотя, правда, и не проповедует вредных учений, но по составу своих персонажей может не понравиться цензорам. Ведется он от лица бывшего социалиста, а фигурирует в нем в качестве героя № 1 сын товарища министра вн. дел. Как социалист, так и сын товарища министра у меня парни тихие и политикой в рассказе не занимаются, но все-таки я боюсь, или по крайней мере считаю преждевременным объявлять об этом рассказе публике. Я пришлю рассказ, Вы прочтете его и решите, как быть». Эти сомнения все более усиливались. 22 октября Чехов сообщил Альбову: «Повесть, о которой я извещал Вас в последнем письме, я отложил пока в сторону. Нецензурность ее не подлежит теперь никакому сомнению, и посылать ее Вам значило бы только тратить попусту время и оставить Вас без рассказа, который Вы хотите получить от меня непременно для январской книжки. В Москве недавно был Суворин, и когда я прочел ему первые 20 строк повести и рассказал стержень, то он сказал: «Я бы не решился это напечатать». Ну, я немножко потерял голову и решил так: эту повесть оставить до поры до времени и написать для Вас что-нибудь другое».

Повесть была закончена к осени 1892 г. и отдана в журнал «Русская мысль». Однако она вызвала у редакции опасения цензурного характера, и ее решено было напечатать позднее «Палаты № 6» (см. примечания к этой повести).

«Я вполне уверен,— писал Чехову В. М. Лавров 25 октября,— что в будущем году «Рассказ моего пациента» пройдет без всяких затруднений, а теперь, когда цензура насторожилась (в связи с публикацией в журнале ряда критических и публицистических статей.— *К. М.*) и смотрит на нас взором аспида и василиска, я опасаюсь, как бы не вышла какая-нибудь пакость». Однако повесть благополучно прошла цензуру.

Заглавие «Рассказ моего пациента» не удовлетворяло Чехова. Когда Лавров запросил об окончательном названии повести, писатель ответил: «Рассказ моего пациента» не годится безусловно: пахнет больницей. «Лакей» — тоже не годится: не отвечает содержанию и грубо. Что же придумать? 1) В Петербурге. 2) Рассказ моего знакомого. Первое — скучно, а второе — как будто длинно. Можно просто «Рассказ знакомого». Но дальше: 3) В восьмидесятые годы. Это претенциозно. 4) Без заглавия. 5) Повесть без названия. 6) «Рассказ неизвестного человека».

Последнее, кажется, подходит. Хотите? Если хотите, то ладно» (9 февраля 1893 г.).

Читая корректуру повести, Чехов, по-видимому, значительно сокращал текст. «Я сильно постриг ее»,— писал он В. А. Гольцеву 30 декабря 1892 г.

С. А. Андреевский, начавший читать «Рассказ неизвестного человека» в корректуре, выразил сожаление по поводу авторских сокращений. «Боюсь, что Вы мудрите с поправками,— писал Андреевский Чехову 5 января 1893 г.— Многие Ваши зачеркивания нашел неудачными. Кажется, Вы — в неблагоприятном настроении для хорошей переделки. Лучше оставьте, как оно есть, и пришлите мне все остальное сегодня».

Конец произведения не удовлетворял Чехова. «Окончание Вам не понравится, ибо я его скомкал,— писал он А. С. Суворину.— Надо бы подлиннее. Но длинно писать было бы тоже опасно, ибо героев мало, а когда на протяжении 2—3 листов мелькают все те же два лица, то становится скучно и сии два лица расплываются» (24 февраля 1893 г.). И в следующем письме к нему же (4 марта): «Не знаю, что Вы скажете насчет конца моей повести. Кажется, напряжения нет, и действие течет плавно и закономерно. Спешил очень, вот что скверно. Наверно, в спешке проскользнула какая-нибудь подлость, которую заметишь уж потом, когда не вырубишь топором. Хотел я дать маленький эпилог от себя, с объяснением, как попала ко мне рукопись неизвестного человека, и написал этот эпилог, но отложил до книжки, то есть до того времени, когда эта повесть выйдет отдельной книжкой».

Чехов имел основания опасаться цензуры. Тема его повести была злободневной; герой ее был воспринят как деятель народовольческого движения, изменивший своим недавним верованиям.

Корреспонденты писателя дали высокую оценку нового произведения. Рассказ о человеке, отказавшемся от попыток противиться злу насилием и призвавшем к «самоотверженной любви к ближнему» (глава XVII), вызвал следующий отклик И. И. Горбунова-Посадова (письмо Чехову в марте 1893 г.): «...кроме слез, стоящих на глазах при конце, у меня поднялось в душе радостное чувство, чувство радости за нашу литературу».

«Рассказ Чехова превосходен»,— писал Н. С. Лесков В. А. Гольцеву 26 апреля 1893 г. («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1947, стр. 315). По свидетельству Д. П. Ма-

ковицкого (дневниковая запись от 30 марта 1907 г.), Л. Н. Толстой также с похвалой отозвался о «Рассказе неизвестного человека» (Архив Гос. музея Л. Н. Толстого).

И консервативная и либеральная критика единодушно отметила правдивость изображения высшей чиновничьей среды и специфики петербургской жизни. М. Южный, например, писал: «Этот Пекарский, этот человек с механизмом вместо сердца,— ведь он, несомненно, живой человек, так сказать, с плотью и кровью вырванный из жизни, и в то же время в нем искусно сосредоточены все те типические черты, которыми характеризуются люди чисто петербургского склада, так что собственное имя «Пекарский» можно смело принять за имя нарицательное» («Гражданин», 1893, № 95, 8 апреля).

«Петербургские чиновники Орлов и его приятели — живые, яркие типы современной пошлости и нравственного упадка»,— отмечал И. Иванов («Русские ведомости», 1893, № 82, 25 марта).

Но образ неизвестного человека подвергся резким оценкам. Отказ писателя от прямого раскрытия авторского отношения к изображаемому, как и ранее, вызывал недовольство критики. Одни (главным образом критики либеральной печати), не возражая по существу против изображения героя недавних дней, находили, однако, неясным отношение автора к своему герою, перелом в мировоззрении народника-террориста не казался им убедительно мотивированным: они недоумевали — осуждает или же оправдывает Чехов бывшего революционера; другие (в основном — сотрудники реакционной прессы), не скрывая своей злобы по отношению к деятелям «Народной воли», негодовали по поводу сочувственного отношения Чехова к освободительным идеям.

Отказавшись от социалистических воззрений и реальной борьбы за изменение жизни, чеховский герой, субъективно честный и порядочный человек, оказался сломленным и опустошенным. Эта опустошенность стала гибельной для него и для поверившей ему Зинаиды Федоровны. Чехов тонко раскрывал процесс превращения героя в обывателя. Встреча с высокопоставленным отцом Орлова показала бывшему социалисту, какая огромная перемена произошла в его мировоззрении (глава XI). Последовавшее затем столкновение с Кукушкиным наглядно раскрыло эту перемену: социальная ненависть исчезла, ее место заняла ненависть к моральной нечистоплотности, душевной фальши. Разоблачительное письмо «неизвестного человека» разоблачало не только Георгия Орлова, но и автора письма.

Реакционная критика, обвиняя Чехова в неясности мировоззрения, вместе с тем ополчилась против социального пафоса повести. Ю. Николаев (Говоруха-Отрок), характеризуя обрисовку Чеховым двух видов «нигилизма»: житейского (Орлов и его окружение) и принципиального (неизвестный человек),— выражал сожаление, что в повести нет осуждения бывшей деятельности героя-социалиста. Критик был не согласен с изображением духовного кризиса героя, как крушения личности. Именно в измене героя своим прежним идеалам Говоруха-Отрок видел основу «возрождения» человека («Московские ведомости», 1893, № 62 и 83 от 4 и 25 марта). Отрицательное отношение к чеховскому изображению представителя «печального времени» выразил и М. Южный («Гражданин», 1893, № 89, 2 апреля).

Стр. 196. *«Посредник»* — книгоиздательство культурно просветительного характера; основано в 1884 г. в Москве В. Г. Чертковым при участии Л. Н. Толстого.

Стр. 203. *...афоризм Пруткова...*— Козьма Прутков — коллективный псевдоним братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых и А. К. Толстого.

Стр. 204. *«Что день грядущий мне готовит?»* — слова из арии Ленского в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878).

Стр. 205. *...бессмертные* - так называли во Франции членов Французской академии литературы и искусства.

Диоген — см. прим. к стр. 150.

Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — римский государственный деятель, полководец, писатель и оратор.

Цицерон Марк Тулий (106—43 до н. э.), *Катон* Марк Порций (234—149 до н. э.) — римские государственные деятели, писатели и ораторы.

Стр. 211. *Контан, Донон* — владельцы петербургских ресторанов.

Стр. 212. *Маргарита* — героиня трагедии В. Гете «Фауст».

Стр. 213. *Я не тургеневский герой...*— Речь идет об Инсарове, герое романа «Накануне» (1859).

Стр. 235. *...не можем сметь свое суждение иметь* — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

Стр 243. *Сен-Санс* Камилл (1835—1921) — французский композитор.

Стр. 247. *...подобно библейскому силачу...*— Имеется в виду Самсон.

Стр. 248. *В какой-то повести Достоевского* — в романе «Униженные и оскорбленные» (1861), часть первая, глава 13.

Стр. 249. *Разбойник, висевший на кресте...* — По евангельской легенде, Христос был распят вместе с двумя разбойниками; один из них грубо смеялся над Христом, другой верил в то, что Христос — сын божий и возьмет его в царство небесное.

Стр. 258. *Дездемона* — героиня трагедии В. Шекспира «Отелло» (1604).

Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

Марино Фальери (1278—1355) — венецианский дож, казненный за организацию заговора с целью создать в Венеции демократическую республику.

Стр. 263. *...было дело под Полтавой...* — см. прим. к стр. 14.

Стр. 272. *Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом!* — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1893, № 357, 28 декабря. С небольшими изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). После новых исправлений и сокращений текста включен автором в том VIII собрания сочинений.

Чехов был возмущен редакцией «Русских ведомостей», которая «из трусости и целомудрия многое выпустила из этого рассказа» (письмо к Ю. А. Легра от 27 марта 1894 г.). В день выхода рассказа он писал В. А. Гольцеву: «Ах, мой рассказ в «Русских ведомостях» постригли так усердно, что с волосами отрезали и голову. Целомудрие чисто детское, а трусость изумительная. Выкинь они несколько строк — куда бы ни шло, а то ведь отмахнули середку, отгрызли конец, и так облинял мой рассказ, что даже тошно».

Стр. 277. *...как Державин Пушкина...* — Г. Р. Державин (1743—1816) приветствовал молодого поэта, прочитавшего свое стихотворение на экзамене в Царскосельском лицее 8 января 1815 г.

Стр. 285. *Шопенгауэр Артур* (1788—1860) — немецкий реакционный философ.

Впервые напечатано в журнале «Артист», 1894, № 1 (разр. ценз. 5 января). Вошло с заменой слова («худое лицо» вместо «тощее») в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). Включено автором в том VIII собрания сочинений.

28 июля 1893 г. Чехов сообщил А. С. Суворину, что написал небольшую «повестушку». Предложение Суворина напечатать ее в «Новом времени» было отклонено писателем (в письме от 18 августа). Чехов называл свою повесть «медицинскою», изображающей «молодого человека, страдавшего манией величия» (письма М. О. Меньшикову от 15 января 1894 г. и Суворину от 18 декабря 1893 г.). Видимо, в ответ на замечание Суворина, что автор отразил в «Черном монахе» свое душевное состояние, Чехов писал ему 25 января 1894 г.: «...если автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам болен. «Черного монаха» я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне, и я, проснувшись утром, рассказал о нем Мише».

Последователь Л. Н. Толстого Г. А. Русанов в письме Чехову от 14 февраля 1895 г. передал мнение о рассказе, высказанное Л. Н. Толстым 2 апреля 1894 г.: «О «Черном монахе» Лев Николаевич с живостью и с какою-то особенной нежностью сказал: «Это прелесть! Ах, какая это прелесть!»

«Черный монах» в основном рассматривался критикой как «психиатрический этюд», созданный писателем-медиком (см., напр., отзыв А. М. Скабичевского — «Новости и биржевая газета», 1894, № 48, 17 февраля). Критики указывали на неясность идейной позиции автора в этом рассказе. Герой «Черного монаха» Коврин вызвал разноречивые оценки. Ю. Николаев (Говоруха-Отрок) назвал его «современным Поприщиным», а критик «Русских ведомостей» отметил желание Чехова показать разлад между высокими стремлениями героя и современной действительностью. Обратив внимание читателей на художественное мастерство рассказа, критик писал о Чехове:

«Среди массы изображенных им мелких людей, с мелкими страданиями, с кропотливой возней в собственных ощущениях с

постоянной мыслью о своем ничтожестве, он не вывел почти ни одного из так называемых положительных типов, сильных мыслью и чувством, сильных трудом, направленным на общую пользу. Чехов попытался было воспроизвести этот тип в лице зоолога в повести «Дуэль», но опыт оказался в высшей степени неудачным. На этот раз перед нами очень живо изображен человек ума, чувства и стремления на пользу ближнего, но этот человек сумасшедший» (Д. М.— «Русские ведомости», 1894, № 24, 24 января).

Писатель С. Т. Семенов вспоминает беседу И. И. Горбунова-Посадова с Чеховым, который заявил, что критика не поняла его рассказа («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 365).

Различные истолкования идейного смысла «Черного монаха» даны и советскими критиками (см. об этих оценках в статье Е. М. Сахаровой «Черный монах» А. П. Чехова и «Ошибка» М. Горького» — «А. П. Чехов. Сборник статей и материалов», Ростов н/Д, 1959).

Стр. 294. *...известную серенаду Брага* — «Валахскую легенду». По воспоминаниям М. П. Чехова, автор «Черного монаха» находил «в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма» (М. П. Чехов, Вокруг Чехова. М. «Academia», 1933, стр. 226).

Стр. 311. *Диоген* — см. прим. к стр. 150.

Марк Аврелий — см. прим. к стр. 154.

Стр. 316. *Ирод* (73—4 до н. э.) — царь иудейский, известный своей жестокостью. Евангельская легенда приписывает ему избиение младенцев в Вифлееме.

БАБЬЕ ЦАРСТВО

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1894, № 1, январь, с подзаголовком *Рассказ.* С небольшими исправлениями и без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). Издан И. Д. Сытиным, М. 1896. После мелких поправок включен автором в том VIII собрания сочинений.

Судя по письму к А. С. Суворину (от 25 ноября 1893 г.), рассказ был закончен Чеховым в ноябре 1893 г.

И. И. Горбунов-Посадов писал Чехову 5 февраля 1894 г.:

«Прочел я его («Черного монаха».— *К. М.*) с большим интересом, но он мне не так понравился (не общим замыслом — он хорош), как «Бабье царство», которое написано прекрасно. Все лица его встают передо мной как живые и наводят на печальные и строгие размышления». Горбунов-Посадов особо подчеркнул социальную направленность рассказа. Автору удалось, как справедливо утверждал он, показать, что «мир рабочих — мир придавленной силы, все вдали, как бы не является на сцену, но все время чувствуется».

С. А. Андреевский писал о широком охвате Чеховым жизненных явлений: «В «Бабьем царстве» вы встретите целую толпу типических лиц, как в «Крестном ходе» Репина. Здесь есть и любопытные жанровые снимки с малоизвестных уголков московского быта, здесь и социальный вопрос, и вера, и ханжество, и жажда жизни, и жажда правды» («Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

Новый женский образ из купеческой среды, его многогранность, был признан критикой (в этом она была едина) несомненной удачей писателя («Новости и биржевая газета», 1894, № 48, 17 февраля — А. Скабичевский; «Биржевые ведомости», 1894, № 77, 19 марта — М. Полтавский; «Семья», 1894, № 8, 20 февраля — В. П. и др.). Было выражено сожаление, что писатель не развернул своего повествования более полно; Буренин, напр., писал, что «Бабье царство» напоминает «начало большого романа», оборванного автором «именно тогда, когда читатель ожидает дальнейшего развития этого интересного начала» («Новое время», 1895, № 6794, 27 января).

Недовольство части критиков вызвал образ адвоката Лысевича, он был сочтен нарочито карикатурным (см., напр., отзыв Д. М. — «Русские ведомости», 1894, № 24, 24 января).

И. А. Бунин отнесил «Бабье царство» к лучшим произведениям Чехова («Литературное наследство», т. 68, М. 1960, стр. 677).

Стр. 346. *Леконт де Лиль* Шарль Мари (1818-1894) — французский поэт, глава поэтической школы «парнасцев», выступавшей с лозунгом «искусство для искусства».

Дузе Элеонора (1859-1924) — итальянская драматическая артистка.

Стр. 348. *Джосиана, Гуинплен* — Джосиана (персонаж романа В. Гюго «Человек, который смеется», 1859) — красавица герцогиня, полюбившая обезображенного комедианта Гуинплена.

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1894, № 37, 6 февраля. С небольшими изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). После новых исправлений включен автором в том VIII собрания сочинений.

СТУДЕНТ

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1894, № 104, 16 апреля, под заглавием «Вечером». С новым заглавием и исправлениями (вставкой нескольких фраз) рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). Включен автором в том VIII собрания сочинений.

Рассказ относится к числу немногих произведений, текст которых был в процессе работы не сокращен, а дополнен Чеховым.

Современники свидетельствовали, что Чехов любил этот рассказ и считал его наиболее отделанным. Так, И. А. Бунин вспоминает замечание Чехова, вызванное несправедливыми оценками его творчества: «Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 514). Брат писателя, И. П. Чехов, на вопрос, какую свою вещь Чехов ценил больше других, дал ответ: «Студент», считал наиболее отделанной» (ответ И. П. Чехова хранится в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР — ИРЛИ).

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Первая глава напечатана в газете «Новое время», 1889, № 4940, 28 ноября, под заглавием «Обыватели», с посвящением доктору Н. Н. Оболенскому, лечившему брата Чехова, Николая Павловича. Вторая глава опубликована в газете «Русские ведомости», 1894, № 188, 10 июля, под заглавием «Учитель словесности», с подзаголовком *Рассказ*. С небольшими исправлениями под заглавием «Учитель словесности», без посвящения, обе главы напечатаны в сборнике Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). После немногих поправок включено автором в том VIII собрания сочинений.

«Обыватели» были написаны в первой половине ноября

1889 г. «Ваш сотрудник Ан. Чехов начал родить «субботник»... Начало вышло ничего себе»,— писал Чехов А. С. Суворину (1 ноября 1889 г.). 12 ноября Чехов сообщал ему же: «Посылаю рассказ для фельетона. Несерьезный пустячок из жизни провинциальных морских свинок. Простите мне баловство... Между прочим, сей рассказ имеет свою смешную историю. Я имел в виду кончить его так, чтобы от моих героев мокрого места не осталось, но нелегкая дернула меня прочесть вслух нашим: все взмолились: пощади! пощади! Я пощадил своих героев, и потому рассказ вышел так кисел». Позднее, во второй главе рассказа, Чехов показал «прозрение» своего героя, почувствовавшего ужас обывательской пошлости.

А. Н Плещеев писал Чехову по поводу «Обывателей»: «Это прелестнейшая бытовая картинка, где вся прелесть в подробностях, в мелких штрихах, в «бликах», как говорят живописцы. Всё это живые лица, которых встречал, видел, знал» (29 ноября 1889 г.).

Стр. 385. *«Грешница»* (1858) — стихотворение А. К. Толстого.

Стр. 386. *Лессинг Готхольд Эфраим* (1729—1781) — немецкий писатель и критик, выступал против классицизма.

...недаром, недаром она с гусаром...— неточное цитирование эпиграммы «Толстой» из «Новогодних мадригалов и эпиграмм» (1831) М. Ю. Лермонтова.

Стр. 390. *«Вестник Европы»* — см. прим. к стр. 87.

В УСАДЬБЕ

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1894, № 237, 28 августа, с подзаголовком *Рассказ.* Со стилистическими исправлениями и сокращением текста, без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы», М. 1894 (2-е изд., М. 1898). После немногих поправок включен автором в том VIII собрания сочинений.

В первой редакции Чехов рисовал Рашевича как пустослова, упоенного собственным красноречием, во второй — высказываниям его придана ярко выраженная реакционная окраска

Приводим вычеркнутые в издании 1894 г. размышления Рашевича. После слов: «...говорила, вероятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости» (стр. 411) — ранее было:

«Обе девушки были красивы и трогательны. Рашевичу хотелось постучаться к ним и сказать, что у него и в мыслях не было оскорблять бедного Мейера. Разве он мог предвидеть, что разговор окончится так неожиданно глупо? Ведь он отдал бы Женю за Мейера с радостью, несмотря на его мещанское происхождение, и сам он был женат на дочери разночинца, и если давеча завел речь о белой кости, то потому только, что думал, что его мысли новы и оригинальны, и потому, что хотелось угодить и понравиться тому же Мейеру. С каким удовольствием он догнал бы теперь следователя и завел бы новый, длинный разговор, но уже об интеллигенции, вышедшей из народа, о свежих, обновляющих силах и проч. И уж как бы он продернул эту хваленую белую кость!»

Стр. 404. *Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король.

Стр. 406. *Ричард I, Львиное Сердце* (1157—1199) — английский король; вел многочисленные войны, участвовал в 3-м крестовом походе.

Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190) — император так называемой «Священной Римской империи».

Стр. 410. *Фламмарион Камилл* (1842—1925) — французский астроном, автор ряда популярных книг по астрономии.

Стр. 411. *Дон-Кихот* — см. прим. к стр. 115.

РАССКАЗ СТАРШЕГО САДОВНИКА

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1894, № 356, 25 декабря. С немногими исправлениями рассказ вошел в сборник «На трудовом пути. К 35-летию литературно-педагогической деятельности Д. Тихомирова», М. 1901. С исправлениями и небольшими сокращениями текста включен автором в том XI (посмертный, 1906) собрания сочинений.

При редактировании рассказа для собрания сочинений Чехов, очевидно, использовал газетный текст, так как им не учтена правка 1901 г.

В письме Чехову от 25 декабря 1894 г. И. И. Горбунов-Посадов писал: «Только что прочел Ваш рассказ «старшего садовника» и порадовался его прекрасной мысли. Это *самое настоящее;* если бы у нас побольше писали, а главное, думали и чувствовали *так же,* теплее стало бы дышаться на свете. На-

деюсь, что Вы разрешите нам издать это немедленно в народном издании... Было бы весьма хорошо, если бы в случае доброго согласия Вашего на народное издание «Рассказа старшего садовника» Вы сами заменили бы некоторые совсем непонятные для народа слова — более простыми. Если же Вам сделать это некогда, то позвольте нам сделать это и прислать Вам для просмотра». Чехов ответил согласием: «Рассказ старшего садовника» отдаю в полное Ваше распоряжение. По-моему, он не подходит для народного издания и замена одних слов другими не сделает его понятным. Но дело Ваше. Корректуру пришлите вместе с проектом поправок — и я исполню Ваше желание. «Русские ведомости» — замечу à propos[1] — ради страха иудейска выбросили в начале речи садовника следующие слова: «Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека веруйте!» (31 декабря 1894 г.). Рассказ, однако, не был издан «Посредником».

Чехов не восстановил этих фраз в новых изданиях рассказа, хотя, как это видно из письма, осудил редакцию газеты за их изъятие.

В настоящем издании исключенные фразы вводятся в основной текст. Так как точное место их в рассказе установить невозможно, они даются в угловых скобках (после слов: «...не выше всяких житейских соображений», стр. 414).

Стр. 413. *Ибсен* Генрих (1828 – 1906) — норвежский драматург.

Стр. 414. *«...и добродетель должна просить прощенья у порока...»* — Из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601), акт 3, сцена 4-я.

ТРИ ГОДА

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1895, № 1, январь, и № 2, февраль, с подзаголовком *Рассказ*. В переработанном виде и без подзаголовка включено автором в том VIII собрания сочинений.

При подготовке для собрания сочинений Чехов внес в текст большое количество стилистических исправлений, значительно сократил бытовые детали и характеристики персонажей повести; особенно сильной обработке подверглись характеристика

---

[1] кстати *(франц.)*.

Лаптева, текст бесед Лаптева и его друзей, отношения его с Юлией.

Так, в главе IV после слов: «чтобы не осудили люди» (стр. 442) — снят следующий текст: «Она ужасалась, как это бедная Юлия обойдется теперь без матери; нужно ведь позаботиться о приданом, чтобы все вышло прилично, а ведь то чудище, так она называла доктора, ничего не понимает.

К вечеру погода утихла, стало хорошо, и Лаптев пошел с Юлией в городской сад. Гуляя с нею под руку, он рассказывал ей про свое детство, про университет, вообще про московскую жизнь,— она слушала с большим вниманием. В темной аллее он не удержался, страстно обнял ее и поцеловал в губы, и она поцеловала его в щеку. Этот поцелуй в щеку и ее серьезное внимание он променял бы за одну ее улыбку; его стесняло то, что она уже готовится к роли «верной и преданной» жены, скорее супруги, чем жены, и, даже обнимая ее и испытывая восторг, он не мог забыть, что она его не любит». В главе I после слов: «был неловок, излишне разговорчив, манерен» (стр. 422) — ранее следовало: «И теперь он почти презирал себя за свое бессилие и готов был с злорадством попрекать себя, что, несмотря на свои, в сущности, громадные средства, он не может купить себе красоты, гибкости и талантов, хотя бы даже поддельных».

В главе IX после слов: «...я начинаю беспокоиться» (стр. 468) — был развернут разговор о «модных» течениях среди интеллигенции:

«Долго говорили о Федоре и о том, что теперь у русских интеллигентных людей мода напускать на себя мистицизм, мракобесие, бурбонство и умственное убожество, и многие даже изменяют голос и походку, чтобы только казаться грубыми и тяжелыми. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он обходится с ним как начальник.

— Около напускного находит себе приют настоящее суеверие,— сказал Лаптев,— и если у кого мозг болезненно склонен ко всякой галиматье, то уж такому не выкарабкаться, пиши пропало. И я заметил, что всё то, что непонятно, неясно, смутно, не доказано,— всё эти господа валят в одну кучу, и получается странная каша. Если кто из нашей братии занимается спиритизмом или магнетизмом, тот уж непременно и гомеопат, и ме-

тафизик, и символист, верует в три свечи и в тринадцатое число, ругает цивилизацию во имя китаизма, о котором он понятия не имеет, так как не был в Китае, и подавайте ему науку не иначе, как национальную Такое состояние ума, конечно, не удовлетворяет, человек испытывает смутное недовольство собой, всегда он раздражен, озлоблен и, одержимый духом противоречия, готов уж просто из самолюбия уверять, что идеалы русского человека — в невежестве, в розгах, в нищете...»

В начале XII главы значительно сокращена характеристика Лаптева как «знатока» искусства. В журнальной редакции автор раскрывал причины самоуверенности своего героя на художественных выставках. В тексте собрания сочинений Чехов предоставил читателю самому догадаться об истоках этой самоуверенности. После слов: «вышел бы хороший художник» (стр. 482) — ранее было: «Но бывали у него минуты особенного настроения, когда он не сомневался, что живопись и скульптура на него не действуют вовсе и что в них он ровно ничего не понимает. За границей он заходил иногда к антиквариям и с видом знатока осматривал древности и высказывал свое мнение; антикварий слушал внимательно и соглашался,— очевидно, льстил его невежеству и презирал его в душе; и Лаптев чувствовал это и из упрямства покупал какую-нибудь вещь, антикварий брал с него сколько хотел, и купленный антик лежал потом забитый в ящик, в каретном сарае, пока не исчезал неизвестно куда. Или, зайдя в эстампный магазин, он долго и внимательно осматривал картины, бронзу, безделушки, делал разные замечания и вдруг покупал какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги — и выдавал свое невежество. Дома у него были картины всё больших размеров, но плохие; хорошие же были дурно повешены. Случалось ему не раз платить дорого за вещи, которые потом оказывались грубою подделкой. И таких примеров много. Между тем он не мог припомнить ни одного факта, который говорил бы за развитое чутье и богатство вкуса. И замечательно, что робкий в собраниях, в театре, у себя в амбаре, был смел и самоуверен на картинных выставках. Сознание, что он может купить все эти картины, придавало ему уверенность, и он всякий раз ловил себя на этом, и ему становилось неловко. А когда он, стоя перед какою-нибудь картиной, высказывал громко свое суждение, то что-то на самой глубине души, должно быть, совесть, шептало ему, что в нем это бурлит кровь купца-самодура и что он, так смело

критикующий художника, мало отличается от брата своего Федора, когда тот отчитывает провинившегося приказчика или учителя».

22 сентября 1894 г. Чехов сообщил М. П. Чеховой, что пишет «роман из московской жизни» для «Русской мысли». Работа над романом была названа писателем «кропотливой» (В. А. Гольцеву, 6 октября). Оценка нового произведения была дана Чеховым в письме к Е. М. Шавровой от 4 декабря 1894 г.: «Замысел был один, а вышло что-то другое, довольно вялое и не шелковое, как я хотел, а батистовое... Надоело все одно и то же, хочется про чертей писать, про страшных, вулканических женщин, про колдунов, но, увы! требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни Иванов Гаврилычей и их супруг».

Автор предложил В. А. Гольцеву дать повести подзаголовок «Сцены из семейной жизни» или «Рассказ» (11 или 12 декабря); Гольцев выбрал последний вариант.

Повесть была напечатана с цензурными изъятиями. «Январская книжка «Русской мысли»,— писал Чехов А. С. Суворину 19 января 1895 г.,— была арестована, потом помилована. Из моего рассказа цензура выкинула строки, относящиеся к религии. Ведь «Русская мысль» посылает свои статьи в предварительную цензуру. Это отнимает всякую охоту писать свободно; пишешь и все чувствуешь кость поперек горла».

В записных книжках Чехова и в заметках на отдельных листках сохранилось много записей, относящихся к повести «Три года». Часть из них осталась неиспользованной.

«Три года» вызвали многочисленные, большей частью резкие отклики в печати. Изображение Чеховым процесса накопительства, происходящего в среде городского купечества, было новым явлением в литературе, в развитии этой темы писатель предвосхитил произведения о русском капитализме М. Горького.

Приветствуя автора за попытку создать картину современных нравов, критика, однако, не восприняла всю глубину жизненных наблюдений Чехова. Буржуазные критики не могли и не хотели признать эту суровую картину типичной. Они упрекали автора в неясности замысла повести и в эскизности ее персонажей.

Положительный отзыв о повести был дан А. М. Скабичевским, обратившим особое внимание на образ Алексея Лаптева. Считая большой творческой удачей Чехова изображение «Гам-

лета Замоскворечья» критик писал: «Лаптев — это живой, осязаемый, на каждом шагу встречающийся в нашей жизни тип, это прямое наследие темного царства, логическое его последствие. Он так и напрашивается на обобщение в самом широком виде, и нетрудно было бы доказать, что в каждом из нас рядом с обломовщиной сидит лаптевщина, все мы в том или другом отношении Лаптевы!» («Новости и биржевая газета», 1895, № 107, 20 апреля).

В связи с появлением новых произведений Чехова — «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Бабье царство», «Три года» — в критике возник спор о Чехове как представителе новой литературы. В. П. Буренин, выступавший с конца 80-х годов с резкими оценками дарования Чехова, заявил, что талант его ниже таланта В. А. Слепцова, им не создано ничего, подобного слепцовской «Питомке» («Новое время», 1895, № 6794, 27 января). Однако большинство критиков, несмотря на явное стремление снизить социальный пафос творчества Чехова, признало писателя наиболее значительным представителем молодой литературы. С. А. Андреевский утверждал, что в лице Чехова «все видят общепризнанного наследного принца наших крупных писателей» («Новое время», 1895, № 6784, 17 января).

Стр. 426. *Антон Горемыка* — герой одноименной повести Д. В. Григоровича (1847); в данном случае имеется в виду отвлеченно-сочувственное представление о деревне.

Стр. 429. *...как говорит лакей у Толстого* — в романе «Анна Каренина» (1873—1877), ч. I, гл. 2.

Стр. 441. *«Корневильские колокола»* — оперетта французского композитора Р. Планкета (1848—1903).

Ромео — герой трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1594).

Стр. 448. *Шамиль* (ок. 1798—1871) — руководитель религиозно-националистического движения горцев Дагестана и Чечни; в течение 25 лет вел войну против России.

Стр. 451. *...щедринский Иудушка* — герой романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875—1880).

Стр. 468. *«Орлеанская дева»* — трагедия Ф. Шиллера (1801)

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — драматическая артистка.

Стр. 475. *Яр* — московский загородный ресторан.

Стр. 482. *Шишкин* Иван Иванович (1832—1898) — художник-пейзажист.

Стр. 486. *«Мой друг, мой нежный друг...»* — из романса А. Г. Рубинштейна на слова А. С. Пушкина (стихотворение «Ночь», 1823).

Стр. 491. *Дульцинея* — персонаж романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (1606—1615); в переносном смысле — «дама сердца».

«Чтобы рожать детей, кому ума недоставало?» — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), действие третье, явление третье.

Стр. 492. *«Вестник Европы»* — см. прим. к стр. 87.

Стр. 495. *Лежу в долине Дагестана* — перифраз из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон» (1841).

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1894.

«Попрыгунья». Художники Кукрыниксы. 1960. Стр. 64—65.

«В ссылке». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 96—97.

«Палата № 6». Художник А. Пластов. 1954. Стр. 192—193.

«Черный монах». Художник А. Савицкий. 1908. Стр. 288—289.

«Скрипка Ротшильда». Художник А. Пластов. 1954. Стр. 384—385.

«Учитель словесности». Художник Т. Шишмарева. 1954. Стр. 480—481.

СОДЕРЖАНИЕ

Жена 5
Попрыгунья 51
После театра 78
Отрывок 82
История одного торгового предприятия 84
В ссылке 88
Из записной книжки старого педагога 98
Рыбья любовь 100
Соседи 103
Палата № 6 123
Страх. *Рассказ моего приятеля* 181
Рассказ неизвестного человека 194
Володя большой и Володя маленький 275
Черный монах 288
Бабье царство 322
Скрипка Ротшильда 364
Студент 375
Учитель словесности 379
В усадьбе 405
Рассказ старшего садовника 413
Три года 419

Примечания 513

Перечень иллюстраций 548

Антон Павлович
ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. 7

Редактор *М. Гордон*
Художеств. редактор *И. Жихарев*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *К. Полетика* и *А. Юрьева*

*

Сдано в набор 16/VI 1960 г. Подписано к печати 19/X 1960 г. Бумага 84 × × $108^1/_{32}$ — 17,25 печ. л. = 28,29 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 26,32 + + 7 вкл. = 26,67 л. Тираж 610 000. Заказ № 2-1053. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Напечатано с матриц Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Московского городского совнархоза на Книжной ф-ке им. Фрунзе Главполиграфиздата Министерства культуры УССР,
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

1 p. 10 kron.